

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

Книга третья

Verlag "Partner"

2005



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Ольга Бешенковская
Борис Вайнблат
Сергей Викман

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на Интернет-портале

www.zapiski.de

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ТРЕТЬЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

Галина Погожева. Серебряный мой голос... <i>Стихи.</i>	2
Юрий Малецкий. Группенфюрер. <i>Повесть.</i>	6
Алексей Макушинский. Сквозь безразличие мира... <i>Стихи.</i>	40
Джеймс Болдуин. Комната Джованни. <i>Роман (окончание).</i>	46
Ирина Рашковская. Пыль-стрекоза. <i>Стихи.</i>	99
Галина Корнилова. Два рассказа.	
Бронюс, друг Гедеминаса.	104
Звенящее море.	108
Наталья Толстая. <i>Рассказы.</i>	
Туристу о Петербурге.	115
Дом хроников на Чекистов, 5.	119
Иностранец без питания.	120
Деревня.	124
Не называя фамилий.	127
Андрей Рево. Диез. <i>Стихи.</i>	130
Яков Ланда. Армейские байки. <i>Рассказ.</i>	137

Свободный жанр

Людмила Агеева. Уроки равновесия.	145
---	-----

Немецкая классика в зеркале классики русской

Friedrich von Schiller. Die Kraniche Ibykus.	162
Фридрих Шиллер. Ивиковы журавли.	163

Эссеистика, критика, публицистика

Борис Хазанов. Достоевский в меру.	170
Самуил Лурье. Два эссе.	
Шестьдесят шесть.	177
История одного привидения.	179
Александр Мелихов. Террор – оружие проигравших.	182

Рецензии, отклики, комментарии

Игорь Андрианов. Секретарь парткома Платон Еленин, или о капреализме.	186
Юрий Колкер. «Свобода совести в бессовестной стране».	186

Иные жанры...

Андей Грицман. Ночное происшествие. <i>Рассказ.</i>	190
Арнольд Веник. Два критических этюда.	
Новые писатели и старые читатели.	192
Новые литературоведы.	193
Коротко об авторах	195

Октябрь, 2005

СЕРЕБРЯНЫЙ МОЙ ГОЛОС...

* * *

Поспел в аббатстве красный виноград.
Я не хожу в скрипучие воротца.
Там всё народ. Там пастушок, мой брат,
И мать моя, родившая уродца.

Карабкаюсь по лестнице витой,
Забрасываю камень за ограду.
Серебряный мой голос, золотой! —
Бог подарил вдобавок к винограду.

Я славлю щедрость горькую Твою,
Учу латынь, пишу, пишу в тетради.
И в винограде прячусь и пою.
Сижу и плачу в красном винограде.

* * *

Ты на мое отчаянье похожа.
Стоит звезда над сушей и водой.
Горит душа и холодеет кожа,
И расцветает лютик золотой.

Дни выпадают, как дожди, и гаснут,
Как только дни — и как одним глотком,
Одним дыханьем говоря: — А вас тут
Забудут всех, не вспомнят ни о ком.

И ты мне скажешь, руки отнимая,
Что счастья нет, есть ветер и вода.
Затмилось сердце, слов не понимая,
И ветка ивы брошена туда.

Есть что-то в даре вечное, как в горе,
Привычное, как верность и тоска.
Как та река, впадающая в море,
Идущее волной на берега.

И это жизнь. Её узор подвижен.
У ней изнанки нету никакой,
А на лице, среди цветов и вишен,
Мы вышиты коснеющей рукой.

СЕРЕБРЯНЫЙ МОЙ ГОЛОС...

Уже темны и тягостны посулы,
Сквозят черты, как ветер из дверей,
Сквозь плутни школы, сквозь глаза и скулы –
Деревьев, лодок, стен монастырей.

О, эти дара вечные подарки,
Перерожденья, бденья забытьё!
А всё твои, Олимпия, огарки,
Твои и рисованье, и шитьё.

Никогда не забуду тебя,
Как ты жил на земле, умирая.
Вот и я умираю, играя,
Как дитя, упираюсь, грубя.

С неба снег выпадает, снежок,
Снизу день прогорает холодный.
Для чего же наш подвиг бесплодный,
И гобой, и английский рожок?

Вон как холодно – пальцы не гнутся.
Память бредит и смотрит в окно.
Но, как мы ни хитри, все равно
Нам от мужества не увернуться.

Поезд из Петербурга на Брест.
Мы вчера веселились как дети.
Нас почти уже нету на свете.
Нам куражиться не надоест.

На бабочек, умерших на окне,
Я умиляюсь – бедные, оне
Прижали лапки, словно умоляя.

Сгустилась ночь, настала темнота.
С кривой усмешкой храброю у рта! –
Ужели плакать, землю оставляя?

Уж сколько лет упорною лозой,
Ушедшею корнями в мезозой,
На благо всех душа плодоносила.

Но люб прелюбодей и лиходей,
И только нас не надо средь людей.
И вот поля песком позаносило.

Гаральд, тебе целые земли малы,
Из птиц тебе нравятся только орлы,

И армия ждёт тебя в Нарве –
И всё ж ты играешь на арфе!

Как подвиги вечны, так вечны слова.
Как в рост косаря вырастает трава,
Так мерится викинг со скальдом,
Гаральд, соревнуйся с Гаральдом.

И стоит лишь ночью мне пламя зажечь,
Кровавые блески ложатся на меч
И чудится, юное снова,
Гаральда военное слово.

Пуškai музыканты взойдут на крыльцо,
Я их никого не узнаю в лицо,
Велю я им : Песню сыграйте
О доблестном, славном Гаральде.

И станут настраивать скрипку и альт,
И станут расстраивать сердце, Гаральд!
Оно для них что-нибудь значит,
Лишь только когда оно плачет.

Август, твое ночное
Имя черней воды.
Было ли что иное,
Кроме одной беды.

И очертанье круга
Видишь в конце прямой.
И никакого друга,
Кроме себя самой.

Памяти птиц пропавших
Траурный свет террас.
В нас, до утра не спавших,
Августа серый глаз.

Август, в твою дубраву,
В праведный холод фраз.
Ни по какому праву.
Просто в последний раз.

Что ведает разум? В нем встала с душою вражда,
Она как вода, и на ней угасают огни.
Душа угождает, но музыке стала чужда.
Предчувствие смерти сжигает последние дни.

Все умные речи, не ждавшие темных ночей,
Записаны в книги, а книгам уж не до меня.
Что тает свеча, и за что утекает ручей,
И кается сердце, дождавшись последнего дня?

В лесу ездок поводья опустил:
Молю я, чтобы Бог меня простил.
Всего одну я клятву позабыл,

СЕРЕБРЯНЫЙ МОЙ ГОЛОС...

Когда за мною слава увивалась.
Еще и не такое забывалось:
Стамбул, Константинополем ты был!

А конь бежал, бежал, не оступался.
А лес молчал, молчал, не откликался...

За ледяной последней встречи
Стеной, на том конце земли,
Где лес перечит русской речи,
Мои дружины залегли.

Там ветер мчится утром пьяным
Пулями мглы, путями тьмы
За Святополком окаянным
До края света, а не мы.

Там хищный ветер рыщет волком
Опушкой леса, ломким льдом
За окаянным Святополком.
Давай затопим: стынет дом.

За краем света эта дача.
А ваша пестрая страна,
За водяной стеною плача,
Едва виднеется она.

Мы возвращаемся скоро домой.
Раньше мы только летали в погоне –
Всё за несбывшимся. Этой зимой
Мы возвращаемся в спальном вагоне.

Вот мы решаемся, слёзы лия,
Свой комфортабельный миг продлевая.
Вот мы прощаемся – еду ли я? –
Только из высших материй края,
Не ошибаются, где долевая.

Кёльнский собор проплывает во мгле,
Ложечка песню выводит в стакане.
Мы угораем в вагонном тепле.
Мы приближаемся к нашей земле.
Польша, как в пеплуме, вся в этой ткани.
Эта ж, как пеплом, обшита снежком.
После Италий сощуришься – та ли?
Та и не та, что уходит пешком,
В ветхой одежде, с простым посошком,
В меркнувшей памяти дальние дали.

ГРУППЕНФЮРЕР*

(ВЫДОХ)

Если бы я был один. Как когда я был молод и независим. А как это – независим? Я мог бы вспомнить, будь я собой молодым. Как это – собой? Кто же я, если не сам? Кем это молодым? Вспомни, когда тебе тысяча лет.

Я – Летучий Голландец. Проклят всеми, кто уже не помнит меня, не помнит, что проклял, не помнит, за что. Мне нет ни жизни, ни смерти. С незапамятных времен ношусь по водам житейского моря, лишенный то ли права, то ли простой возможности достигнуть гавани. Только раз в семь лет объявляюсь здесь зримо, в поисках кого-то. Кого? Смутно помню – кто-то должен меня, наконец, полюбить, какая-то девушка, и хранить мне верность, и тогда я спасен. Обрету покой, желанную смерть. Я, призрак во главе призрачной команды. Моя родина там, где я дома, а дома я повсюду, как любой, у кого не все дома. У кого никого – дома.

Когда попадаю домой, в Амстердам, прохожу – незримо – среди свободных людей, идущих на красный свет, в компании не видящих меня афроголландцев, затевающих игру в футбол под дождем прямо на трамвайных рельсах, они улыбаются мне, думая о своем, я же незримо улыбаюсь им во все зубы – все оставшиеся от столетий жизни. Выпьем джину, ребята, вашего голландского хеневеру, свернем по самокрутке вашего сладкого табачку. Терборха не видели? Рейсдаль не заходил? Виллем Кальф ничего не просил передать? Да, мы в квартале Красных фонарей. Это он и есть. Он начинается прямо у Аудо Кёрк – Древней Церкви, – старейшей в Амстердаме, и, окружая ее, ставит нас прямо перед трещиной, проходящей по сердцу Европы: перед расселиной свободы. За которую боролись, и когда победили, выяснилось, что она победила – нас. В Амстердаме свобода дает себе высшую меру. Терпимость зашкаливает за себя самое и, минуя все недодуманные, инертно-промежуточные станции, становится домом терпимости. Предоставляя единственную до конца последовательную возможность свободы: свободно идти в церковь – либо в бордель. Эта гениальная провокация Амстердама, а вовсе не приписываемая Кварталу красных фонарей экзотика (ничего менее экзотичного, чем половой акт, на котором мир стоит с рождения, вообще быть не может), и порождает странное ощущение не плохой или хорошей, а начальнее всего живой и нами самими изготовляемой жизни. Сырая жизнь Амстердама... Да уж не вареная. Спрашивайте. Бьют ли морды? Чтобы да, так нет; не видал, врать не буду. Вот обворовать – это за милую душу, так что, как говаривал один мой знакомый: когда тебе говорят о любви – держись за карманы. Ну допустим. А как они себя ведут? Так они и есть голубые. Тут если на это дело смотреть...Что значит –негры? Вы хотите сказать, что черные не могут быть голубыми? Логично. Но логика – не самое сильное место Амстердама.

* Первый вариант этой повести под названием «Копчёное пиво» был опубликован в журнале «Вестник Европы» в 2001 году. Автор представил нам новую редакцию, подготовленную к книжному изданию.

Я? Да бога ради. Ничего я не хочу сказать плохого, а только: если марихуана продается в аптеках, то где здесь логика, объясните, может, я чего... Да нет, это не имеет никакого отношения к моим вкусам. Я сам в свое время купил по случаю стальной тросик в кондитерском отделе самарской булочной и был этой удаче очень рад, долго обходился без вызова сантехника, но все же – что сказал бы нам Аристотель? Если это и логика, то неформальная... Запах в воздухе сладковато-перечный? А какой у анаши еще бывает? Так я же и говорю – марихуана. Нет, я лично – не отличаю. Не настолько продвинут. Каннабис, марихуана, гашиш, джойнт, анаша, план, гянджа – если мне кто-то объяснит тонкости, буду очень обязан. Сказал бы, по-хорошему тронут.

Когда попадаю домой в Венецию, прохожу – незримо, в окружении незримых сорока-пятидесяти экскурсантов, ведомых мною – по уродливым (до сих пор не могу понять, почему никто из пишущих о красотах Венеции не почувствовал неблагообразии этих криво-плоских домов жареного цвета с некрасивыми, неладно расширяющимися кверху жерлами труб, живописное уродство, подобное которому, хоть и совсем непохожее внешне, можно найти лишь в старых кварталах Нижнего или Самары? чужие, что ли? кто здесь дома, тот, освобожденный правом рождения от умиления перед родиной, может только устало любить и ненавидеть свою покосившуюся хижину-дворец), вонючим, в палец шириной, переулком в сестьере Кастелло или Канареджио, я чувствую себя Одиссеем. Улиссом на родине без дома, жены и сына. Без старой моей служанки, чтобы омыть мне ноги в медном тазу. Мои ноги гудят без омовения в кроссовках (большой палец левой ноги рано или поздно пробивает очередной башмак, из тряпки, как бы ни звалась она, хоть бы и «Найк», кроссовки позаимствованы мною у сына, у него такой же размер, вот они сегодня растут, а я не настолько богат, чтобы покупать «Найк» себе, – из тряпочной дыры высвечивает сырой от венецейской влаги носок) так давно, что я перестал их слушать; лишь бы они слушались меня. Да, на ноге моей рубец, по которому она должна меня узнать, но я сам не узнал бы ее, я не помню даже ее имени, да вряд ли она и жива. Да вряд ли она и была – у нищих царей духа слуг нет и не было. Дома без дома. Вернуться на Итаку на полдня незримо и смяться. Странное ощущение. По счастью, оно быстро кончается. Снимаемся с якоря. Заводим мотор. Блуждающий автобус. Не блудит, но блуждает по дорогам всех веков и, бывает, заблуждается по пути.

Когда попадаю домой, в Вену, где в еще памятные мне дни Венского конгресса по всему городу на руках носили Бетховена, прослывшего потом – почему, не знаю, – чуть ли не бедняком (в этом городе все сидят в кафехаусах и все слынут бедняками, Моцарт в этом городе слухов, разносившихся отсюда по миру, когда Вена еще что-то в нем значила, прослыл вообще нищим, тогда как по документам, сказал мне один сведущий человек в Зальцбурге, выходит, что за месяц до кончины этот славный пьяница купил лошадь – быть в долгах как в шелках это одно, но нищим... кто же не помнит, сколько в 1791 году стоила лошадь?), в старый мой добрый Хоффбург, незримо прохожу по шатцкамере, мимо древней короны Священной Римской империи, Оттона 2 или 3, пусть они спорят, мне все равно, корона и так моя, пусть она стоит под стеклом в витрине, что мне, жалко, что ли, не все же себе, нужно и людям, мне даже нет нужды вынимать ее из витрины, она мне надоела, она тяжелее шапки Мономаха (та никогда не была моей) – вся из золота и камней, она тяжелее, чем вынесет моя шея. Но все равно она моя, у меня дома. Сейчас пройду в свои комнаты, минуя комнаты Сисси с ее гимнастическими снарядами (кто бы мог сказать, что у ее вздорных затей такое будущее), с ее бульдогами и боксерами Драконом, Браво, Оскаром и Гамлетом, приму, наконец, контрастный душ... Как ступни гудят; так сбить их, таскаясь по святым камням Европы.

Европа – мой общий дом. Коммунальная территория. Есть и изолированная территория: родина. Есть себе и есть. Живет себе и еще поживет, и слава богу. Обходилась без меня со мной, обходится и вовсе без меня. Она и не без таких обойдется. Нет ждущих меня, нуждающихся во мне, кроме тех двух, что и так – я. Моя семья – это все тот же я сам, как говорил один встречный князь одному поперечному графу где-то на пароме, не помню через какую, когда-то в России. Что с того, что я целый, в полном составе. И в полном составе вполне можно быть ненужным. Чтобы быть нужным, нужен д р у г о й. Почему я никому не нужен? Может быть, потому, что и мне не нужен никто? Нет. Мне нужен кто-то. Девушка, которая меня полюбит, чтобы спасти. Почему? Как может быть, что все мы не нужны никому, если каждому нужен кто-то? Не то чтобы не знаю; просто забыл ответ. Как ее зовут? Забыл и это.

Забыл все, кроме того, что по курсу. Вижу – земля. Слева по борту Бурбонский Дворец, справа по борту церковь Сен-Мадлен, прямо по ходу Шанз Элизе, и сквозь пролет Арк де Триумф, если выстрелить сзади из двора Лувра через Арк Каруссель, прямая пуля пролетит посреди гигантской дыры подвесного квадрата Гранд Арк Дефанс.

Никто не оскорблен мною, никто не обижен; а мне нет прощения.

Вчера я услышал насмешившие до слез слова. На улице одна русская сказала другой мне вдогон: «Как, ты его не знаешь? Весь культурный русскоязычный город знает его. Он возит по всем странам и водит по всем городам, как будто там родился. Это мифическая фигура». Она сказала это тихо, за моей спиной, но русский язык в тихом воздухе нашего города слышен издали. Она и не знала, до какой степени попала в точку. До какой степени эта глупость неглупа. Я и впрямь родился здесь задолго до себя – не во всех этих городах сразу, разумеется, но в каждом из них в отдельности. И я впрямь мифическая фигура. Есть я или нет меня? Качает от собственной невесомости, сейчас взлечу перышком – сам себя не поймаю. Невесомость. Есть я или нет? Ахиллес и Геракл, ведь мы никогда не жили, чтобы их не было, значит, они всегда здесь, они безусловно есть, но их безусловно не было. Вот же и я. Влип в ту же историю. Незрим, но я публичный человек. Весь вечер на, вместо того, чтобы послать всех к. На арене, имею в виду. Да, это Арена. Второй по величине амфитеатр, оставшийся от римских времен. Первый, дорогие друзья, конечно – кто, что? Нет, не угадали, не Пантеон. Верно, Колизей. Колоссеум. Но и Арена, чьи размеры, если вам интересно, 138.77 x 109.52 м – не хухры-мухры. 22 000 зрителей. Это Верона, друзья мои. Это дом Джульетты. Ну и что же, что стены со двора записаны надписями в пять слоев? Если места не хватает. Она одна, а нас сколько. А это *тот самый* балкон, с которого она провожала Ромео. А это бронзовая *она сама* во дворе своего *того самого* дома. Статуя прошлого века. Извините, позапрошлого, вы, как всегда, правы. Вот чего я никак не могу сделать, это – переходить в Европе улицу только на зеленый свет и перейти в 21 век, все остаюсь в 20-м. А вот тут уже вы не правы. Снимайтесь с Джульеттой на здоровье, но зачем хватать ее за грудь? Ну и что ж, что он так перед вами снялся? Он японец, у них все другое. Одна моя знакомая, очень умная и образованная, пишет – им не повезло, в отличие от нас они не-удостоверены в бытии, мыслят подлинное бытие как несуществование. Им не повезло с бытием. Зато, скажу от себя, может быть, им повезло в небытии. Они там *будут*, а мы нет. У них в зазеркалье, может быть, положить руку на грудь – это выражение чистой дружбы. Или рыцарской преданности. Положа руку на сердце. Но для вас, позвольте предположить, это выражение более земного чувства. Так я для вашего же.... ну не морали же я взрослым лю... нет, послушайте, не обижа... ну послушайте же, а потом хоть рекламацию в фирму пишите, хоть в суд, я ведь что только хочу сказать – мы с вами за что любим Джульетту, а за что – свою

жену? Вдумаемся. Жена тем и хороша, что – наша. А Джульетта – чем запомнилась? За что мы ее полюбили? Да за то, что она – не наша. Она принадлежит Ромео. Она убила себя из-за Ромео, только поэтому мы ее полюбили, так или не так?.. Раз в жизни мы полюбили чужое за то и только за то, по определению, что оно принадлежит не нам и осталось принципиально чужим до самой смерти. До полной гибели всерьез. Раз в жизни полюбили бескорыстно не чужое как свое, а чужое как чужое – ужели теперь начнем тискать его будто свое, предадим свою единственную любовь не к себе? На кой нам с в о я Джульетта? Это уже не Джульетта, верно? Дошло, наконец? Ну я рад, что не обижаетесь. Я же говорил, вы меня поймете. Нужна только добрая воля к пониманию, как у вас, и любой еврей договорится с любым арабом. Потому что на самом деле и у тех, и у других семитов есть общие интересы – тянуть с Америки. Правда, эти хотят еще тянуть со старших арабов, с больших пацанов, как говорили в городе моей юности. А американские и арабские большие пацаны плохо сочетаются. Но это только на первый взгляд. Все можно обговорить, все вопросы устаканить, обратив вопросами языка, всему определить свое место и время. Пример? Берешь сто долларов за одно камнеметание, швыряешь камень не в голову, а в заведомо пустое место и получаешь за это от другой стороны сверху еще тридцать. Просто и гениально. Но это только первый шаг. А дальше... Гений – парадоксов друг. Этот коммерческий секрет полишинеля мог бы стать их общим делом. Товариществом с ограниченной ответственностью. GmbH. Сообществом закрытого для несемитов типа. А кто ее любит? И незачем ее любить. Это единственное, в чем мир может отказать Америке – в любви, и пока он еще не весь ей дает, не полностью клянется ей в любви, у него еще есть шанс не занизить себе цену до пигалевских. Пойдем дальше. Дом Ромео не столь известен, как дом Джульетты. Потому что в плачевном состоянии. Это только в Италии бывает – продают как аттракцион то, что в плачевном состоянии. Еще в России, но там хотя бы не продают. Как, и в России тоже? Что значит отстать от жизни. Где дом Ромео? Да где ж ему быть, как не здесь. Тут он, тут, не беспокойтесь. Поищем и найдем. Мы и не то находили. Публика меня любит за то, что я все могу сыскать. Потому что люблю свое дело. Потому что не знаю, в чем оно, а любить можно только то, что еще не знаешь настолько, чтобы разлюбить. Просто так давно хотелось увидеть, которое мне снилось в отроческих снах, и теперь так приятно чувствовать, до какой степени все не так. Освежает. Давно пора освежиться. Но еще рано. Уже поздно. Как интересно... Кто бы мог подумать – мальчик, начитавшийся когда-то Бодлера в рабочем квартале рабочего города-миллионера, в ночи наглядевшись эстампов, лет через 30, перейдя от Ситэ по мосту Турнель на остров Сен Луи, проходя с хвостом туристов мимо отеля герцога де Лозэн на Анжуйской набережной, 17, где Теофиль Готье открыл «Клуб любителей гашиша» и жил там вместе с Бодлером, только сплюнет под ноги, думая уныло – как далеко до полуночи. До конца трудодня. До закрытия праздника, который всегда с тобой.

Но не для того же занимаюсь этим. Не для того не сплю я ночами, Летучий Голландец в бегущих автобусах (не умею спать сидя), – когда повидал все, что можно, убедился в том, что святые камни Европы – лишь известняк и песчаник, а не опрокинутое на землю небо в алмазах.

Я делаю это для них. Для того, чтобы хоть что-нибудь сделать для них. Пусть они хотят, чтобы я сделал другое, чего я эгоистически не хочу. Не пойду на упаковку лампочек в индустри гебит. Не пойду клеить коробки в индустри гебит, в промзону. Не пойду паять платы для компьютеров на Сименс. В Европе нет безработицы. Здесь полно работы, от которой далеко не каждый сойдет с ума. Я – сойду. Я эгоист. Эгоистически не хочу сойти с ума. Но что-то же я для них должен сделать. Из эгоистических соображений: моя семья – тот же я. Так сказал один русский князь в 19 веке; я услышал и запомнил.

Эгоистически занимаюсь иллегальным промыслом. Интеллектуальной контрабандой. Любой полицейский в Австрии может наложить на меня штраф до 5000 марок. В Италии мне могут шлепнуть в паспорт пожизненное запрещение въезда в страну. И страшно подумать, что могут сделать за незаконное вождение парижские ажаны. Я начал бояться Лувра уже за неделю до очередной поездки в Париж. В кошмарном сне снится мне «Пьета» из Авиньона, XV век (кто из луврских лицензированных экскурсоводов сказал о ней хоть слово, хоть одно восхищенное слово?), эта Стена Плача безымянной французской живописи на все времена. Возле которой меня ловят, как мелкого жулика. Странная судьба – незримо призрак по главе ведомой им команды призраков бродит и бродит себе по Европе, но как только дело пахнет криминалом, призрак материализуется. Для стражей порядка. «Где Ваша лицензия, мсье?» – «Извините, это не экскурсия. Мы не группа. Просто мои русские друзья попросили меня что-то им рассказать по-русски». – «У Вас слишком много друзей, мсье. Прошу Вас немедленно замолчать и спуститься по лестнице, в противном случае я вызываю полицию». Не надо, не надо ажанов (я так и не выяснил до сих пор величину штрафа во Франции: не хотелось бы выяснить это опытным путем). Тогда спускайтесь по лестнице. Вниз по лестнице, ведущей вверх. А кто тогда скажет человеку из Харькова хоть слово об этом чистейшем выражении религиозного чувства 15 века? Но Лувр плевал на человека из Харькова. Он плевал на любого человека, хотя любой человек и приносит ему единственное, что ему нужно – деньги франки. Лувр приносит Парижу 25% годового валютного дохода, и даже малая толика этой тесно конвоируемой валюты по праву принадлежит французским лицензированным экскурсоводам. Я – экскурсионс-фюрер. Но незаконный. Без диплома, лицензии, значка. Экскурсовод-контрабандист. Но берите выше. Зовите просто – группенфюрер. Во главе группы войск, не нуждаясь ни в каком удостоверении, кроме права сильного. Которое мы удостоверим явочным порядком победы. Ничего-ничего, поддадимся, чтобы победить. Сейчас мы спустимся по лестнице павильона Ришелье. И снова возникнем в павильоне Денон, где нас больше не ждут. Неожиданный марш-бросок. По пояс в ледяной воде Сиваша. Нет, Ганнибалом обрушусь на вас, совершив беспрецедентный переход через вашу шивую Галлию и плюгавые Альпы. Потеряв половину армии по дороге, пополню ее ряды другими русскоязычными, сбегавшимися на мой понятный только им зов, на лебединую песнь русского Лоэнгринна изо всех залов Лувра. Призрак, призрак колобродит по Европе.

Это вот церковь Санта Мария Глорियो деи Фрари. Одно из сердец Венеции. Сейчас мы войдем сюда вот отсюда, с этой стороны мы войдем в церковь как в храм, друзья мои, а не с той, где вход в церковь как в музей. Потому что с той надо платить, хоть стой хоть падай. А с этой не надо. Сейчас вы увидите в проеме алтарной преграды, точно так, как ее должны были видеть современники, войдя в храм, картину Тициана «Ассунта» – Вознесение Богоматери. Это у католиков такой праздник, которого у нас нет, потому что... но это сейчас неважно. Это важно для отца Сергия Булгакова, а для нас нет. Нам с вами сейчас важно, что когда еще молодой Тициан написал эту картину, вся Венеция праздновала этот день, вся Серениссима шла сюда, во Фрари, где мы сейчас, на освящение этой иконы. Потому что этот холст семиметровой высоты – это для нас картина, а для них – это алтарная икона, и то был венецианский ответ на вызов Рима. В те годы Рафаэль, человек, которого мы все хотим видеть воплощением его же «Маньера гранда» (я вам в автобусе по дороге расскажу, что это такое – большой стиль, а сейчас лишь замечу – это то, чего у нас с вами и в помине нет), ведя, что бы ни говорили о его богатом и свободном быте, совсем не праздную жизнь, написал величайшую икону Рима «Преображение», которая, по мнению многих, начинает все, что позже стало называться маньеризмом и даже барокко, тогда как, в сущности, было противоположностью сразу тому и другому – торжеством настоя-

щей классики. Иначе придется считать маньеристом и Пуссена. Тут, по сути, школа жеста классического театра. Царство умозрения, три холодных как лед ступени разумного восхождения. Три разных освещения, три вида света, три пространства в одном. Ибо что есть Преображение, как его представляем себе мы, православные, со времен св. Григория Паламы, с 14 века, – и как его представляют себе католики?.. Позвольте мне не отвечать на мой же вопрос, уважаемые дамы и господа, это нас заведет далеко-далеко; коротко, чтобы не утомлять, важно, что молодой Тициан перерубает этот гордый узел римского рацио сплеча – решительно соединяя все три пространственных зоны в одну небесно-земную, пронизанную единым земно-небесным светом, воздымая винтовым, пропеллерным движением Деву Марию в небо и заставляя зрителя охватить небеса и землю единым взглядом и ощутить все мыслимое и немыслимое сразу – как единый удар чувства, как круговорот испаряющегося воздухосветоцвета, вовлечь любого простеца или сложнеца в энергетические восходяще-нисходящие потоки. Проще говоря, вознести нас самих в небо, одновременно оставляя крепко стоять ногами на земле. Но если и это слишком сложно, друзья мои, если для вас, как и для меня, это слишком по-венециански: и на небесах, и на земле, все получить, ни от чего не отказываясь, – то и это неважно, а важно, друзья мои, что нас просят удалиться из церкви, потому что мы порядком им поднадоели, они уже поняли, что мы – не помолиться пришли, но мы спокойно можем войти в церковь слева, как в музей, чтобы уже как следует разглядеть вблизи и «Ассунту», и другую величайшую картину Тициана, «Мадонна семейства Пезаро», и гробницу самого Тициана, и дивный триптих Джованни Беллини, которого на своем птичьем наречии в этом городе голубей зовут Дзанбеллино, а лучше Дзанбеллино, если кто и писал красками, то чистоты его созерцания (я потом объясню про созерцание, потому что одно созерцание у Винни Пуха и другое у Совы, одно у Григория Паламы и другое у Слепого Шейха, хотя Григорий Соломонович Померанц и думает о суфиях, что созерцание их туда же ведет, куда и Симеона Нового Богослова, тогда как Винни Пуха с Совой вряд ли станет синтезировать) при посредстве столь чистых красок не достигал никто... и это всего за 3000 лир. Три марки. Что значит – когда уже и так глянули? Ах, на шару. Кто еще так думает? Большинство? Что молчим? В знак согласия? На шару – так на шару. Нет, мы не можем идти вдесятером, чтобы сорок оставшихся тем временем разбрелись и потерялись. Кто потеряется в Венеции, того даже я не соберу. Вперед и с песней. С тех пор не слыхали родные края: «Линдау, Пассау, Дахау моя». В витрине? Мерло ди Венето? Этот сорт винограда используется чаще в сочетании с каберне совиньон. Как в бордо. В вина бордо идет к тому же и некоторая толика каберне фран. Отдельно – мерло имеет фруктовые тона. Конкретно – сливы. Слегка перезревшая, лоза мерло дает тона горького шоколада. Мерло ди Венето, как и Мерло ди Фриули, по-моему, жидковато. Североитальянские вина вообще, на мой вкус, жидковаты и маловыразительны. Нет, бывает, и Вальполичелла набирает полноту корпуса, да еще и 14 градусов, но тогда это уже не простая Вальполичелла, а особая, типа Амарено делла Вальполичелла, из подсушенных ягод – и стоит под 30 марок бутылка, почти как великие пьемонтские Бароло и Барбареско. Но в большинстве их северные вина, по-моему, жидковаты. Зато – имеют славу легких. Якобы не тяжелят, а веселят. Якобы – это и есть Италия. Веселить, а не тяжелить. А я скажу – это сколько выпить, друзья. Сколько выпить. Мерло, мерло по всей земле. Да протрезвело.

Ее отправили было пуцать швимбад, убирать бассейн, но мы положили ее в больницу. Голодать – а на выходе вялые членики вареной спаржи и листики артишоков. Без соли и масла. Кто-то когда-то об этом мечтал. Спаржа, артишоки. Не стоит того. Осуществление мечты вообще не стоит самой мечты; а тем более мечты о съестном. Мечта – несъедобна. Мы добились, чтобы ее положили, потому

что сказали: там замглавврача русская – она тонкий психотерапевт – и помогает своим. Она ставит нужный диагноз. А нам и не нужен был *нужный* диагноз. Нам нужно было лишь подтвердить тот, что она имела в Москве. Правдивый. Его бы хватило, чтобы ее не тягали работать поутру. Как же как же. Не верьте пехоте. У России нет друзей, даже среди русских – вне России. У России – в лице русских вне России – есть лишь интересы. Интерес русской замглавврача был – самоутвердиться за счет таких, как моя. Объяснить ей, что если она не смогла устроиться на работу, вообще встроиться, ей самое время поворачивать оглобли назад, в Москву. Если она, интересная женщина, не смогла как следует устроиться, то кто она? Не-женщина, никто. «Вы просто дрожите здесь от страха, как свечечка на ветру, на вас смотреть страшно». Вот она сама – то ли дело, она и немецкий смогла выучить идеально (тут от большинства немецкоговорящих русских слышишь беззаветно-искреннее: они владеют немецким именно «идеально», совершенно; хотелось бы знать, какой идеальный немецкий они имеют в виду – немецкий Ницше и Целана, или есть еще другой «идеальный немецкий»?), бегло-бегло, и замглавврача стать, и интересной женщиной остаться. Самое интересное в этой интересной женщине – она-таки и правда изображала из себя психоаналитика. Я позвонил ей и сказал, что если она такими методами расправляется с и без нее пляшущими на ветру человечками вроде моей жены, чтобы себе показаться краше, то она, конечно, прирожденный психотерапевт. Себя самой. Но только вот бывают еще и другие психотерапевты – например, был такой профессор в Цюрихе, его звали Карл Густав, к сожалению, не помню фамилии, но только он однажды девять лет слушал и слушал одного пациента, а сам ни слова, ни гугу, и тогда на десятый год пациент ему открылся и все доверил, – так вот, не знает ли она цюрихский адрес этого Густава Карла? После чего она сказала моей прямо в больнице, где та голодала пять суток, что видела она бесовских хамов, но таких, как Ваш муж, еще не слыхала. Возможно, сказала моя, это ведь только я думаю, что у него есть совесть, а Вы не обязаны. А я понял одно: насколько каждый из нас прав, этого даже никто из нас не представляет. Потому что, сказала моя, неподдельнее искренности, чем в голосе этой замглавврача, она и представить не может. Я ей верю.

Потому что у меня и правда совсем нет совести. Затерялась где-то по дороге между Боценом и Тренто. Это такие места, где можно, потеряв, долго искать, потому что здесь никуда не спешат, Тридентский собор в нынешнем Тренто, например, заседал с 1545 по 1563-й, заседал и определял судьбы Контрреформации, судьбы Европы, в каком-то Тренто 18 лет, а уж если что тут закатится под лавку, типа совести, то и не сыщешь, хоть 18 лет ищи. Или между рейнским и франконским. Друзья мои, законы изготовления вина во Франконии жестоки. В отличие от многих вин Франции, винздрав Франконии запрещает добавлять сахар в бродящий виноматериал. Надпись «вайн мит предикат» или «кабинетт» это и обозначает. Сколько виноград сам набрал в этот год – столько и набрал. 10 градусов – значит, 10. Не густо – зато по правде. Кому нужна правда? Не знаю. Мне, например, не нужна. И вам? Вот я и говорю. Правда вообще не нужна, но неправда отвратительна. А за неимением правды ее место почему-то автоматически занимает неправда. Закон суров, но это закон. Это Германия. Это честная страна. А я люблю франконские вина. За их франконскую сухость. Представьте себе, есть такое понятие – не просто сухое вино, но франконски сухое. Самое большее – остаточные четыре грамма сахара в литре вина. 0,4%. Вообще не чувствуется. В остальных местах допускается до девяти граммов на литр. Франконская сухость, если хорошо захоладить бутылочку-другую, это сухость подмороженной зимней земли. Языком натыкаешься на твердость сухой влаги. Гете тоже любил франконское. Говорят, выпивал до двух литров в день. Кто говорит? Ну, друг мой, все. Есть мнение. До 82, да. Дожил. Ну и что? Ничего необычного. И

каждый из нас доживет до 82, если не умрет. Да, я тоже слышал, его обкладывали молодыми женщинами. Но, думаю, если это и было, то в 82 уже только чтобы согреться. Их подбрасывали, как дрова в печку. Как эскимосы в снежной яме согреваются собаками – помните группу «Ночь трех собак»? Нет? А я помню. Я все помню, и это ужасно.

Совесь. Когда везешь 50 человек из туманной Германии в прозрачную Италию, зачем она тебе? Совесь для тех, кто спал хотя бы четыре часа. Честь тем, кто в автобусе выспался. Полуживому сторожевому-неспящему – только смотреть в окно и думать: я еще на этом свете? или уже на том? Почему чистилище сменилось раем? Я не достоин рая. Я не достоин даже чистилища. А уже в раю. Это кипарисы или аполлоны и гиацинты? Почему так много солнца? За что оно меня еще греет? В чем смысл того, что всегда – стоит пересечь черту, отделяющую Австрию от Италии, – и в ста метрах от границы туман – всегда – заменяют солнцем? Но один раз я видел в начале Италии – вместо солнца свинцовое небо, и в темно-мышинные отроги Тироля врзается, ниспадая в дол, светло-мышинный туман. Это красивее этого. Я хочу сказать, в жизни это красивее всего, что я мог бы об этом сказать красиво.

А тем временем этому придурку сломали нос. К нему задрался крутой одноклассник. Безотцовщина. И этот дурачок пошел на дуэль. Думал, сначала будут долго ругаться, как в России. А тот подошел и, ни слова ни говоря, по-немецки приступил к делу: сразу двинул в нос.

И мой приходит домой, когда мать в больнице, а мне завтра в Париж, и говорит – у меня нос болит. Непохоже, чтобы серьезно, крови нет. Но болит. А мне завтра в Париж. Мало ли что, для очистки совести – к врачу. На! Рентген: перелом носа. Без смещения. Уже кое-что. В остальном херово. Лицо в гипсовой маске. Это что-то. И так я беру его с собой в автобус, ни слова ей не звоня. Сойдет же с ума окончательно. Приехали в Германию на ее бедную голову по моему хотению. Концлагерь. С утра гонят на принудработы. Не первый год отбиваемся. Окопная война. Силы на исходе. Боеприпасов нет. Провианта нет. Фуража нет. Не в смысле, чтобы поесть, не голодаем, не жалуясь, чего нет – того нет, а в смысле ведения военных действий. И теперь еще это.

И вот он спит, головой у меня на коленях, в автобусе, мы подсели ночью, основной состав заселился в Мюнхене, полутьма, его еще никто не видел, я сочиняю про себя на немецком беседу в понедельник с директором, чтобы того подонка вышвырнули из гимназии. Ведет себя не как немец, а как подонок из какого-нибудь Чапаевска. Недавно привел двух своих друзей-старшеклассников, и они швырнули его очередного врага – рослого одноклассника, с которым он не мог справиться, через скамейку – прямо в больницу. С моим же он справился сам, и быстро. Я ему выдам за всю боль моих годов в рабочем квартале моего отрочества. Мать его только жалко. Одна, бедняжка. Чуть ли не как мы, на соцпомощи. И все равно, таких крутых немцев все равно надо ставить на место, чтобы знали, кому положено быть крутым, а кому – цивилизованным. Это его девятый фервайз, а после девятого фервайза – вон из гимназии, я сказал – его выпиннут, и его выпиннут как положено, как я сказал. Даром что плохо говорю по-немецки, возьму кого-нибудь за 10 марок, а понадобится – и за 15, и добьюсь того, чтобы погиб весь немецкий мир, но восторжествовал немецкий закон. Доколе над нами будут издеваться только потому, что мы ненемецкоговорящие, что мы – немые, мы нем-цы у немцев и не можем постоять за себя? А я постою! Я готов даже отсидеть – не за себя, за этого дурачка. Если этот полудурок не может сам себя защитить, я его защищу. Он вышел на дуэль, хватило пороху, и будет с него. Остальное мое дело. Это мое пиво, как говорят здесь. Но чтобы она не узнала. Он спит всю ночь у меня на коленях в гипсовом наноснике-набровнике, перетянута еще по лбу и щекам по-индейски четырьмя полосами

пластыря, я боюсь, что утром его вид будет пугать честную публику, я везу эту Гипсовую Маску в Париж, где в бывшей Бастиль томился Железная Маска, и думаю: что мне с ним делать, когда у меня 50 туристов, но не оставлять же его одного дома в 13 лет с переломанным носом, мать в больнице, и только бы она не узнала. Его надо убедить, что он должен молчать, должен соврать – аллес ин орднунг, чтобы она не сошла с ума, он избыточно честный; хоть бы нос сросся и сняли гипс до ее выхода, у меня есть еще дней десять, чтобы его подговорить молчать, как-то ему объяснить, что Богу иной раз угодно и чтобы кто-то помолчал. Не соврал, просто помолчал.

Но в принципе в Германии надо знать немецкий: рискуешь не почувствовать себя человеком. Жду автобуса на остановке возле супермаркета. Вдруг откуда ни возьмись рядом садится девчушка лет 15-16 и давай шмыгать носом, глотая слезы. Не выношу, когда женщины плачут. Не можешь помочь – вообще чувствуешь себя свиньей, не можешь помочь женщине – свиньей вдвойне, но если не можешь помочь потому, что не знаешь ее языка – это какое-то-то невыносимое, тройственное свинство. Допустим, допустим, еще нашелся бы сказать: «Почему ты (вы) плачешь(те)? Могу ли я чем-то помочь?» А дальше? Дальше, в ответ, она что-то залопотала бы, быстро, захлеб, по-швабски, я ничего не понял бы, не смог бы ответить – так уж лучше не лезть вовсе. Позорище! Хорошо, у меня в кармане был «Сникерс», купил для своего. Я вынул и протянул ей. Без слов. Просто Чарли Чаплин. Я знал, она возьмет. Они тут все продленные дети, только что пользуются презервативами с 13 лет, а любят шоколадки, кока-колу и смотреть про покемонов. Она перестала плакать. Вгрызлась в «Сникерс». Потом к ней подошел ее парень и что-то ей тихо и нежно сказал. Они тут очень нежные, всегда идут, нежно-нежно обхватив друг друга за задницу. Она опять зашмыгала носом, но это было уже не моего ума и языка дело.

Ночь. Успели мы всем насладиться. Ночь – это время, что длить нельзя. Это место, где днить нельзя. Безвременное безместо. Сколько прошло минут, часов – узнаешь по светящемуся над водителем табло. Что проехали – по придорожным шильдам. Роскошный пограничный Страсбург или никакой пограничный Куфштайн – автобану все едино. Да и мне уже. Раз в три часа тормозят у придорожного растхофа, «чтобы размять ноги». Зачем спящим разминать ноги? Это мой Roadhouse Blues, не их и не Джима. В отличие от меня, у него, кажется, не было проблем с совестью. Он ее не терял. Чего нет – не потеряешь. Он был гений, а гениальность плюс еще и совесть – это уже слишком для одного человека. Курю, глядя на звезды. Давно бросил курить. Но в дальнотойных поездках начнешь покуривать. Эти точки наполненной пустоты как-то помогают пережить длительную пустоту ночи. Кажется, эта звезда вся уместится на кончике сигареты, а та ни за что. Звезды разные. Богу неуютно курение, виноват, я перед ним кругом виноват, но иногда кажется, что это Он щелкает у тебя под носом зажигалкой. Потом опять едем. Опять спят. Гипсовая Маска спит. Один я не умею спать сидя. Кто-то должен сидеть и смотреть. Экскурсовод-дальнотойщик. Единственный в мире частный сыщик-консультант. Все может сыскать на пересеченно-культурной местности. Не живши и недели, а то и дня в городах, по которым ведет, как по тому единственному, где родился. Нормальный человек водит, где живет. Или недалеко от себя. На границе с Бенилюксом – по Бенилюксу. На границе с Австрией – по Зальцбургу. А я, сидя в баварском провинциальном городе, вожу по любому городу Европы. Как я это делаю? Это коммерческая тайна, которая принесла мне чуть больше дырки от бублика и чуть меньше самого бублика. Но вам открою: все просто. Нужна только карта города. Она находится в путеводителе, который находится в библиотеке. Остальное, как не совсем умело, но совсем не бессмысленно формулировал покойный мальчик Цой, остальное находится в нас. И раскрывается на местности – в виде легкого отвисания челюсти: смотри, это то, самое оно и

есть. Ты вел их и себя по карте – и привел, карта правда не соврала, ты и вправду стоишь около дворца Медичи, что странно. Но раз уж это случилось, раз уж ты оказался здесь, а не на площади Урицкого в Самаре – что ты знаешь о нем? Не о Моисее Соломоновиче Урицком, это кому сейчас интересно, красный террор или белая гвардия, когда доллар уже вторично стабилизировался на всем пространстве постконтрревеконстрнеотранс-и-мета-России и барометр всегда показывает от 29.44 до 32.31 – а о старом Козимо, о сыне его Лоренцо и сыне его Джулиано, о возлюбленной последнего Симонетте Веспуччи, урожденной Каттанео, приехавшей с мужем Марко Веспуччи во Флоренцию и умершей здесь от чахотки через 7 лет. И когда она умрет, ровно за два года до того, как зарезали ее любовника, старший брат того, Лоренцо, напишет: «Настал вечер. Я и самый близкий друг мой шли, беседуя об утрате, постигнувшей всех нас. Воздух был чрезвычайно прозрачен, и, разговаривая, мы обратили взоры к очень яркой звезде, которая поднялась на востоке в таком блеске, что не только она затмила другие звезды, но даже предметы, расположенные на пути ее лучей, стали отбрасывать заметные тени. Мы некоторое время любовались ею, и я сказал затем, обратившись к моему другу: “Разве было бы удивительно, если бы душа той прекраснейшей дамы превратилась в эту новую планету или соединилась с ней? И если так, то что же дивиться ее великолепию? Ее красота в жизни была великою радостью наших глаз, пусть же утешит нас теперь ее далекое сияние“». Вспоминай-вспоминай, разматывай клубок, это ведь интересная история, заговор Пацци, обнажал тираноборческий кинжал, того зарезали как раз вот там, в храме, мы его сейчас увидим, прямо за этим углом, прямо во время службы, а тот укрылся в сакристии, раненый. Интересно. В сакристии все-таки побоялись, было за душой что-то сакральное, или просто их перехватили? Жутко интересно. Пока тебе самому жутко, им не перестанет быть интересно.

Я кондотьер. Эразмо ди Нарни по прозвищу Гаттамелата, что значит Пестрая Кошка. Огнем и мечом прошел я Пизу и Сьену, предал двухдневному разграблению Фиренцу; оголодавшие мои ландскнехты стояли в Вене (помню ее, еще когда она звалась Виндобона), оставаясь глухи к мольбам завсегдатаев Оперы и кафе, опустошив запасы честного хозяина постоянного двора в Венском лесу, набив поутру карманы оставшимися на шведском столе от завтрака яблоками и киви, плавлеными сырками и расфасованным джемом, и если бы корнфлекс и мюсли были расфасованы, мы забрали бы и эти трофеи с побежденных земель. Тяжелая поступь моей голодраной, но обученной в боях механизированной пехоты заставила содрогнуться земли Брабанта и Франш-Конте. Тщательно готовил я кампанию за кампанией, разрабатывая по картам и книгам планы конкисты. Озеро Гарда, Верона, Виченца, родная моя Падуа, Милан, Рим, Канн, Ницца и Монако, Антверпен, Брюссель, Гент и Брюгге, Гаага, Амстердам, Люксембург, Кёльн – пали один за другим... Спрашивайте. Да, разумеется, одеколон, о де Колонь – это кельнская вода по-французски. Нет, не речная вода из Рейна, но – кельнская вода. Что значит вода, если это одеколон? А что значит – вода, если это водка? Все это вода. Весь вопрос, какая. Французы называют свою самогонку «о де ви» – вода жизни. А водка – вода смерти. Живая ли, мертвая вода – мне, призраку, все равно, какую пить. Чем закусывать. Где жить.

Но если умирать, так в Венеции. Да потому, друг мой, что в Венеции умирают все. Одни потому, что родились в ней, здесь живут и, значит, умрут. Другие потому, что это считается хорошим тоном. Вагнер же умер. Да, здесь, 13 февраля, в палаццо Вендрамин Каллерджи. Архитектор Мауро Кодуччи. Лучший из всех, кто здесь строил в 15 веке. Да. Тут. Взял вот и помер. На руках старого гондольера, венецкого матроса Чижика, ходившего за ним как дядька. Подождите, утру слезу. Ведь он был Летучий Голландец, как я, он был моим братом и написал про нас оперу-автопортрет, а думал, что немец и антисемит. А сам взял сюжет у Гейне,

которого любил безумно. Но сжег все, чему поклонялся. Потому что был человек идеи. Большой и чистой идеи. Чего только люди идеи не думали большого и чистого. Главное, чтобы они думали одно, а удумали другое. Для тех, кто будет делать. Тогда еще можно жить. Вагнер помер, а мы будто хуже. И мы помрем. Когда нам придет спасение от тех, кто нас полюбит. Тут, почему нет? Один такой когда-то тоже собирался помереть на Васильевском острове, но помер по дороге, в Нью-Йорке, а велел, как будто бы – тут. На похоронном острове Сан-Микеле. Я как думаю? Живет себе человек, живет и видит – кругом мрут, а хоть бы хны. Мерло, мерло по всей земле – не поредело. Он и решил, поскольку у него уже была любящая и верная, и ему недалеко оставалось до спасения и покоя, во избежание мало ли там чего, знаете, бывает, внезапно умрет человек, он-то уже в курсе, как и что, а другие-то еще живые, вот и не знают, что делать... он и решил заменить Васильевский остров Михайловским. Им так понятнее, Европа все-таки, Запад, все свое родное, а ему не все ли равно, когда для него все родное – уже там, а не здесь? Любой остров есть остров есть часть суши, со всех сторон омываемая водой. Мы живые на этом острове мертвых. Как то есть что? То. Мы пока еще не доросли. Мы еще чужие на этом празднике смерти, вот что.

Кажется, тот, со зрительским значком, в углу, уже обратил внимание. Да, определено. Идемте тихо, но быстро; идем дальше, друзья мои (почему нельзя? что я сказал-то? что большей концентрации католического чувства, чем в картине Ла Тура «Оплакивание св. Себастьяна», нет даже в картине Сурбарана «Смерть св. Бонавентуры», которую вы видели 15 минут назад в крыле Денон (где нас не тормознули, обычно тормозят там, а сегодня тут, где – никогда); что большей степени скорбного бесстрастия вы не найдете, поэтому смотрите сейчас и запомните на всю жизнь... что, разве неправда? что-то плохое сказал? за это надо забрать? у, святые камни Европы! когда меня заберут, выдворят, внесут в компьютер, дадут срок, наложат штраф, – когда меня не станет, кто будет вас защищать от Америки, от агрессии бейсбола и баскетбола, от биты демократии и прогресса, от Брюса, который опять вовремя вылез, чтобы с чувством юмора в пятый раз спасти мир? и тут взрыв! а где Брюс, в отпуске? и кто напомнит туристу о внутреннем его человеке перед лучшим художественным ответом Запада на вызов восточных медитативных практик – картиной Ла Тура «Мария Магдалина со свечой»? кто, если не я? ответь, Александровск, и Харьков, ответь!). Идемте скорее в другой зал, да нет, да что вы, да не потому, что нельзя, как это нельзя – вы платили деньги и все можно, но Лувр скоро закрывают, а мы еще не все видели. Мы еще не видели картину Вермеера «Кружевница», а значит, не видели по-настоящему сверхъестественной живописи, мы еще не видели картины Рембрандта «Туша», с этого убитого, воняющего сырой кровью мяса начинается XX век, парижская школа, Хаим Сутин, богословие после Освенцима. Помните, как у нас раньше в гастрономах в рыбном отделе писали: «Треска обезглавленная поротая»? «Минтай обезглавленный поротый?» Нет? А я до сих пор помню свою оторопь перед картиной позорной казни невинной, немой рыбы, которую, уже обезглавив, еще и порют на потеху человеческой черни. Нас с вами. Это ужасно. Если не дают смерти, так хотя бы забвение. Я помню все. Да, пожалуйста. Которую я там показывал? Внизу? Час назад примерно? А, ну да, без рук. А та, на лестнице, с крыльями – без головы. Да, забыл, и без рук тоже. А та хотя бы с головой. Хотя этой без головы пожалуй что лучше. Ну? Да, и была. Без головы. Верно. То есть нет. Не путайте меня. Разумеется, с головой, как это богиня – и без головы, и эта – с руками, но когда ее выкопали из земли 150 лет назад, она уже 2000 лет как пролежала – ну и вынули, как уж была. За 2000 лет все что угодно куда угодно слиняет. Рук так и не смогли отыскать. Да, искали. Но кто-то под землей постарался их захватить как следует. Да, пожалуйста. Только давайте все в уголок (а то вон уже из того угла начинает следить; вот сюда, за колонны; пронесет – или уже по рации меня

передают, ведут из зала в зал? а потом, как уже пригрозили, в участок; я не апаш и не хочу к ажанам). Так, слушаю. По национальности кто она будет? В смысле – кто? Венера? То есть Афродита, чтобы вас не путать. А вы как думаете? Нет, не французенка. Она вообще-то – богиня. Но в общем... ну да, поскольку родилась у острова Кифера, а волны вынесли ее на Кипр... ну, в общем, вы правы, если они приземлили ее здесь и называли Киприда, значит, у нее есть нация. Сдаюсь. Гречанка. И откопали ее на греческом острове Мелос. Но тут своя тонкость. Понятно, что вы запутались, поскольку сами греки изрядно запутались в этом вопросе и нас попутали. Поскольку тоже все о любви думали, ну и, значит, об Афродите – кто она все-таки будет, и пришли к выводу, что их две. Одна, для всех – Афродита Пандемос, ну то есть, скажем, всенародно-общепотребительная, а все какие имеются в виду? Само собой, все – это греки. Остальные вообще никто, хотя они и есть. Рабы же есть, правильно, хотя они никто, верно? А то было и так, что греку грек – никто. Грек греку – метек. То есть афинянину спартанец никто, и наоборот. Поскольку чужеземец – вне закона. Убить его – это в принципе неплохо. Где-то недурно. Метека жалеть – только портить. И Никто свободно мог загреметь в рабы у Всех. Это вам не англичанин в Нью-Йорке. Да, а другая, не для тех, кто – Все, но и не для тех, кто – Никто, а для... для Не-всех, она звалась – Афродита Урания, то есть Воздушная, Небесная, эта – непонятно какой нации. Небо же надо всеми встает, верно? (да, надо всеми встает... кому Бог подает).

Да. Мы пойдем сейчас на этот холм, на холм мучеников или свидетелей, потому что мученик за Христа это и есть свидетель истины, и этот холм так и называется МонМартр, гора свидетелей. Здесь за веру во Христа обезглавили в 250 году епископа Сен-Дени, святого Дионисия или, по-нашему, Дениса, и еще двоих его спутников. Как церковь называется? Сакре-Кёр. Еще раз? Сакре-Кёр. Еще раз? Все равно Сакре-Кёр. Хоть пытайте – что я могу сделать. Не могу же изменить название из-за того, что его трудно запомнить. Что значит? Вот это вопрос по существу. Святое Сердце Христово. Которое Ему пронзили за всех нас, а точнее – все мы, и продолжаем пронзать каждую минуту, мучители Того, Кто один нас только и любит. Нет бы нам помучить кого другого, кто нас не любит. Ведь никто нас по-настоящему не любит, никому из нас другой никто из нас не нужен, а Ему нужен... Беда, странная беда только в том, что, согласно Ему же, кого бы мы ни мучили, даже нашего заклятого врага и к тому же последнего гада, мы на самом деле снова и снова мучаем – Его... Нравится? Очень? А мало кому нравилась, когда построили, потому что ни на что не похожа, из-за того, что похожа на все сразу, я потом объясню, на что непохожа тем, чем похожа, когда поднимемся и войдем. Один только авангардист Аполлинер ею восхищался. Поэт-модернист защитил храм Божий в стиле эклектики, странно, правда... но я лично думаю, тут дело в польской его крови. Поляк – он сначала поляк, а потом уж авангардист там или кто. Костел для него – это костел, а потом уже все остальное. Да, дождь. Да, проливной. Так это-то и прекрасно. Вы хотели увидеть классический Париж? Вот это и есть классика, когда заливает за ворот. В дождь Париж расцветает, как серая роза. Кто это написал? Неверно. И не он. Нет, и не я, куда мне. Правильный ответ: какая разница кто. Важно - что. Кто бы это ни написал, он сказал чистую правду. Эта правда согреет нам душу, когда мы полезем на холм. Да, холм крутой. Потому на нем и засели коммунары, что высотку защищать легче, чем взять. Но мы с вами возьмем. Мы и не то брали. Что нам 130 метров? Вперед – и с песней.

Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Дахау евреям отдать!

В этом розовом доме жил Морис Утрилло. Он писал Монмартр и больше ничем не занимался. Если не считать того, что пил, как лошадь, но это не занятие, это вредная привычка. Он был внебрачный сын художницы Сюзанны Валладон. Она была женщина с вредными привычками. Имела ли она понятие, что сыновья бывают от брака – или только от мужчины? Понятия не имею, друзья мои. А тут жила

Далида. Деревня, да? Зеленая заплетень. А ей нравилось тут жить. Она покончила самоубийством. Вредные привычки? Какие-нибудь были наверняка, но какие именно – не скажу, врать не буду. Значит, разонравилось тут жить, правильно. Пошли дальше. Тут, на улице Лепик 54, полтора года жил Ван Гог у своего брата Тео. Он был нездоров душевно. Я тоже не совсем здоров душевно, и как раз почему-то сегодня опять это чувствую, но к делу это не относится. Он и пил, и курил, и заключил этот ряд вредных привычек самоубийством. Да, еще отрезал ухо. Как кому? Чужого уха он бы и мухе не отрезал. Себе, нелюбимому. А вы бы что сделали? Что-то надо было отрезать. Что-то в нем было лишнее. Когда у человека всего не хватает, это знак того, что в нем самом что-то лишнее. И вообще – бывали в Арле? Рассказываю: Прованс. Температура в тени 35. Человек каждый день встает, напивается абсента... абсент друзья мои, это полноанисовая настойка, если вам интересно знать, мне самому интересно, дело в том, если кто читал у Ремарка в «Арк де Триумф», эту дрянью в 20-е запретили, от нее начались проблемы у мужчин, то есть у мужчин проблемы начались гораздо раньше, но в 20-е годы XX века поняли: все дело в абсенте, и запретили. А сейчас вновь разрешили, наверное, потому, что виагра, да не путайте же меня, при чем тут фуа гра, та пишется отдельно, мужские проблемы решила, наконец, раз навсегда, и я вчера с удивлением обнаружил абсент в супермарше «Монопри», так вот, градусов в нем все 54 колеса. А рядом стоит другой абсент, подороже, там и вовсе 66. Итак, ты, будучи от природы Ван Гогом, то есть человеком, что греха таить, возбудимым, встаешь, с утра пораньше, во благовремении принимаешь, как положено художнику, абсента уж не знаю в 54 или 66 колес, затем отправляешься в поле подсолнухов на целый день на солнцепек от 35 колес и выше и пишешь по картине в день, подпитываясь абсентом и черным табаком, потом через пару месяцев такого времяпрепровождения приглашаешь Гогена, тоже художника, человека, стало быть, тоже нервного, но не с такою нежною душой, вспомним хотя бы, что до того мсье Гоген был сначала матросом, а потом биржевым маклером, и неплохим, а оба этих занятия закаляют душу; и, стало быть, некоторое время вы оба с утра, как положено художникам, регулярно принимаете абсент, степенно беседуете о жизни и об искусстве на солнцепеке, слово за слово об искусстве и – вот вам и ухо, друзья мои. Да, так он покончил самоубийством. Но не от того, от чего Далида. Той хорошо жить разонравилось. А ему разонравилось жить плохо. Он был слишком серьезным для художника человеком. Повторяю, он умер бы, но нипочем не взял бы чужого, а приходилось брать, хоть умри; вот он и умер. У него развилось праведное для всех, кроме тех, для кого это губительно, чувство вины, – что он живет за счет брата, а у того семья. Ну он и решил эту проблему как умел; а не умел он, кроме как картины писать, ровным счетом ничего. Лучше бы он продолжал жить за счет брата, и тот бы жил, и кормил бы семью, а как он застрелился из ружья, так и брат с горя прожил очень недолго и тоже умер, перестав, выходит, кормить семью. Вот как все повернулось. Ван Гог думал как лучше, а получилось как всегда. Ну а тут регулярно бывал Тулуз-Лотрек. Он был человеком с очень вредными привычками. А вы бы как на его месте? Нет, он-то не был беден. К тому же он был знатен. А что толку, если ты...? Вот я вам сейчас расскажу его историю. Да, вот так ему не повезло. Зато теперь мы имеем Мулен-Руж. Этот кабак в этих завалах мусора, на этом бульваре Клиши в жизни бы не имел сотой доли той славы, как теперь, если бы не этот калека. А теперь мы пройдем мимо всей этой богатой шелупони, стоящей здесь в очереди, всех этих американцев и японцев, среди жен и подруг коих отчетливо выделяется парочка наших компатриоток, спорить могу по выгладу, который их отличает, уж поверьте моему наметанному взгляду. А нам ни к чему это меню «Фрэнч канкан» за 920 франков, и меню «Тулуз Лотрек» за 1020 франков, и даже это меню у стойки бара с одним бокалом шампанского и зрелищем за 390

франков. С одним бокалом от этого зрелища со скуки сдохнешь, а на второй не хватит. Знаете, друзья мои, когда-то, лет 30 назад, у меня был друг из города на Неве, он много привирал, как теперь выясняется, но многое говорил правильно, например: «Нельзя покупать втридорога то, что в принципе должно стоить дешево. Например, портвейн №13 вечером из ресторана на вынос. Нарушение эйдоса данной вещи не проходит даром, и стоит вам взять его в кабаке на вынос по цене коньяка, вот увидите, это плохо для вас кончится». И таки оно так и кончалось: плохо. Для него тоже, потому что в этой области он частенько поступался принципами. А мы с вами поступим правильно, пройдя мимо всей этой публики; так прошел бы мимо нее сегодня и сам Тулуз Лотрек, так прошел бы мимо «Ротонды» сегодня Модильяни, так прошел бы мимо кафе «Куполь» Пасхин, так они прошли бы мимо всего этого шикарного безобразия, эти псевдобоги, эти нищие Мидасы, превращавшие в золото для других все, к чему они прикасались. Их прохватил бы понос, потому что расстройство желудка происходит от расстройства души, оттого, что из-за них обычные пункты розлива превратили в аттракцион, который должны показывать такие люди, как я, а это еще не худшие, не самые последние, я – это только предпоследний, поверьте на слово – больше мне вам дать нечего. Слово честно бессовестного человека. С другой стороны, если Модильяни сам не мог ничего заработать как ни старался, он должен понять своего брата артиста и дать ему возможность заработать пару франков на себе. Не исключаю и того, что кто-то когда-нибудь заработает на мне. Не думаю, что это произойдет, теоретически маловероятно, но практически и не то бывало. Так что я, буду ему мешать? Пусть только знает меру. А то ведь за эту голь перекатную без лонжа, Ван Гога, Модильяни, Рембрандта – гребут без меры и числа! Требую подать в суд, создать кроме международного Гаагского трибунала еще 2-й международный трибунал, чести и совести, – и подать туда за оскорбление личности покойников. Я, трехкопеечный, имею право на свои три копейки с Джойса, сидевшего в пивной «Липп» с Хемингуэем, и пять копеек с Хемингуэя, ведь он был побогаче Джойса, но право только на жизнь, на хлеб насущный, не на деньги же! И мы с вами поступим лучше, чем все эти американос – мы пойдем в нашу гостиницу «Евроотель» в 2 звезды. Просто нам встретились две звезды. Две светлых повести. Но все удобства в номере, а это уже, считай, три звездочки. Пять, конечно, лучше, но в Париже традиция – тут нет пятизвездочных отелей, даже «Риц» на пляс Вандом, откуда принцесса Диана выехала навстречу своей, да, туннель у пон д'Альма, мы по нему проезжали сегодня, сами видели – слишком короткий, чтобы там успеть разбиться как следует, но... так даже «Риц» имеет только четыре звезды. Нам довольно двух. Если они прямо напротив «Мулен-Руж», на бульваре де Клиши – и с далекой звезды, с двух далеких звезд со всеми удобствами в номере будем не смотреть на это пошлое шоу, а просто целую ночь здесь на двух далеких звездах ж и т ь. Просто. Как сам Анри де Тулуз-Лотрек, потомок князей Тулузских. И пусть они не волнуются – сиживали и мы в хороших местах. Сиживали мы на хороших местах в автобусах. Из ресторанов рекомендую Макдоналдс. Ах, вы хотите настоящего парижского? Потратить немного денег? Смотря что считать немногим... Нет, 100 марок на двоих на устрицы и шабли не хватит. Что вы, это Париж, тут за 330 франков и в морду не дадут. Тут стакан пива, буквально 250 грамм, а не 330, стоит дороже кружки пива в Мюнхене. И это у стойки, а если сядете за столик... И не говорите, Германия – просто рай по сравнению со всеми этими парижками и венециями. Рай с человеческим лицом. Да. Нет, поймите правильно. Если одними устрицами желаете отобедать, тогда аккуратно уложите в дюжину устриц и бутылку шабли. Но если после этого только аппетит разгорится, на меня прошу не жаловаться. Устрица маленькая, что я могу сделать? Она не млекопитающая. На вкус? Как бы вам это сказать. Ну сами поймете. А идите-ка лучше в ресторан «Леон» на Пигаль, 200 метров отсюда. Да, та самая пляс Пигаль, мог ли думать

хороший скульптор Жан Батист Пигаль в осьмнадцатом столетии, что его именем названная площадь так прогремит на весь мир своими сексуальными излишествами, да, и посреди фонтан, похожий на клумбу, и на углу слева – «Леон», один из сети «Леонов», кажется, начало им положили в Брюсселе, там кормят одними муляжами, мушельнами, по-нашему по-немецки, ну этими... мидиями, но во всех видах. И в салате, и в супе, и жареные, и пареные, и я уж не знаю. Там, наверное, 50 блюд из мидий или сто. И цены средние между Макдоналдсом и устрицами с шабли. Причем будете там – имейте в виду, есть их положено так: распатронить мульку надвое и одной половинкой раковины есть из второй как ложечкой.

Н-ну! Такого со мной еще не было – сунуть экскурсовода в номер на троих. Экскурсоводу, как и шоферу, вообще-то положен одноместный номер, он должен разбросать свои кости во все стороны клоповника и утром спокойно привести себя в порядок, не ожидая своей очереди. Но понятно, что на тебе экономят, и если ты сам делаешь поездку, то сам экономишь на себе, и одноместный номер тебе достается лишь как случайный подарок небес, когда возникает вдруг одно непарное место – не пришей кобыле хвост. Но чтобы сунуть меня, дежурного по парижскому апрелю, в трехместный номер – такого я еще не едал! Это когда в Париже, как всегда в апреле, проливной дождь, когда в день пять экскурсий и мясо отстает от костей, – где, интересно, Гершвин видал свой «April in Paris»? и Бунин в «Гале Ганской» – как прекрасен Париж весной, в апреле? Они, наверное, жили в параллельном Париже, – когда к концу трудодня после бессонной ночи в автобусе ты держишься на автопилоте... и тут к тебе подсажают сразу двух ветеранов труда из Харькова и Днепропетровска! Утром у них наверняка по запору на каждого, а на все сборы – 30-40 минут. Втроем! А мне без контрастного душа второй день не поднять! Извините, я ничего не могла сделать. У нас все супружеские пары в этот раз, кроме этих двоих мужчин (ты как организатор поездки могла доплатить, и я получил бы одноместный номер, но этого я тебе говорить не буду), они приятные люди. Да, они приятные люди, но приятные люди с утра так же занимают душ, как неприятные, а он один, а времени в обрез. Вечно вы затеиваете скандал. Кто, я? Ладно. Пойду в номер от греха подальше. Соседей в поездке не выбирают, как родителей. Надо найти в них хорошее. Так жить легче. Хорошие мужики. Ну, за первый день в Париже. Как, водку? А что, Вы не думайте, это настоящая «Охотничья», я брал ее в русском магазине в Мюнхене по 18 марок. Да я вижу, что водка настоящая, просто мне через час опять вас всех вести, еще полдня впереди, три экскурсии, а, бросьте, по глоточку, ну давайте по глоточку, хорошая водка, 45, в дождь в самый раз, но зачем же все-таки водку – и в Париж? Тут как-то все хотят попробовать чего-то местного... сало тоже с собой везете? Тоже из русского магазина? Вы что, это настоящее украинское. Тут разве умеют делать? И что... везете сало с собой из Харькова через Мюнхен в Париж? А что тут такого? Я сам и солил. Сало вещь серьезная. Серьезно? А как же ж. Сало надо уметь, во-первых, выбрать на рынке. Ну это кто какое любит. Я лично люблю *почеревок*, с прожилками мяса. Тут ничего этого не знают. Первое же дело – у нас его *шмалят*. Раньше я не знаю, а сейчас на газу. Ошмалят щетину – потом на него соломы накидают и жгут ее, пока вся не прогорит. Чтоб запах был, какой надо, а не газа. Он потом черный, как вакса. Потом вымоют щеткой и какими-то составами – добела. А потом уже засаливают. Я сам солил. Два дня так, причем соли сыпьте сколько угодно, ошмаленная шкурка все лишнее возьмет, а на третий день шпигуете чесноком и в холодильник на сутки. И можете кушать. А немцы не шмалят, им запрещено. Чтоб не пахло под носом у соседей. Те и думать не будут – с ходу на них в полицай. Так они его – бреют. Представьте себе, я узнавал. Бреют с мылом. Та это же ж разве потом сало? Та оно же ж потом само как мыло. А шкура? Подошва! А наше ешь с ошмаленной шкуркой, как мороженое, вместе со стаканчиком. Тает во рту, без хлеба. В нашем одни растворимые аминокислоты,

от них не потолстеешь, сами индийские йоги признавали. Естественно, видел. Можно сказать, участвовал. Он чует недоброе, не хочет выходить, так его вытаскают и гладят, чтоб успокоился – и быстро левую ножку подымут ему и такой заточкой – раз, он практически без звука – брык, и туда *квач* ему – тык, початок кукурузы или другую палку, чтобы кровь не шла. Они кровь потом спускают аккуратно в ведро, на кровяную колбасу. Вы закусывайте, закусывайте. Сорок пять градусов все-таки, вам еще нас водить. Спасибо. Да, сало хоть куда. Но с хлебом лучше. Вы, может быть, и хлеб сами пекли? Нет, хлеб я купил в Мюнхене. Интересный хлеб. Картофельный. Ну? Сколько живу, такого не пробовал. Вот будете знать. Век живи – век учись. Русская водка, украинско сало, немецкий хліб. Интернационал – и не надо никакого Союза. Показываете вы классно, но картинками таки же сыт не будешь. Ну, еще по капелюшечке. Та бросьте. Знаете, как у нас говорят? Що гірке, то гірке, що гідке, то гідке, а що пити нэ можно – то вжэ брэхня!

Закругляем экскурсию, они явно выдохлись, только объясню, чем отличается итальянский парк от французского и английского, – и айда с собой вдвоем в монастырь Сан-Марко, посмотреть на фра Анджелико. Туда еще отсюда пилить минут 12 быстрым ходом и еще назад, и там. Даем свободное время – час пятнадцать. Дорогие друзья, сейчас у вас час свободного времени, можете перекусить, кто что с собой взял, шницели-бутерброды-пирожки, со вкусом, прямо здесь, за палаццо Питти, на скамейках медийских садов Боболи. Вторые Медичи, герцоги, именно для обедающих бутербродами и создали укромные гроты в садах Боболи. Чтобы не стесняться. Итальянский парк эпохи Ринашименто, почему-то называемого у нас французским словом Ренессанс, отличается от последующего регулярного французского парка и последующего за французским иррегулярного английского тем-то и тем-то; а теперь устали – отдохнем. Устали, вижу, устали. Пожили ребята на свете, пожили и дамы, и господа. Я их люблю на самом деле. Жалею их натруженные социализмом спины и ноги, радикулиты, шпоры, язвы, ишемии; да и души их не так заскорузлы, это как смотреть, с кем сравнивать... нормальному инженеру из какого-нибудь Сизэла не до любопытства, японцу только бы щелкнуться. А нашему все интересно. Какой бы еще турист в мире не то слово заинтересовался, но просто потерпел рассказы об алхимизме итальянской живописи от Козимо Тура до Джузеппе Арчимбольдо вместо обычного *ах-ах посмотрите налево-посмотрите направо италия какая крррасота!?* А им интересно. Это только кажется, что я к ним снисходительно. Это я над собой, не над ними. Лучшая проклятая команда в мире. И за все неудобства своей долгой жизни и нынешнего путешествия хочет немногого – права высказаться. «Мне эта пирамида во дворе Лувра не показалась». Не показалась так не показалась. Имеет право. То, что она имеет право стоять где ей вздумается, обеспечивает ему право высказываться о ней, как уж ему заблагорассудится. Оба, и он, и она, имеют право. «У нас в Харькове тоже первая площадь в Европе и вторая в мире». – «Простите, не был в Харькове. Первая – в каком смысле?» – «Да нет, Вы не поняли – я же говорю: первая в Европе и вторая в мире». – «По чему?» «Как почему? Я же говорю – самая большая в Европе и вторая в мире». «А, ну, значит, – по величине». – «Ну! Я же ж и говорю – первая в Европе. И вторая в мире. Понимаете?» Чего же не понять. Мы в 12-тысячном Роттенбурге, за крепостными стенами – чудо-долина по реке Таубер, внутри... одно слово раритет – небомбленный лишь на четверть, разумеется, полностью восстановленный, средневековый немецкий городок, сохранился с 15 века, как муха в янтаре, не продохнуть от американцев и японцев, и он чувствует – прожил целую жизнь, а вокруг только и было, что самая большая площадь в Европе. Но вокруг все-таки была самая большая площадь в Европе. А за что-то ведь хочется уважать не только себя, но и вокруг.

Фра Беато. Блаженный брат. Как он впял медитативную фресочку-картиночку каждому брату в стенку кельи. Рядом с окошком. Чтобы каждый на свою молился. Поступил по-братски. Да, жаль, в стороне от маршрута, сюда просто по времени экскурсию не вставишь. И билет 8 марок, это для них уже перебор. Все эти Уффици, Питти по 12-13 000 лир, ты еще засунул капеллу Бранкаччи, еще 5 марок. А странное дело этот Мазаччо, довольно маленькое все, теряется в натуральном масштабе, поднято высоковато, можно было и опустить, хуже только св. Георгий Пизанелло в Санта Анастасии в Вероне, такой маленький на такой верхотуре, ничего не разглядеть, а писали – огромная фреска, никому не верь, никогда, не спропорционировано, а сколько шума. А тут? Там, где Петр крестит, крещаемому холодно аж вздрагивает, это живопись, и где Адама с Евой выгоняют из рая, Ева рыдает, воеет во весь раззявленный рот, как брошенная женщина. По полной правде, слышно, как. Ты же помнишь, как это бывает. Сто лет прошло, но трудно забыть, как им плохо, когда их бросают. А тебе никто так и не отомстил. Не сглазь. Кто-то должен меня полюбить. Чтобы я обрел покой. Чтобы меня простили. Девушка. Да. Как ее звали? А ведь совсем мальчиком писал. Сколько ему было? 25? В 27 неполных он уже умер то ли в Риме, то ли по дороге в Рим при невыясненных обстоятельствах. Томазо ди Джованни. Фома Иванов. Прозванный Мазаччо.

Фра Беато Анджелико. Блаженный ангельский брат. Он ведь смотрел на Мазаччо, это известно. Ходил и изучал капеллу Бранкаччи. И использовал приемы того против него самого. Для прорыва «реального», плоского пространства стены в бесконечное Реальное. Для того же, для чего наши использовали обратную и параллельную перспективы, он использовал прямую. Стало быть, на противо-положные лады можно идти к одному. Стало быть, все эти разговоры о том, что картина погубила икону – это споры о словах. Обдумаем потом. К делу. Я здесь, друзья. Перекусили? Попрошу минуту тишины. Сейчас мы пойдем в Новую сакристию церкви св. Лаврентия. Сан-Лоренцо. Так называемую капеллу Медичи. Сейчас вы увидите, может быть, лучшие из скульптур, когда-либо созданные на земле. Утро, Ночь, День, Вечер. Но главное – вы почувствуете абсолютную тишину вечного покоя, немой разговор шести фигур и девы Марии с младенцем Иисусом. Это тишина вечной смерти, освобождающей всех нас для какой-то особой вечной жизни, в которую верил Микеланджело. Он сам не знал, во что верил. Он был отравлен Платоном в переводе Марсилио Фичино, которого наслушался мальчиком в садах Медичи, а думал, что христианин. А верил только, зная по себе, что наш дух – пленник тяжелой и пригибающей вниз плотской, земной материи, может и должен быть освобожден от нее, сбросить ее и стать свободным и легким. И это может быть только через смерть. И он ждал ее прихода, он пел ее приход, а сам дожил до 89, и все это время он работал в ее ожидании и слагал о ней песню. И сейчас вы ее услышите – эту немую песнь. Услышите по очереди. Мне придется разделить нас на две группы – там 50 человек не поместятся. Но запомните – там я говорить не буду, там говорить – нельзя. Там все должны онеметь. Должны и обязаны. И тогда, если толково молчать, вы услышите этот разговор в загробной жизни. Ключ – в фигуре Девы Марии... Ну как? Что, мальчик? Ах, ты заметил, что фигуры соскальзывают со своих лож – полированных крышек саркофагов? А крышки для них слишком малы? И это верно. То ли раздавят их, то ли соскользнут? В точку. Молодец, мальчик, как твое имя? Андрюша совершенно прав – фигуры соскальзывают, они слишком велики и тяжелы, а крышки слишком малы и гладко отполированы... нет, у Микеланджело ничего случайного не бывает, он полировал только то, что... а остальное оставлял с грубыми следами резца, как незаконченное – и тоже не просто так... А соскальзывают они потому же, почему и Леонардо изобрел свое «сфумато» – «исчезающую дымку», – потому что живопись все может, но она не может передать время в пространственном искусстве живописи... И

тогда он придумал эту полумглу-полусвет, проградировал ее – и вот мы видим таяние времени – самого реального и самого иллюзорного из всего, с чем мы имеем дело на земле, потому что времени – нет, верно? Потому что – где оно, когда прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее уходит в несуществующее прошлое быстрее, чем мы скажем слово «настоящее»... и в то же время оно-то и есть, а то, кто старит нас и убивает, как не оно? Что не могут повернуть вспять и самые могущественные на земле люди, если не его? Так же и Микеланджело. Именно – соскальзывают. Потому что призрачный человек не удерживается во времени, в призрачно плотной жизни и соскальзывает в бесплотно-реальную смерть. Вот что он хотел показать. Это и в психиатрии есть такое слово – когда ты, мальчик, выходишь на общий уровень рассуждения и рассуждаешь конвенционально: «Допустим, я дал некоему яблоку». А Буратино тут же «соскальзывает» на конкретный уровень: «А я не дам этому некоему яблоку». И есть такие люди – они могут всегда только соскальзывать. Понимаешь? Да? Вижу, что да. Ты молодец, мальчик, бабушка, у вас замечательный внук, его надо развивать, да я понимаю, что вы это и так делаете, и молодцы. Вы почувствовали поле энергетического напряжения, стоя в пустом центре капеллы на скрещении духовных сил, исходящих от фигур – и не находящихся тревоге своей разрешения даже в Деве Марии, чье в сторону повернутое лицо и спиралевидная посадка (как и спиралевидная лежка тех четырех фигур, как и спиралевидная посадка фигур Лоренцо и Джулиано) – само воплощение тревоги. Это побудка смерти от земного сна. Сигнал вечной жизни. Стоим. Чувствуем. Слушаем? Услышали. Почувствовали в себе сигналы? Тогда я спокоен. Теперь задержим это в себе, онемеем хотя бы на минуту, друзья мои, пока будем уходить. Уходим. А теперь вперед – и с песней. Мы сидим на социале, Сыты-мыты – и хорош. Жили-были-приканали... Без поллитры не поймешь.

Вперед, дорогие дамы и господа. Братья и сестры, вперед. К вам обращаюсь я, друзья мои. Я брошу свои полки на приморскую Равенну и болотистую Феррару, изобрету небывалый маршрут с осмотром сказочной Пиенцы и винного Монтепульчано, с паломничеством евреев из бывшего Союза и их родственников из Израиля и Нью-Йорка к святыням католицизма Ассизи и Монте Оливетто, Субиако и Монтекассино, – но я больше не пойду пугать кладбище. Я был там на соцпринуд-работах по 3 марки в час, пока от меня не отстали, когда я послал им «аттест» дипломированного врача, согласно которому состояние моего здоровья таково, что дальнейшие физические работы могут привести к стойкой инвалидности, а тогда, они понимали, я мог бы по суду обвинить их в нанесении мне непоправимого телесного ущерба; это было серьезно, и они сняли меня с общественно полезных физработ и на время оставили в покое; но я был в Аркадии и скажу – не верьте никому, кто скажет, что в Аркадии легко. Я сам это кому-то рассказывал когда-то, хорохорился, но уж если как на духу... Теперь я знаю, почему немецкие кладбища так разительно отличаются от Домодедовского. Впрочем, почему бы и не поверить говорящему: ему это было нетрудно. Я видел там маленьких, сутулых и с брюшком, но жилистых и привычных – им все было нипочем. Мне же непосильно. Легких физических работ в Германии не бывает хотя бы потому, что не бывает их и нигде на земле, только и созданной, что для изгнания с погружением в пот лица своего. Впрочем, возможно, это положено лишь представителям иудео-христианской цивилизации. Коллеги-турки на тяжесть не жаловались. Мой бригадир Акюш только интересовался – почему я так медленно гребу и мету. Но ведь четвертый час работаем. Ну и что же? Как что? Устал. А почему? Почему ты устал – удивился он искренно. Как почему? Мне сорок семь, на дворе конец ноября, идет дождь с мокрым снегом, я машу метлой четыре часа без передыху, а ты удивляешься, почему я устал? Но мне 53, сказал Акюш, я тут уже 26 лет, и никогда не устаю. А, нет, раньше, вначале, я тоже уставал. И знаешь, почему? От глупых мыслей. Это от глупых мыслей, сказал он сочувственно, со знанием дела. У каждого

свои глупые мысли. Ты, наверное, думаешь, что достоин большего. И это мешает тебе работать. Но если бы ты был достоин чего-нибудь другого, ты и был бы в том, другом месте, которого ты достоин. Вот поработаешь здесь 26 лет, и голова у тебя будет светлая, как у меня. И не будешь уставать. Он был прав. Но мне с тех пор второй год снились осенние листья. Поэт, живший до, восклицал: «Шумели в первый раз германские дубы». Я хоть и не такой поэт, но и мне дайте воскликнуть. Германские дубы, а подавно германские клены в аллеях Нордфридхофа, нашего Северного кладбища, никогда не шумели в первый раз; они как зашумели еще до рождения Одина, – так и не отшумят никогда! В конце ноября листья с них продолжают осыпаться как ни в чем не бывало, словно не осыпались уже целый октябрь и весь ноябрь, – и не будет тому ни конца ни края. Пластмассовыми частыми загребульками вымел я и деревянными большими граблями убрал в копны миллионы красных и желтых листьев, а они продолжали падать, и если бы меня не убрали с кладбища, я продолжал бы их мести и слагать новые копны, пока сам не свалился б, зарывшись в них носом, а они падали бы и падали, мокрые проклятые листья, мне на голову, всего меня покрывая золотом и кумачом; а теперь они падали в мои сны. Autumn Leaves¹. Музыка Косма. Слова матерные.

Падали. Желтые, красные. Падали. Там уже было – тьмы. И тьмы. Падали; пока сухие – шуршали; мокли, набухали – переставали. Листья под ногами. Податливые, как были когда-то добрые женщины на моей злой родине, намокшие, как больные голуби, сбившиеся в кучу, как арестанты на вокзале. Нас трое. Меня – не всегда точно знаешь во сне, что тебя, но сейчас знал точно: меня – вели на расстрел двое кавказских арабов в касках со «шмайзерами» по Нордфридхофу, направо и к углу, где я когда-то недоделал свою работу, а сейчас я уже там стоял – у вырытой аккуратно, и они меня сюда вели, а я уже стоял, с лопатой, не по-немецки, засыпать могилу вручную, себя же засыпать, которого уже вели, и я смотрел на себя сквозь себя, которого вели, и сквозь себя, который с лопатой; и тот я, который смотрел на которого вели убивать, тот я как заведенный все тащил граблями кучу листьев на себя и вбок, на себя и вбок, на себя и вбок, и думал – если добросовестно делать свое дело и убрать дорожку до листика, то они будут стрелять не по правде, потому что это сон, где стреляют не из АКМ, а из ненастоящих киношных «шмайсов», ненастоящими мягкими пулями, которые шмякаются о твою грудь и рассыпаются, как снежки, плюхаясь на падшие кленовые листья, шмякаются и рассыпаются, но лучше проснуться, потому что кавказцы – настоящие, и привели, чтобы убить, и вот сейчас, сейчас одна из этих пуль окажется живой и настоящей. Если ты не проснешься. Потому что это только сон. Но если ты не проснешься – дождешься: убьют во сне. На всю жизнь. Или отправят опять на принудработы сюда, не глядя на предписание врача, конечно, в Германии это может быть только во сне, но когда проснешься, это вечное возвращение на кладбище, это колесо выкатится из сна и продолжится наяву.

Понимая даже во сне, что бороться за жизнь надо не с убийцами, – невозможность этого была ясна, словно обговорена заранее, – а со сном, я и боролся с ним, пытаясь оттолкнуть и сбросить с себя, но он навалился, он тяжелый, сон-волкодав, и если бы мне не помогли, то вот сейчас меня, вот сейчас меня, я услышал откуда-то знакомую фразу: «Как, Вы еще не видели ствола вблизи? Таки он неплохо выглядит», – и я увидел ствол вблизи, нет, увидел его предвестие, капсулированное в металлически-масляный, вороненый запах, у в и д е л з а п а х и понял: труба.

И проснулся. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Я приближался к месту моего назначения. Автобус подходил к Щелковскому автовокзалу. И тут уж я напрягся как следует, чтобы проснуться по-настоящему. Нет, еще Париж. По-прежнему, как и вчера. Странно, но факт. В окно отеля торчала треклятая красная мельница.

¹ Осенние листья (англ.)

Все на своем месте. Париж. Бульвар де Клиши. Моросило. Соседи еще спали. На спинах, как мертвые. Упокоенная старость. Немного «Охотничьей», сало, Париж. Что еще надо? Я проснулся за десять минут до договоренной побудки по будильнику. 7.20. Ни в одном глазу, в погроме полутора бессонных ночей, с разбитыми членами и хмурой душой, но с 10-ю минутами форы пребывания в душе! Прибавим еще 5-7 моих законных... А—ах. Горячий. У-уй. Холодный. Ф-фф. Распускаюсь, медленно, но верно. Я бутон. Уже наполовину работает правое полушарие. Уже отходит от немоты правая икра. Приходят в движение голено-стопные суставы. Между безымянным и мизинцем левой ступни стерто до крови, но это обычная история. Там всегда. Не повод обращать внимание. Присохло за ночь, и ладно. Впереди Версаль и Лувр. Там опять откроется, но это уж до дома, в автобусе по дороге домой присохнет. 10 часов сидеть спокойно. Не хочется выходить из-под душа. Пусть подождут. Имей совесть. Спасибо за совет. Посоветуй еще, где ее взять, если ее нет. Но действовать придется, как будто она есть. Выходим по одному. Я и следующий я. Доброе утро. Извините, что задержал. Да нет, мы понимаем, вы ж устали больше нас, вы на работе, а мы на отдыхе. И правда приятные мужики. Люди. Но много их на один душ.

Континентальный завтрак. Багет, круассан, масло, джем, кофе. Сок дадут или как в прошлый раз – втихаря зажмут: все равно русские не поймут, а поймут, так не объяснятся? Дали. Разбавленный, зато холодненький. Все могу сыскать, например, лучшее. Всегда можно отыскать лучшее. Можно – значит, нужно. Вот скоты, накрыли, поставили приборы. Обслуживают. Значит, нальют только стакан сока. Лучше, когда самообслуживание. Тоже не шведский стол, но хоть разбавленного сока можно самому брать и брать. Как же они нас. Нет, не так. Как же мы для них существуем – не как на самом деле. Как в учебнике немецкого на шпрахкурсах: Дунай – самая длинная река в Европе. Но, госпожа Райтмайер, самая длинная река в Европе – Волга. Да, но Волга течет в России. Ну и что же? Как что? Ведь Россия – не Европа. Характерно: то, что ты русский, никого не колышет. Еще один живой человек-как-человек, устроился себе и живешь. Каждый в отдельности русский, турок, перс, румын – чего о них говорить. Здесь выучили бытовому интернационализму так давно, что люди, которым до 60-70, и не помнят, когда было по-другому и как бывает по-другому. Но вот русские как «русские», но вот Россия-страна... Реклама. Бутылка замороженной немецкой водки «Пушкин» вылетает на телезрителя изо льдов айсберга, по которому бродит белый медведь. Надпись: «Водка «Пушкин». Медведь в человеке». Водителю автобуса – по дороге мимо Реймса, столицы шампанских вин: «А водку «Пушкин» знаешь? – «Да! Медведь в человеке». «А Пушкин-то – не медведь, знаешь?». « Да? А кто?». «Великий поэт. Дихтер. Как у вас Гете». «Вау!». А тот, тринадцатилетний турок, или нет, все-таки итальянец? Выше этажом, мне – в лифте: «Вы немец?» – «Нет, я из Москвы». – «?..». – «Москва – это столица России». – «?..» – «Это более чем десятиmillionный город». – «Вау!!» Конечно, надо учесть, кто в нашем доме живет. Но в нашем доме в Москве тоже жила всякая публика, однако же любой Витек знал не только, что «Ланден из э кэпитэл оф зэ Грэйт Бритн», но и что Стамбул находится в Турции, а итальянская мафия происходит из Сицилии, которая является частью Италии. А мой приходит из гимназии: сегодня нам объяснили, почему Россия – типа страна третьего мира. Во-первых, там очень много бедных и мало цивилизации. А во-вторых, низкий уровень образования и плохая квалификация. Так ты же сам говорил – в вашей гимназии каждый пятый – русский. И в основном русские сильнее других в математике и физике, и в английском. – Да, это так. И кругом русские программисты. – Ну. – Так они что, этого в упор не видят? – Выходит, не видят. Они не понимают, что цивилизации может быть мало, а квалификации – навалом? – Ну этого-то уж они точно не понимают. – Но ты-то хоть понимаешь? – Не-а.

Не понимают – их дело. Поймут еще, да поздно будет. Когда я поведу свою гвардию на Версаль. Дворец будет взят! Я, иллегальный бродяга, не знающий толком ни одного европейского языка, но все равно последний европеец среди всех постевропейских варваров – итальянцев, французов, немцев, почему-то решивших, что они у себя дома, – я возьму его, как в сентябре 1789 его взяли рыночные торговки зеленью. Толпа переколола вилами и дрекольем верных до конца швейцарских гвардейцев и увезла короля и королеву в Париж на будущую смерть. Больше нет короля. Нет королевы. Мы мирные люди и возьмем его миром. Не так, как брали Бастиль, когда против семисоттысячной толпы стояло 32 все тех же швейцарских гвардейца и 82 инвалида во главе с престарелым начальником тюрьмы Де Лоне, разорванным в куски, а освобожденных из этой страшной цитадели тирании оказалось ровно 7 человек. Вот как делают, вот из чего состоят события и впрямь всемирного значения. Но мы не претендуем. Сегодня я беру Версаль, а еще месяц назад я как последнее падло должен был извиняться перед казахско-немецким семейством, организовавшим свое турбюро. Я заказывал через них иногда автобусы и был с ними в самых мирных отношениях. Но никогда не знаешь, что взбредет им в голову. В этот раз я заказывал через них билеты на самолет в Москву, и мне что-то показалось в билетах не так. Что нас всех троих посадили не вместе. И я позвонил и сказал: «Катя, вы что-нибудь в этих билетах понимаете? Я – нет. Объясните мне, пожалуйста, что вот эти обозначения обозначают? Вместе мы или отдельно?». Толкового ответа я так и не получил. И вот вчера, месяц назад, ровно в 8 вечера, ровно накануне отлета в Москву, звонит муж этой Кати, глава Фирмы, фольксдойч с законным паспортом и законным гешефтом, и говорит: «Вы оскорбили мою жену. У Вас есть еще час, чтобы явиться к нам в фирму и извиниться перед ней. В противном случае я передаю дело в суд». И кладет трубку. Я? Оскорбил его жену? Я даже свою жену никогда не оскорблял. Ну, может быть, когда-то, нечаянно... Мне – извиняться? За что и перед кем? Но я поехал. Мой способ существования иллегален от и до. Пусть я призрак, автобусы мои вполне материальны – и совершенно незаконны. И он полностью в курсе. Потому что сам их для меня фрахтует, но его не прищучишь. У него документация. Если же я сажаю 40 человек, и мы должны тронуться, и в этот момент к автобусу подходят двое людей в форме и вежливо интересуется у шофера, куда мы едем, и просят показать документы на поездку, и становится ясно, сколько стоит автобус и сколько отель на 40 человек, то остается только спросить у пассажиров, сколько стоила им поездка и помножить на 40 – а кто из наших, живущих понаслышке, по наводке, на чужих хлебах, под вопросом, не убоится и станет играть в молчанку с баварской полицией? – то остается только вычесть одно из другого, чтобы получить мою грошовую прибыль. И тогда встает вопрос – почему вы не задекларировали эту прибыль? Понятно, почему. Потому что тогда ее вычтут – и добьют мне оставшееся ровно до социального минимума. Остальное же я в этот месяц заработал. Логично? А то нет. Справедливо? Кто же спорит. Но и – кто захочет не спать двое суток и стаптывать себе ноги и хрипнуть, говоря без умолку двое суток в любой из Флоренций – за бесплатно? Тяжело работать – и чтобы все по нулям? Чтобы все обернулось соцминимумом, который тебе и так дадут, как и тем, кто ничего не делал, а так сидел. А это никого не интересует, что речь идет о нескольких сотнях марок. О сумме, за которую я куплю себе нормальный телефон. Или, отложив и еще отложив, нормальный компьютер. В Германии, натырил ты страну на миллионы марок или обул на 12 марок 50 пфеннигов – все это графа «мошенничество». Самое мягкое, финансовое правонарушение. Тебя заставят выплачивать штраф из твоего соцминимума, но и это бы ладно, не на то жили и выжили, – тебя занесут в компьютер на гроб жизни. И в Европе тебе жизни не будет, и еще ребенку твоему придется отмываться при каждом неудобном случае. Я поехал извиняться. Еще не знаю за что, но

извиняться. Я вспомнил по дороге, как кто-то когда-то писал: человек не станет драться по-серьезному, пока он дерется только за себя. Пока за ним не стоит кто-то, более дорогой ему самому, чем он сам. За мной стояло самоуважение. И за мной стояла семья. Если бы я был один. Я плюнул бы на эту замечательную пару, и пусть бы она попробовала затаскать меня по судам. В худшем случае вернулся бы я в мою прекрасную Москву, где каждый камень знал когда-то, сотни лет назад, мою легкую походку. Но тут были еще два живых человека. Я понял, что драться и унижаться – одно и то же. Есть истинные ценности, и унижение – из их числа. Я приехал и спросил – в чем дело? И что же он мне сказал? Все, что угодно, но это! Он сказал, что его Катя ночи не спала, потому что я усомнился в ее компетентности в билетах. «Как вы могли сказать моей жене – вы что-то в билетах понимаете? Мы же не спрашиваем – понимаете ли вы что-то в ведении экскурсий». Класс. Век живи! Я сказал это в утвердительном смысле – что именно она, в отличие от меня, в билетах-то и понимает – и вот сейчас мне и разъяснит (и наткнулся как раз на то, что – ничего не смыслит). Но этого я ему не сказал. Я попытался только объяснить ему вполне искренне, что и не думал оскорблять его Катю, а напрямик уповал на ее компетенцию, затем и позвонил. Но этот серьезный мужчина, этот херр Манн не собирался вдаваться в простецкость моего тона, без объяснений понятную и сродственную любому москвичу; со всей тяжеловесностью человека из Караганды и всей серьезностью немца, он осведомился – собираюсь ли я приносить извинения или ему передать дело в суд. Я положил руку на сердце и сказал Кате свои извинения. Может ли кто понять, насколько искренне я их принес – и насколько презирал я себя за эту подлую, вынужденную силой искренность? «М... и вот что, – сказал он еще, потупив важно очи, пока приносились извинения, – мы бы, э, не хотели, э, чтобы вы больше обращались к нам насчет автобусов. У вас есть свои фирмы, к ним и обращайтесь». Ради бога, сказал я. Обращусь к другим. Еще бы я к вам хоть раз обратился (этого не сказал). А сам все думал – какие свои? И только на улице понял – да еврейские же! Эти ребята даже в русской Германии ухитрились остаться антисемитами. Когда все перепуталось так, что и поэту не снилось. Когда уже никому было нечего сказать. Они не любили больно умных. Сколько раз мне говорили, что у меня на физиономии отпечатано, что я больно умный. И, видимо, даже извинялся я каким-то умническим макаром. Мне же со стороны не видно. Внутри себя я такой же, как все: просто живой. Они решили, что я продолжаю издеваться. А я чувствовал себя так, будто в лагере мне нассали на голову. Но я спас нас троих дважды. Не только автобусы мои, им известные, были иллегальны, но и наш отлет в Москву. Собираясь туда, откуда мы «бежали», мы должны были пойти в собес и сказать, что мы туда собираемся, и мотивировать это серьезной причиной типа смерти родственника и, главное, сняться на это время с социальной помощи. А на что же туда кто едет? Никто не плюет себе в суп. И мы не хуже прочих. А это очень серьезное нарушение, и дело даже не в штрафе (который, однако же, неминуем – вычтут из социального минимума социальный минимум), а в дальнейших последствиях, которые осложняют семье жизнь до цирроза печени. И этот фольксдойч все отлично понимал: то, что он позвонил аккуратно вечером накануне нашего отлета (число он помнил, сам же делал билеты) – как раз и давало это понять. У тебя ровно час и никаких завтра. Или ты делаешь один ход – или другой, и тогда я делаю встречный.

Да я бы и сам снялся с собеса при первой возможности. Он снится мне по ночам. В кошмарных снах, в которых мне снятся еще более кошмарные сны моей жены. Нет унижительней, чем когда тебе дают деньги и дышат тебе в затылок – ну, наконец, ты снимешься? Ты пойдешь на рихтиге арбайт? Да! Лишь бы от вас, ребята, отвязаться. Но куда? На коробки? Не пойду на упаковку! Это отчуждение человека от человечности! Человека, которого кто-то должен полюбить так верно, что он успокоится и умрет по-человечески.

(Первую половину жизни думал – почему я, такой живой, должен умереть? Это же невозможно! Теперь, во второй, думаю – почему я, такой отживший, не умираю? Так жить долго – это же невозможно).

Вот, в общих чертах, что нужно знать о пьяцца ди Сан-Марко. А теперь, когда мы прошли пешком пол-Венеции, когда мы посмотрели Фрари и Скуолла ди Сан-Рокко, и Сан-Поло, и Сан-Дзанниполо, и Санта Мария Мираколи, и Сан-Дзаккариа, и мост Риальто, – теперь, дорогие мои, стоя здесь, в сердце Ла Серениссима, между Золотой Базиликой имени святого евангелиста Марка и 100-метровой ее Кампаниллой, между Библиотекой Сансовино и Палаццо Дукале, откуда осужденных по подвесному Понте деи Соспири вели в страшный Карчери, перед тем, как прокатиться в завершение как раз до автобуса по всему каналу Гранде, по всей его букве S в 4 версты, со всеми дворцами, отражающимися в кривом зеленоводном зеркале Большого канала, у вас два часа свободного времени. Налево пойдете, под часовую башню – выйдете на главную торговую улочку Мерчерие; направо пойдете – выйдете на Моло и набережную дельи Скъявоне, то есть на нашу, Славянскую набережную, друзья мои, давали мы им когда-то прикурить, вот, помню... но это ладно; а прямо сквозь Пьяццу пойдете, сквозь алу Наполеона, да, он ее строил, чтобы завершить этот «самый большой салон Европы», как он называл эту площадь, куда и мы с вами приглашены или пригласили себя сами – какая разница... – и можете выйти к оперному театру Ла Фениче, а за ним, если поискать – двор, а во дворе – дом Контарини дель Баволо. С лестницей, значит. А лестница та – снаружи дома и вся витая. Как будто край дома из белой бумаги и завивается в бумажный свиток. Там в прошлый раз одна потрясающая старуха мусор выбрасывала, представляет, выходит в абсолютно норковой шубе и выносит ведро с мусором, видит – контейнер переполнен, и плюх в кучу, не как у нас в Германии, а как у нас в России, так вот такого второго облезлого двора и второго такого смурного здания – поискать. Словом, куда хотите – туда и идите. Встречаемся в 14.45 за углом в садике на набережной, где я показал. Где туалет за 1000 лир, за марку, да. А вы хотите за 30 пфеннигов? Как в Германии? Это вам не Германия. Это даже не Италия, это Венеция, а за Венецию надо платить. Только я вас умоляю, не садитесь на площади прямо вон здесь за столик. Я понимаю, вы и так не сядете, но если вдруг кто-то захочет шикануть, имейте в виду – это самое дорогое в мире кафе «Флориан», оно здесь с 18 века, чашечка кофе стоит здесь 14 марок, а чай по-флориановски и все 15. Ну насуют чего-нибудь. Найдут чего. Травинку какую-нибудь. Дольку чего-нибудь. Сиропчику какого-нибудь подольют. И чашка старинная. Такую икебану наведут – мало не покажется. Из ресторанов рекомендую Макдоналдс. Я знаю один, рядом с Риальто. Отсюда? Проще пареной репы. Входите вон туда, под арку часовой башни, идете по змее Мерчерие и выходите по стрелке прямо к Риальто. Минут 12. Нет, если хотите – пожалуйста. Желаящим потрясти мощной рекомендую еще одно известное по части раздевания клиента при помощи денег место, метрах в 150, прямо за углом, у стыка с набережной. «Харри-бар». Его любил Хемингуэй. Он любил коктейли. Ему все было не дороже денег. Ему лишь бы человек был хороший. То есть хорошо готовил коктейли. И там их приготавливают не хуже людей. Мартини как мартини. Можете удостовериться. Я уже.

Не без причины. Как раз тогда меня взяли в один привокзальный мюнхенский отель ночным портье и уволили из ночных портье – все за одну ночь. Что интересно – я вышел на него официально. По компьютерному предложению в отделе информации нашего арбайтсамта. Человек приглашался на базис, на 630 марок, но с того года базис законом приравнили к самой низкооплачиваемой, но работе. Собес терпеть этого не мог, люди устраивались на 630 марок, а в иные месяцы получали и того меньше и декларировали какие-нибудь 410, из которых социаламт имеет право вычитать не больше половины, а остальное поощрительно оставлять

человеку сверху соцминимума, до которого добивать должен был тот же собес. То есть человек устраивался на работу, но сидел на 70-80% на шее социала, а ему еще доставалось сверху марок 200-300. А работа за 500-600 марок в месяц какая может быть? Это как кому повезет. Я знал людей, которые за полные 630 прогуливали болонок у старых фрау, и знал людей, которые за 450 мыли вредными химическими составами огромные офсетные машины в типографии. Но и в том, и в другом случае занятость на 630-марковой работе не должна была превышать по закону 15 часов в неделю. Значит, по закону я должен был отработать две ночи в неделю по 7.5 часов. Однако старый польский еврей – содержатель отеля – захотел от меня 11 часов – с 8 вечера до 7 утра. Как же, ведь он должен был оплачивать еще мой проезд до Мюнхена и назад, это еще пара сотен. Но главное, он быстро просек, что мне деваться некуда, достаточно было услышать, как я говорю по-немецки, чтобы понять – приличное место таким не светит. И он начал мне вкручивать, что все мы, люди с востока, должны держаться друг друга, что тут нам никто не поможет, нас никто не поймет, все думают, что мы шушера, а он сразу разглядел во мне приличного человека, и лучше, чем у него, мне нигде не будет, вот я у него подучусь и овладею немецким в рамках сервиса, и со временем, если он увидит мою работу, он мне еще подкинет, а там я огляжусь, и сам решу, куда... И тыры-пыры, я видел его насквозь, но мне и правда с моим немецким не светило ничего, кроме коробок в индустрии гебит или плат на Сименсе, у меня почему-то не идет немецкий, слова набираются, как в мешок, я прилично читаю, но как говорить или понимать, что о н и говорят – я пас; и я согласился, я был рад и тому, вся семья радовалась – папа устроился на работу, папа будет почти как нормальный немец, можно сказать в школе – мой папа портье, не уточняя: ночной, на базисе. Главное – он работает. И вот старый еврейский поляк мне сам звонит из Мюнхена и: «Выходите сегодня, – говорит, – с сегодняшнего вечера я Вас беру, а завтра с утра я приду в отель и подписываем контракт». Я приоделся для первого вечера, для первой брачной ночи – и приехал. Как раз еще тогда начинались дела в Израиле, под дождем на пути между вокзалом и отелем встретилась мне колонна арабов в клетчатых масках, человек 150 с лозунгами: «Евреи, прекратите убивать наших детей», вообще баварцы – народ словоохотливый, в хорошую погоду к ним, наверное, подошел бы кто-нибудь, посочувствовал их нелегкой судьбе или, наоборот, поинтересовался бы – а как они сами по части еврейских детей? Считают ли, что пуля – убивает, а взрывчатка просто поднимает на воздух и мягко опускает, баюкая? Но шел дождь, осенний унылый дождь, и небольшая кучка наблюдателей вела себя крайне индифферентно. Ну а я и подавно. Я вошел во двор отеля, поднялся на первый немецкий этаж. Дневной портье должен был сдать мне кассу и показать пару приемов обращения с документацией, автоматами с напитками – и до свиданья. Но он остался посмотреть футбол. В этот день у них рубились «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», а такие матчи не пропускают. Все постояльцы гостиницы, находившиеся в ней, сошли с двух этажей в «салон» рядом с моей конторкой – и тут я понял, куда попал. Это не был специальный клоповник-бордель, это было хуже: с тем хотя бы все ясно, его лицо определено, и манера обращения с любым гостем, единожды выработанная, не нуждается в лабильности. Тут же кого только не было: немцев-шоферов с севера, пары скинхедов из бывшей ГДР, гастарбайтеров румынского и боснийского типа. Одна молодая и на вид приличная женщина привела к себе африканца, на вечерок, в номер на четырех женщин, из которых трое отлучились и могли вернуться в любую минуту; так что она спешила им насладиться, не знаю почему, но было совершенно ясно, что она не работает за деньги, а пригласила просто предаться любви, ведь, говорят, африканцы в этом деле лучше всех, совмещают поступательно-возвратное движение с вращательным, было видно, что он ей желанен, но он выскочил из номера, чтобы посмотреть матч, она тянула его назад, а он по-

негритянки ласково отбивался, еще бы, такой футбол бывает не каждый день, а баб сколько хочешь. Я сидел с умным видом, в клетчатом дорогом пиджаке и очках и читал 2-й том «Истории итальянского искусства» Джулио Карло Аргана, через пару дней предстояла поездка в Верону и Венецию, и мне пришла идея за небольшие деньги уговорить шофера заехать по дороге в Виченцу и сделать по ней блицрундфарт, автопробег по достопримечательностям минут на 20-30, это был бы подарок не публике, а мне, но потом публика бы поняла, что и ей тоже, и была бы только благодарна. Некоторые вещи надо сначала увидеть. Аппетит приходит во время еды. И вот я читал о городе, сплошь и вокруг застроенном Андреа Палладио, сидя в месте, более всего походившем на гостиницу города Печоры в далекие советские времена (какая длинная жизнь у Летучих Голландцев, ползучих гадов, проклятых всеми, кого и не знаешь, всегда неизвечно за что, всегда за дело), с дощатым полом, покосившимися дверями, не было только тараканов, зато удобства были в коридоре, одни на весь этаж, а в славных Печорах Псковской области, по крайней мере, в каждом номере была ванна, хотя бы и с отключенной горячей водой, но холодная-то была, и туалет был свой, и все за рубль тридцать в сутки, как сейчас помню; я читал одним глазом, а вторым наблюдал за порядком. Мне было сказано – если кто будет нарушать, мешать остальным спать ночью громким разговором, надо только авторитетно сказать: «Прошу о понимании и соблюдении порядка», – и это должно помочь на 90%, но если и это не поможет, надо чуть повысив голос, но столь же авторитетно сказать: «Па-прашу не нарушать, иначе...», – и приподнять бровь в направлении телефона. На самом деле полицию следует вызывать только в самых крайних случаях (хозяину этого безупречного заведения она тоже была нужна, как палка в колесе), а таких не будет. Одна только бровь их сразу остановит, до такой степени здесь каждый знает – с баварской полицией шутки плохи, даже когда твои документы в от-носительном порядке, а у многих здесь особого порядка в документах не водилось. Но пока что никто спать не собирался, чтобы ему помешать, все смотрели футбол, святое дело, кто-нибудь быстро выбежал, я открывал ему дверцу холодильника, он брал бутылку холодного пива или мерзавчик шнапса и убегал к футболу, а я кассировал мелочь и продолжал читать Аргана, чувствуя – дела пока идут неплохо, мое знание немецкого достаточно, вот только пиджак мой как-то не гармонирует с цветом обоев, они на него как-то странно смотрят, это надо учесть, надо быть проще... вот я взял еще глупую привычку – отпустив бородку клинышком, пробривать щеки от щетины, ненужное щегольство. С другой стороны, мои домочадцы правы – со своей бывшей бородой лопатой я был в Баварии похож, не как в Москве, на типичного русского интеллигента, а на турка из лавки или перса; надо бы ее вообще сбрить, но все ж таки – как без бороды? если носишь ее 25 лет? Да, надо, по крайней мере, оставлять народную щетину на щеках. К чему этот глупый выпендрей? Среди славных простых парней всей земли. И тут раздается звонок, это хозяин, старый еврейский поляк Мацек Ицик, и просит он моего сменщика (как будто знал, что тот еще не ушел) и что-то говорит ему минуты три, и тот растерянно кладет трубку и говорит мне, что хозяин не хочет меня у себя. То есть увольняет с места работы, только взяв, не успев даже проверить! Такие номера бывают только со мной. Ни о чем подобном в Германии я и не слышал. Как, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Но ведь он же сам меня вызвал. Трех часов не прошло! Молчит. То есть мне одеваться и уходить? Выходит, так. Молчит. Прячет глаза. Хороший парень. Хозяин подлец, подставляет его отдуваться. Он ведь понимает, что с людьми так не. Но, в общем-то, ему все по. Никто из нас никому не нужен. Только Ему, а нам – нет. Никто. И я нас всех понимаю – кому нужны такие, как мы? Я Его не понимаю. А деньги? Вот, он сказал – сорок марок. Но это цена моего проезда! Вот он его и оплачивает. А кто мне оплатит рабочий вечер? Если человека нанимают и вызывают из другого города на работу такого со столько-то до столько-то, то

есть вторгаются в его планы, этот трудодень, по крайней мере, должен быть оплачен. Настолько я законы знаю. Настолько объяснить могу, при помощи пальцев. Он со вздохом вынул еще десять марок и сказал – это все. Это его последнее слово. Могу дать Вам его телефон – объяснитесь с ним сами. Я только махнул рукой – все мы понимали, как я объяснюсь со старым тертым хреном по телефону без помощи пальцев, когда мы только на следующее утро, по приходу его, должны были подписать договор. Ни о чем подобном не слышал ни до, ни после. Такие вещи бывают только со мной. У меня на лбу написано что-то, чего сам не вижу, но они видят, и это им не подходит? Допустим. Но зачем тогда брать, предлагать, вызывать? Не понимаю. Ничего не понимаю.

Ну как не дернуть через два дня после этого в Венеции мартини в «Харри – баре»? Я лично могу наделать таких коктейлей из одной бутылки джина «Бифитер» и одной вермута «Мартини-драй», ну добавим еще оливок – все едино, за цену одной порции в баре... много-много я могу наделать этого драй-мартини за эту цену; приходи, любой Хемингуэй, приводи и Скотта, и Фицджеральда, угощу – не отличите. Разве что по льду. Лед в домашнем холодильнике средней руки всегда хуже. Лед в коктейле – дело не последнее. Ненавижу подтаивающий лед, разбавляющий коктейль на ходу, писал Бунюэль уже на склоне лет; вероятно, это было важнейшее негативное впечатление его жизни после генерала Франсиско Франко. И он прав. Вот за не тающий барный лед, за розу в кабинах роллс-ройса, и платишь. За то, что одно дело – дома, а другое – в «Гарри-баре». Дома не завьешь горе веревочкой. А веревочка в дороге пригодится. Дорога Летучего Голландца. Меня ждут в Париже, а тем временем какая-то девушка, забыл-как-ее, должна меня полюбить, да еще и хранить мне верность, чтобы спасти и простить от имени всех, кто меня проклял и кого не знаю, но силу их проклятия чувствую ежеминутно; хранить верность, подумать только; кому, мне? Это уже слишком, меня ждут в Париже, но автобус не набирается, поездка разваливается – и я появляюсь в Вене, где меня не ждали, но вдруг у кого-то собрался автобус и порекомендовали меня.

Мы проезжаем возле охотничьего замка Майерлинг. Именно здесь произошла одна из самых волнующих любовных трагедий 19 века: 30 января 1889 года наследник престола Габсбургов кронпринц Рудольф, 31 года от роду, единственный сын императора Франца-Иосифа и императрицы Элизабет, незабвенной Сисси, да, той самой, высокая, волосы до пола, а талия уже, чем у Гурченко, что-то 40 с чем-то, да, первая ввела гимнастические снаряды для женщин, можно сказать, изобрела женский фитнес, качалась неустанно, ее еще потом заколол в Женеве в 1898 один итальянский анархист 25 лет, Луиджи не помню как его, у него руки чесались любого тирана заколоть царевбийственным кинжалом, он вообще-то собирался поохотиться на принца Анри Орлеанского, французского тронпретендента, но тот не приехал, хотя и планировал, а больше всего Луиджи мечтал заколоть итальянского короля Умберто, но не было денег на дорогу в Италию, и тут ему подвернулась императрица Австро-Венгерская, всем тиранам тиранша, он убил бедную женщину в черном, она так и не снимала траур после смерти сына и перемещалась через всю Европу, как я, в жуткой тревоге, без охраны, только со своей хофдамой графиней Ирмой Штараи, и он ее заколол, 61 года от роду, но она умерла почти без боли, удивительный случай, она даже не поняла, что ее ранение смертельно, и прошла быстрым шагом еще сто метров, врачи объясняют это тем, что рана была очень маленькая, кровь затекла в околосердечную сумку медленно-медленно и очень тихо остановила сердцебиение, вероятно, но факт, а Луиджи, хоть он спал и видел, как бы героем взойти на эшафот, дали пожизненное, и он удавился в камере на ремне спустя 11 лет, – так вот, в Майерлинге наследный принц Рудольф Габсбург застрелился вместе со своей возлюбленной, 18-летней баронессой Марией Вечера. Их нашли

в замке, ее с распущенными волосами и розой в сложенных руках, его в полусидячей позе, револьвер на полу, вывалился из повисшей, застывшей навсегда руки. В бокале рядом с другой рукой – чистый коньяк, никакого яду. У каждого пуля прошла сквозь один висок и вышла через второй. Причины не выяснены. Версий много – среди них не самые лестные для репутации великого королевского семейства Габсбургов, как то – наследственная душевная болезнь, беременность Марии, в то время как принц был женат замым законным образом на принцессе Стефании Бельгийской, и даже его возможный сифилис, которым он и ее заразил, и даже такая версия, что Мария Вечера оказалась внебрачной единокровной сестрой своего любовника, то есть, получается, дочерью императора Франца-Иосифа... Но я вам точно говорю, уж я-то знаю, это все досужие вымыслы. Из доподлинно же известных вещей, относящихся к этому событию, одно меня лично впечатляет, без комментариев, а второе заставляет удивляться непостижимости человеческого устройства. Первое – это слова матери самоубийцы, императрицы Элизабет, Сисси, когда она узнала: «Великий Иегова страшен, когда Он приходит разрушительный, как буря». И потом, позже, я точно не помню, но по смыслу: удел матерей – страдая, рожать детей для того, чтобы те, страдая, обрекали их на еще большие страдания. Второе – это меню обеда, который заказал принц Рудольф буквально за несколько дней до самоубийства, в конце января 1889 года в ресторане знаменитого венского отеля «Захер». Оно до сих пор висит в холле. Памятник эпохи. Один из главных аттракционов отеля. Я запомнил его наизусть. Приведу дословно. Устрицы, черепаховый суп, омар а l Armoricaine, голубая форель под венецианским соусом, жареные перепелки, петух в вине а la francaise, салат, компот, пюре из каштанов, мороженое, торт «Захер», сыры и фрукты. К этому подавалось: шабли, бордо Мутон-Ротшильд, шампанское Рёдерер и херес супер-иор. Нет, не знаю, что значит Armoricaine. Но знаю, что сказано об этом в одной солидной книге о Вене: «Обед, воплощающий совершенство – и одновременно образец, на который должен равняться каждый». Должен, понимаете? Каждый. Каждый должен быть чему-то верен. Например, стилю обеда и самоубийства. Вот тут за углом жил Фрейд, это тут он и вывел, что рядом с инстинктом жизни и продолжения рода всегда стоит влечение к смерти. Где Эрос – тут тебе придет и Танатос. Полный танатос. Такой город. Отмечено, тут все как-то особенно любят пожить и все как-то особенно влекутся к смерти. Один так и писал: «Венец имеет особенно тесную связь со смертью». Конец – делу венец. Или венец. И вправду. Возьмем Венскую оперу. Пойдем, пойдем сегодня же вечером. Еще ведь не вечер. Считайте, что на шару. 7 марок. Венская опера за 7 марок. Только сегодня и только для вас, дамы и господа. Правда, на галерку, правда, и на галерке не в первом ряду, правда, вы ничего не увидите, но услышать услышите, а главное – походите по театру и увидите всю эту роскошь изнутри, чтобы было что вспомнить и рассказать. И все в 7 марок. Поют? Ну Пласидо, скажем, Доминго поет сегодня, устраивает? Мне-то все едино, что Пласидо, что Доминго, оба по барабану, я не меломан оперы, мне Рихард Вагнер подсуропил, это ведь он меня отправил в призраки, из-за него я разлюбил оперу раз навсегда. Но суть не в этом. Это здание строилось 8 лет двумя придворными архитекторами, Эдуардом ван дер Нюлем и Августом фон Сиккардсбургом, и открылось 25 мая 1869 года. Правильно, «Доном Джiovанни» Моцарта. Видите, вы все лучше меня знаете, и это прекрасно. Лучше русского туриста – только русские туристки. Но вот в чем заковыка. На открытии не было ни одного из двоих главных виновников торжества. А знаете, почему? Потому что незадолго до окончания строительства император Франц Иосиф позволил себе выразить некоторое недовольство пропорциями фасада. Очень мягко и в немногих словах. Сами видите, фасад заслуживает куда более жесткой критики. Здание некомпактно, громоздко, наверхие давит на второй ярус, высокий второй ярус давит низкий первый, правда ведь? Его Величество

был очень деликатен. И здание все равно приняли, и оно вписалось. Оно было обречено вписаться, каким бы ни было. Все было predetermined. Венская опера – другой не будет. И что же? Уязвленный Ван дер Нюль повесился, не в силах пережить позора, а Сиккардсбург умер через два месяца от того же. Удар. Вот так. Вот вам Вена, друзья мои. Веселейший город. Юдоль скорби. Жуткое дело.

Мне сотни лет. Я слегка износился в странствиях. Вряд ли я долго смогу еще возить группы, двое суток не спать. Но если и смогу, это не перспектива. Это способ подзаработать на поездку в Италию или в Москву, призрачно погостить у себя дома, – где я только не дома? Даже дома, – на троих три самолетных билета. Шварцарбайт. Ни пенсионного фонда, ничего. Эти гроши... Завтра останемся и без них. Все, кто приехал, отъезжают, а Германия не может так жить еще 20 лет. У нее нет больше денег на то, чтобы на деле декларировать гуманность. Тут нельзя декларировать и не отчислять. А отчислять ей нечего. Америка отказалась, а Европа куда денется с подводной лодки? Она распрощается с социальными завоеваниями, это будьте благонадежны. Грустно, а что делать. И меня загонят на коробки. Они не оставят в покое. И он несчастен от всего этого. Он уже немец. Он видит, как в немецких семьях без надрыва и с улыбкой, и от детей ничего не требуют, а только любят. Он не имеет возможности скрыть от учителя, что его отец сидит на социалхильфе, когда весь класс должен ехать на 4 дня в школьный горнолыжный лагерь в Австрии, и каждый должен выложить 300 марок и дать еще карманных 100, 400 марок за 4 бестолковых дня! Ведь никто из них не умеет кататься на горных лыжах, да мало кто и пытается. Они просто сидят в горах по уши в снегу и спят вшестером в комнате в неотопливаемом помещении, и едят всякую дрянь, зачем это нужно? Но это нужно, это школьный пфлихт, повинность, «чтобы класс «срастался», и мы не имеем права отказаться, но я имею право, раз это «пфлихт», а не прихоть, обратиться в социаламт, и он оплатит 300 марок из 400, остальные я дам, куда деваться, но он переведет эти 300 не на мой счет, а на счет классного руководителя, реквизиты которого я должен указать (чтобы не дать мне предполагаемого шанса смошенничать), и по самому переводу будет видно, откуда он, и это стыдно, а выкидывать 300 марок на такую туфту просто невозможно, я и так даю ему 100 из своего кармана, и так по разным поводам, по мелочам, которых набирается за долгое время на большое, сгорбливающее спину унижение и учтивое оскорбление, а он вырастает, и все яснее все видит, он видит уже яснее меня, потому что смотрит и х глазами и все больше стесняется, и все больше ненавидит нашу и свою униженность. Но нас самих он еще пока любит. Он хороший и стесняется нас тихо. Он приглашает друзей и тихо запирается. Чтобы мы не говорили при них по-немецки. Дело ведь не в том, что мы говорим по-русски. А в том, что не говорим по-немецки. Мы среди немцев – немые, нем-цы, а не земцы. Я падаю каждый раз после поездки бревном и встаю такой, как если бы меня долго били ногами тяжелые люди, а зачем? Мир посмотреть?

Я посмотрел.

В свете – нет такого чуда. Что я тут делаю, я, возлюбленное создание Божие? Солон чужой хлеб и трудны ступени лестницы в чужом доме. Но не вернусь, один раз сломав его для его же блага, не повезу его ломать вторично – назад. Он туда не хочет. И правильно делает. Что русскому здорово – то немцу смерть. А он уже немец. Кому дом родной – а кому армия. У меня нет 5 штук баксов, 11000 марок, чтобы его отмазать. Я не ставил себе целью отложить денег – и не отложил их. А если бы поставил такую цель – не осуществил бы ее. Я не повезу его хоронить или в психушку, когда он уже свободный человек. Он останется свободным человеком, безопасно с поднятой головой переходящим улицу на зеленый свет и видящим вокруг примеры, что мир состоит из учтивых людей и держится толковой работой, а не крутежом и кутежом. Я пойду клеить коробки, но не отдам его им в армию. Если бы они хоть хотели его смерти. Но они ничьей смерти не хотят. Они

бы и хотели, да не. Они бы и не хотели, да хо. Они просто никогда так не жили, чтобы у них за них другие за кого-то я не знаю за кого и что и почему и зачем и они не знают, но они никогда так не жили, чтобы они жили, а их граждане в это бы время тем временем пачками бы не умирали. Не имеют прецедента – вот и не знают как. А зачем им лишние прецеденты? Типа – люди в армии не умирают. Это что-то новое, а зачем им новое? Новое – это хорошо забытое старое, а они никогда ничего не забывали, потому что никогда ничего и не помнили. Им все по. И поэтому я не отдам его им с их большими ху или хе, или хе-хе, по которые он им.

Кофе по-венски? Вижу, вы тоже прожигатель жизни. Должен сказать, никакого кофе по-венски нет, или, что то же, все кофе в Вене – по-венски, нигде нет столько видов всякого кофе, первые в Европе кафе появились в Вене в 1693 году, сразу после того, как великий воитель принц Евгений Савойский разбил турок под стенами Вены, и содержали их, мне говорили знающие люди, турецкие армяне, пришедшие сюда с османами, но назад с ними не пошедшие, а осевшие в столичном христианском городе. Они научили венцев кофе по-турецки, а те уже творчески развили уроки, и вот теперь мы имеем десяток видов из десятков нежнейшим образом отобранных, особо обработанных и тонко смешанных сортов кофе, а то, что называют кофе по-венски, здесь именуют «Винер Меланж», оно полностью варится на сливках или молоке и еще заправляется взбитыми сливками, очень рекомендую, лучше капуччино-то будет, уж поверьте, правда, и стоит 5 марок чашка, но это - чашка, а не итальянская чашечка. А брать к нему надо не торт «Захер», он знаменит-то знаменит, но не понимаю, чем? Ну два коржа, промазаны абрикосовым мармеладом вместо крема и облиты шоколадной глазурью. Суховат. Родная «Прага»-то повкуснее будет, это дважды два, а у них брать надо этот... как его... мне сведущие люди говорили, ну сейчас отойдем от Штеффи и пойдем на Грабен, и вот там кафе. Справа от чумной колонны, не чумовой, а чумной, не надо шутить, по обету во спасение от страшной чумы 1679 года. Попробуйте представить, на ваших глазах умирает 30, 40, 60 000 человек, каждый четвертый или третий в городе, один за другим, и вы ничего не можете сделать, ваши знакомые и друзья, родные мрут как мухи, их хоронят на ваших глазах в чумном рву, в канаве, то есть Грабене, засыпают, и вы догадываетесь, кто стоит на очереди в списке, а сделать ничего не можете, как во сне, разве что нарезать в зюзьку, как один тогда спяну упал прямо в ров, очнулся, а он жив, представляете? посреди заразных трупов; а как звали его Августин, то он о себе от радостного обалдения сочинил песенку «Ах, мой милый Августин», ну да, эту самую, и распевал ее в греческом кабачке, недалеко отсюда, да, сохранился, ну, конечно, байки, ну пошли на Грабен, любимое место гуляний венцев по мертвым костям, я покажу это кафе, и там этот торт, самый вкусный у них, если уж это любить и платить за это деньги. 70 шиллингов, 10 марок за кусок торта, но это торт. Да, когда-то и я был сладкоежкой, а теперь все у меня в глотке застряло. Вот оно у меня где, все это сладкое, вообще все съестное; наелся до конца своих дней и того, что съел, и того, что не съел. Да, не хочу и фуа гра, и омара а l Armoicaine. Представьте себе. Каждому отпущен свой лимит. Я свое уже съел. Не скажу, что выпил. Самый скучный из всех смертных грехов, заявляю с полной ответственностью, это чревоугодие. Чего не скажешь о пьянстве. Нет, вы не поняли. Не говорю, что – веселый. Но хоть осмысленный: всегда потом испытываешь чувство вины и тоски, ис-питы-ваешь, понимаете, are you experienced? А то наелся и знай себе отдуваешься, все равно от чего – от перепелок ли с пюре из каштанов, столовских ли серых котлет с серыми перьями макаронов; одинаково в сон клонит.

Я вспомнил, как ее должны звать. Из-за которой буду прощен. Это Вагнер написал про меня. Думал, про себя, а написал про меня. Он всегда был эгоистичен – и мне ли его не понять. Ее зовут Сента. Я выручил ее отца. И она полюбила

меня. Но у нее – кто-то есть. Или только хочет кем-то в ее жизни быть. Типа набивается в женихи. И вот она должна отказать ему, потому что полюбила меня. Чтобы спасти меня. Но чужая любовь еще никого не спасла. Правда, от чужой любви можно прикурить свою. Это бывает, правда. Но своей любви не напасешься. Да ведь и *своя* не спасает. Стоит ли «я» и «моя любовь» в 1-м лице или в 3-м – какая разница. Я никак не больше *его* или *ее*. Чья любовь не спасает... Как, и по дворцу Дожей нельзя водить? Как дворец, так нельзя водить? Почему, синьора, если это мой дворец? Доказать? Хотите, синьора, я проведу вас по нему с закрытыми глазами? Ладно, замнем для ясности. Не надо, не надо карабинеров. Какие могут быть карабиньери в этом городе карнавалов, где всем правит Sior Maschera, Господин Маска? Нас нет, и мы докажем вам это – растворившись в воздухе. Нас сейчас не станет, хотя мы заплатили за вход 18000 лир. Это деньги, между прочим. Для тех, кого я привел с собой, это деньги, потому-то они, мы, и призраки в Венеции. Спокойно, синьора. И Вы, дорогие дамы и господа, спокойно. Мы спокойно, без скандала, уйдем сейчас из зала Большого Совета и спокойно вернемся по другой лестнице, выше этажом, в зал Коллегии и Антиколлегии. Мне ли не знать, где она, когда сам же ее и строил, не один, конечно, и другие плечо подставляли. Да, я; ну а кто? Не вы же, правильно? Там тоже дивный Веронезе, «Похищение Европы», и еще более дивный Тинторетто. А главное, другая синьора. С ней нам повезет больше. Настоящая итальянка. Она будет вязать или смотреть в окошко на Бачино. Настоящие итальянцы на работе занимаются чем угодно, только не своим делом. Это лучший способ ведения своих дел. Русские уйдут, но русские придут. Американцы не пройдут. Японцы не пройдут. А мы пасаран. Нет такого места, где бы мы не пасаран. Только не надо спорить. Споры ведут к карабиньери. Синьора, чао.

Не отдам его им. Сойду с ума на клейке коробок, сдохну на упаковке почты – не повезу назад. Я взялся за плуг не для того, чтобы оборачиваться назад. Прощай, моя немытая. Я тебя и такой люблю. Большое видится на расстояньи. Зачем уменьшать твой масштаб в пространстве моей души?

А вы, святые камни Европы... где вы, что вы? Почему, топча вас, не озаряюсь я вашею святостью? Почему чем дальше, тем больше я ничего не чувствую, бревно бревном? Ни на закатной Аппиевой дороге, прощаясь с римской славой, ни проезжая мимо Реймса, где когда-то короновали королей Франции и до сих пор стоит лучший в мире готический собор? И теперь еще оставшегося столицей – хотя бы шампанских вин. Ни даже в горах Каталонии в святыне Испании, стоя перед черной деревянной Мадонной монастыря Монсеррат, перед которой коленопреклонный Игнатий Лойола дал обет создать орден имени Иисуса – и свято сдержал слово? Не наговаривай на себя: там ты еще что-то... или уже что-то...

Нет, он спутал, какая уж тут Сента. Разве какая-то Сента в состоянии спасти меня? Зачем понапрасну отбирать у девушки хорошего жениха?

Почему чувствую себя в своей тарелке – лишь в обществе амстердамских анашистов, четырнадцати французских моряков, которым я такой же свой, да не свой, как доценту филфака пензенского пединститута?

Линдау, Ландау, Пассау моя.

Я хату покинул, пошел воевать – чтоб домик в Мурнау Кандинскому дать?

Иль – просто со вкусом всегда поддавать?

Я, незримый, пил лучшие вина Европы – настоящие, а не трехмарковые Риоху и Кьянти, и Брунелло ди Монтальчино, и вино нобиле ди Монтепульчано, и Шато-Марго, и Шато неф дю Пап, и Кло де Без, и Поммар, не говоря о лучших рейнских и франконских – на вайнмарктах, где можно дегустировать бесплатно все, что душе угодно. Сорокапятимарковые вина. Я знаю лучшие года урожая французских вин за последние десять лет. Видел лучшую европейскую живопись и славнейшие дворцы. Был в городах, где начинались и заканчивались великие европейские

войны. Присутствовал при разговоре Казановы с Вольтером, когда последний, имея в виду арест, тюрьму и побег первого, заметил, что «в Венеции никто не может назвать себя свободным», а первый ответил: «Возможно, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно считать себя свободным», при начале великого европейского спора о свободе, когда обе стороны, итальянская и французская, так и не поняли друга, и тут как тут в Европу влезла еще Россия с ее заветным «третьим путем», третьей, «тайной свободой», с двухсотлетней говорильней о смысле двух чисто поэтических слов, чтобы окончательно запутать дело. На моих глазах болгары двигались в ататюркскую Турцию, которую должны были ненавидеть и бояться с османских времен, но почему-то в послесоветские времена перестали и бояться, и ненавидеть, а кемалевские турки в послевоенную Германию, куда двинули и русские греки, как тролле получили греческий паспорт, дающий право на жизнь и работу в любой стране Евросоюза; на моих глазах в Германию прибывали боснийцы, а затем на моих же глазах, с окончанием войны, их сажали в комфортабельные, по сравнению со столыпинскими, вагоны и вместе со всем их скарбом, с новой немецкой аппаратурой депортировали назад в Боснию, а потом на моих же глазах соседний с нашим дом заселили албанцами, бежавшими от косовских сербов, а потом через два квартала от нас появились косовские сербы, бежавшие от албанцев... В монастыре святого Михаэля на горе в великом древнем городе Бамберге, «франконском Риме» на семи холмах, пил я единственное в мире Rauchbier, копченое пиво «Шленкерла», темное пиво вкуса растворимой саями.

Дрянь это копченое пиво. Говорю, дрянь.

Из ресторанов рекомендую «Макдоналдс».

Европа. Где ты, Мисюсь?

Ради тебя, о Европа, сплотил я воедино людей из Харькова и Днепропетровска, Саратова и Москвы, сидящих на социальной помощи, потому что кто же из работающих в Германии в силах ездить бессонными ночами в выходные, ради любви к тебе увлек их твоими камнями, дворцами и соборами, музеями и колизеями, твоей – своей – историей, историей славы и позора, высот и падений иудео-христианской части человечества. Тебе они готовы стали отдать свои последние гроши, отложенные из месячных соцминимумов. Я веду их, я – их группенфюрер. И вот – где же ты? Чем больше дышу я воздухом твоей культуры, тем больше чувствую – нечем дышать. Чем больше был когда-то накал желания, затянувшегося предвкушения встречи с очередным дивом человеческого гения, – тем холоднее сама эта встреча. Ни Ватикан, ни Лувр, ни мозаики Равенны не отогревают мою старую, застуженную в странствиях кровь, мою седую душу. За чем же гоняюсь я?

За усталостью. От усталости, от полной выкладки души и тела я выпадаю в «вечность» как в осадок времени, как в сгусток настоящего, полного собой до краев, где нет места для какой бы то ни было тоски по прошлому и страха перед будущим.

И только? И никогда больше не упьюсь гармонией? Не обольюсь слезами над великим вымыслом европейства?

Нет. Не обольюсь.

Вот за этим-то «нет» – и гоняюсь: насытить себя чувством пустоты от полюбовничества с культурой, от бесцельности свиданий с ней, отсутствия, да и ненужности душевных оргазмов. Чтобы понять всем естеством однажды, когда, наконец, это произойдет, когда насыщусь ею, моей опостылевшей возлюбленной, до передания, до полного несварения души: не она, не она должна меня полюбить, и в любви не к ней найду спасение. Как эта секта гностиков, не упомяну уж и названия, давно это было, но помню, она, в противовес другой гностической секте, практикующей полное половое воздержание, практиковала групповой секс и все, что только можно здесь представить, чтобы обратным путем – через пережор и

блевету, через полное и окончательное пресыщение свальным грехом, отвращение к сексуальной пище – прийти к тому же самому: к отказу. Довести себя до безразличия к плоти – и выйти в чистый пневматизм. Оскопление обжорством. Объесться разочарования Европой. Тоже путь.

Куда? Зачем? Знаю: разлюбив Европу – больше никого не полюблю. Я моногамен. Старый Свет – моя единственная любовь. Мне не нужны ни Америка, ни Восток, ни Тасмания и страшные Соломоновы острова. Я лечу, брожу, блуждаю в автобусах по Европе сотни лет и не хочу ничего, никого другого. Знает она или нет, она моя суженая. Если разлюблю ее – взамен не полюблю никого. Это сердце – опустеет.

Мерло, мерло по всей земле – до беспредела. Свеча горела на столе – и та сгорела.

Но не отдам его которым все по ху или хе. Я не вернусь назад. И я не пойду на упаковку. Я призрак и уйду в пустоту, и там найду свое призрачное счастье, там ждут меня еще полмира, не завоеванные мною, незримой моей армией города. Есть еще Севилья и Вальядолид, Грасс и Руан, Лиссабон и Рейкьявик. Так и умру по дороге в автобусе, где-нибудь между Пизой и Инсбруком, проезжая мимо очередной деревушки со всеми удобствами – тут и похороните, прямо у автобана. Заройте, и все. У обочины дороги выройте могилу. И думать не надо, чем за нее платить. Заройте – и мимо.

Вперед, на озерную Мантую. Мы возьмем ее, как только я при помощи карты и циркуля составлю план кампании. Мне не нужны военные советники. Я сам себе il condottiero. Гаттамелата, Пестрая Кошка. Гуляющая сама по себе. Мы возьмем ее скоро, всего через 370 лет, отматывая назад. Какая мне разница, назад или вперед. Призрак бродит по Европе, неуместный, безвременный. Четвертого сентября 1631 года открыли выступление из Мантуи полки Феррари и Оттавио Пикколомини, а также полки Коллоредо и герцога Саксонского, последующие шестьюдесятью фургонами с награбленным имуществом. За ними тронулись восьмого сентября полки Гаральда Бранденбургского, Барневельта и Изолани с восьмьюдесятью фургонами и двенадцатого сентября полки Ривара, Зульц, Пайнер, Пиккио и Соронья с восьмьюдесятью фургонами и, наконец, двадцатого оставил город барон Иоганн фон Альдринген с восьмьюдесятью фургонами военной добычи... Стоит ли говорить, с кем из победителей были мы и с какой добычей уходили из города.

Не пойду клеить коробки. Вперед, моя гвардия, колеси, мой ночной автобус, зарабатывай мне иллегальные гроши, плыви, мой корабль, врежайся в воду, в беснующееся море, режь волну за волной носом прежде, чем их накат потопит тебя, разобьет в щепы. Но и тогда мы выживем, из обломков построим мы плот и поплывем дальше, пока море житейское не потопит и его, но и тогда поплыву я дальше сам, раздвигая бескрайнюю воду руками и ногами, пока она не навалится мне на плечи, не сведет икры судорогой, не вольется мне в рот, не зальет своею тяжестью мои легкие. Но и тогда я пойду ко дну – живой, как призрак. Мне не дано умереть – не спасшись.

Но меня им не взять. Лучше лежать на дне. Вот ушел я от них по грудь, вот – по шею, вот уже и с головой. Возьмите попробуйте. Надо мной – сомкнулось.

Я вынырнул на Адриатике. На пиниевом Лидо дельи Эстензи, между Равенной и Феррарой, в бывших владениях некогда королевски могущественных князей д'Эсте. Я обещал тем двоим, которые и есть я сам, перед открытием учебного года десять дней на море, лечить его горло и бронхи в лечебном климате, где в воздухе смешана хвоя и морская соль, и учить его плавать. У меня была временная фора: в Баварии каникулы начинаются в августе и кончаются в середине сентября. Я возил чужих людей, сдавая себя внаем недорого – дорого стоит только лицензированный экскурсовод – а тем временем собирал и свои войска трижды, пообещав

им три города на разграбление. Это было непросто, у социальных минималистов нет денег ездить подряд смотреть Европу за Европой. Это растянулось на три месяца. Летом, особенно в августе, людям не до экскурсий. Поездки не давали полных сборов, заработать всюду удалось меньше, чем я думал. Но это как-то сделалось и закончилось. Я вынырнул и перевернулся на спину.

Они не ходили на пляж по ночам, боясь простудиться. В начале сентября в северной Италии по ночам ветрено и в море теплее, чем на берегу. Я приходил сюда один, чтобы искупаться перед сном. Проходил ряды закрытых, сложенных на ночь в аккуратные зонты тентов, слепяще-яркозеленых в свете двух мощных прожекторов пляжа от отеля «Дориан» и отбрасывающих длинные косые тени, строящиеся в ряды, как кресты на знаменитом протестантском кладбище св. Иоганна в Нюрнберге, самом мрачном кладбище Европы, единственном сбывшемся до конца проекте доктора Лютера, где могилу Дюрера от любой другой могилы можно отличить только по надписи и номеру могильной плиты – все великие и малые мира сего пришли и ушли из мира сего равно нагими, равно сочтенными, под номерами одного ряда натуральных чисел; зеленые копыта зонтов указывали в небо, а темные острые стрелы их теней на освещенном бело-сером песке указывали на две волны, светлой пеной из черноты накатывающие на пустынный берег. Я понял здесь, что Танги, и Дали, и де Кирико – такие же не-выдумщики, как Саврасов с его «Проселком». Волны выкатывались из черного, где море сливалось с небом. В одно бесконечное, чернее которого я не видел ни на полотнах Веласкеса, ни Гойи. Никого из тех, кто по-настоящему знал, что такое – писать черным. Я стаскивал с себя одежду и бросал на песок, если даже в карманах оставались деньги. В этом уголке Италии не воровали, а в это уходяще-сезонное время года, в это мертво-остывшее время суток на пляже и недавно могла появиться разве что пара, разогретая любовной страстью. Занятая не тем, чтобы прибрать к рукам чужое шмотье, а тем, чтобы побыстрее освободиться от своего. Я входил в море. Я всегда был в море один. И сегодня я был один в море.

Я вынырнул и лег на спину. Я лежал не в воде, а на воде – как на ковре. Утопленный в нее лишь на самую малость, так, чтобы не висеть, а лежать. Плотная вода Адриатического моря позволяла лежать совершенно плашмя. Я лежал на черной воде и смотрел в черное небо. В небе, во всем небе, во весь оком, там, где вчера еще рассыпана была сотня звезд, гроздь созвездий, по которым я мог добраться в любую сторону света, в любую гавань из тех, вход в которые мне был заказан, – сегодня, клянусь в этом всем, что есть святого за душой у проклятого призрака, сегодня не было ни одной, даже Полярной. Ни одной, кроме одной. Я не знал ее и не мог добраться по ней никуда на земле, только до нее самой, взглядом. Она была на небе и смотрела на меня. Ее зажгли для меня. Это была моя звезда.

Я все понял.

Сента, не ты нужна мне. Но ты нужна своему жениху. Не обижайся, это для твоего же блага. Иди к нему. Таких, как я, не спасешь женской любовью и верностью. Эта часть меня у меня есть и так. Девушка, дева, которая меня полюбит, и останется девой, сохранив мне верность, и спасет меня, – это совсем другая. Она любит всех, и верность ее каждому – непреложна. Ее любовь в силах спасти и призрака, освободив его от невидимых пут пустоты пространства и времени. Отпустить в смерть или оставить жить – не проклятым. Всепонимающая, всепобеждающая любовь Девы.

Мария, Звезда Морей.

Спаси меня: спаси нас троих целиком, в одном я, Совета неизреченного Таинница. Возьми нас к себе, если можно, Цветок Нетления. Спаси нас и если нельзя, Вместителище Невместимого. Как же тебе не спасти нас, когда ты так нас любишь, что радуется о тебе вся тварь. Мы неверны тебе, но ты верна Себе и всем нам,

Венец воздержания. Спаси; сохрани или не сохрани, но спаси. По их велению не мне жить – но и не по своему хотению. Я не могу больше гулять сам по себе. Во всю пустоту моей бездонно-пустой души, опустевшей на целую Европу, впиваю я твой немой ответ. Из всех нем-цев, всех нем-ок ты самая немая, unsere Jungfrau, unsere Liebfrau – говоришь тише всех, так что я тебя слышу. Говоришь, ничего не изменится в моей дырявой судьбе? Ну что же, я это и так знал. Так я и знал. Говоришь, так и буду стариться в бедности, без другого будущего, кроме смерти? А другого настоящего будущего не бывает. Все будет по-прежнему? Понимаю. По-прежнему. Только теперь у этого будет конец. И в конце я умру, наконец. И ты меня не спасешь тогда. Потому что уже спасла – сейчас и во веки веков. Ты все сказала; я всему поверил. Я готов. Гори, гори, моя звезда.

Звезда судьбы приватная.
Всегда ты будешь адекватная.
Другой не будет. Никогда.

* * *

Однажды услышал я в свой адрес поистине золотые слова; позволю себе привести их вместо эпилога. Во время поездки в Бамберг, за бокалом копченого пива, одна экскурсантка сказала: «Вы доставили мне удовольствие, которого я давно не получала. Такое удовольствие... За все время здесь, за много месяцев мне только раз было так хорошо – когда я пошла в городской зоопарк и, представляете, увидела сразу двух живых носорогов».

Аугсбург, осень 2001

СКВОЗЬ БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА...

* * *

«Какое счастье умирать в Париже,
в больнице, в бедности, в мученьях... Смерть
есть смерть. Но все-таки: какое,
должно быть, счастье умирать в Париже,
в больнице, не в бараке, на матрасе,

не на вагонке». Я же смотрю на эти огромные
облака, проплывающие над миром,
эти площади, разбежавшиеся булыжником,
эти статуи на мосту. Я живу здесь.
Здесь, в Европе, в послесловии к прошлому.

Еще тени их проходят сквозь синее утро,
еще гул их прогулок медлит под этими сводами,
еще шепчет щебень о них в этих парках,
теченье рек продолжает их строки.
И ангелы улетают сквозь провода,

и сливки бискайских волн бьются в вафельный берег,
и дубы, и ясени шумят о загнанных, изгнанных.
Я обязан им всем, я бы не был, не будь их.
Никто не гнал меня, я сам выбрал это
движенье во времени, приближенье к небывшему.

Потому что все, никогда не кончаясь, закончилось.
И ясно видишь, глядя на облака и на площади,
как все соборы Европы, все ратуши,
все колонны сходятся, очень медленно, к гавани,
готовясь к отплытию, начиная другую историю.

* * *

Свернуть с автострады, заехать в какой-нибудь маленький
город, где-нибудь во Франконии:
с дворцом и парком, пустынными улицами,
группой разноцветных велосипедистов на площади перед церковью;

прочитать на сером обелиске имена погибших во время
первой и второй войны; заглянуть,

на мгновение, в местный
музей с черепками, доспехами, портретом маркграфа;

зайти в кафе, где с пятидесятих
годов ничего, конечно, не изменилось,
выпить (очень плохой, очень кислый) кофе, съесть пирог,

к примеру, с рабарбарой, записать эти строки.
Какая печаль и какая заброшенность.
Какое спокойствие. Как не хочется умирать.

* * *

Исторические события я мог наблюдать из окна.
Я видел танки и демонстрации, крушение империи.
К вечеру, когда все затихало, оранжевым блеском
отсвечивал мокрый асфальт

и появлялись внезапные звезды. Я оставил все это без
сожаленья, чтобы здесь, среди шпилей и башен
(dans la forêt de symboles)* смотреть в прозрачное небо
времени, убежав от судьбы.

АРКА СЕПТИМИЯ СЕВЕРА

Выходя из камня и снова
уходя в него – кто они?
Они идут, не двигаясь. Американцы,
японцы окружают их, каждый
день, сменяющейся толпой,
голосами мира, в котором

их нет, не может быть, щелчком
фотокамер. Кто они? Выходя
из камня, они идут, не двигаясь, друг
за другом, огибая угол, не глядя
на наши джинсы. Немецкая
экскурсоводша с рюкзаком и в очках

рассказывает шумно скучающим
школьникам о парфянах. Вот этот,
бородатый и толстогубый, с младенцем
в больших руках и вон тот,
кудрявый, грустный – кто они? Палатин
поднимает вдали свои пинии, синий

день стоит вокруг, удивляясь
себе и Риму. Уже никто, они просто
есть, вот сейчас. Они уходят обратно
в камень, как слова в молчанье, как эти
туристы каждый в свою
единственную, непонятную жизнь.

* в лесу символов, франц. – прим. редакции

* * *

Среди моих персонажей есть тот, кто стремится сделать – почти неважно что именно, но сделать, суметь и добиться. Он смотрит в будущее, он решает свои задачи. «Пусть земные. И пусть даже все *sub specie aeternitatis** бессмысленно, но я это сделал, и то еще сделаю. Я не буду стоять на обочине,

проводя взглядом идущих, под безжалостным небом». И есть, среди моих персонажей, тот, кто смотрит на воды и ветки, повторенные в них, пятна солнца и снега в аллеях парка (который всегда – в нем). Не стремясь к успеху, не страшась неудачи, не участвуя в гонке и не зная обиды, он может быть печален, но втайне он счастлив. Огромный

день неподвижен за окнами. Они сидят среди прочих моих персонажей. (Тот, кто плачет о прошлом, сидит между ними, и тот, кто просит любви, рядом с первым, тот, кто любит сам, недалеко от второго). Оставляя их всех, я выхожу наружу. Пространство слов и строк лежит предо мною с безмолвными городами на горизонте, садами и башнями, чистым светом, сверкающим в стеклах.

* * *

Сквозь безразличие мира стихи
проходят, как мы сквозь
город, в котором
у нас нет ни знакомых, ни даже
воспоминаний.

Деревья не шумят нам навстречу,
и пригоршни солнца не нам
бросают окна. Никто
не видит в нас нас
самих. Мы не знаем,

зачем мы здесь, но мы здесь.
Мы сидим в кафе на площади или
в саду, на леопардовой шкуре
скамейки. Стихи
сквозь безразличие мира

проходят крадучись. Их
следы остаются в нем, как вот эти
большие чьи-то
следы на песке среди
оберток, окурков.

* * *

Всегда очень прямо – и даже
склоненные ветром – стоят

* с точки зрения вечности, лат. – прим. редакции

деревья. Так прямо, как мы
хотели бы, как мы очень редко

стоим перед ними, перед
тем, что за ними, вокруг них,
вокруг нас. Знаешь, здесь без тебя
ничего, в общем, нового. Осень

уже кончается, уже только белые
шарики на черных ветках, но снега
еще нет. Все раскрыто
настежь. И так же

прямо, склоненные ветром,
стоят деревья. Так прямо, как мне
не выстоять перед этой,
огромной, без тебя, пустотой.

ВСТРЕЧА

Целый день мы ходили по городу, просто так,
продлевая волненье. «Я люблю это зверское
в человеке. Знаешь, быстро, в подъезде,
с кем-нибудь». Или в парке, со мной. За деревьями
была автострада, укрывавшая нас своим грохотом,

было желтое пламя над кронами. Посреди
ночи я думал, что жизнь распадается на чужие
комнаты, годы, на страсть и на близость
старости, на губы, груди и... что же? снова
проснувшись... подушки, простыни, волосы,

на контуры комнат, на чужие мечты, в которых
ты теряешься, по которым блуждаешь, нащупывая
угол шкафа, выключатель у двери
в ванную, где над расческами, щетками,
теньями для глаз, чернилами для ресниц,

под звук воды, упadaющей в раковину, так ясно
видишь все это, время, уводящее тебя прочь
от тебя же, усталость, недостижимость
счастья. Из тусклого зеркала – мой отец
посмотрел в ту ночь на меня.

ФОНТАН

Большеголовые дети, застывшие у воды.
На площади, всегда пустынной, огромной
и полукруглой (бульжник, кариатиды).

Они играют (или делают вид, что играют)
с лягушкой, ракушкой, рыбкой.
Их шестеро. Они каменные.

Только один из них, цапнутый раком,
смотрит на небо, к небу же
воздевши пухлую руку.

Все прочие смотрят тебе прямо в лицо.
Ты обходишь их по часовой или против
часовой стрелки. Обходишь еще раз.

Они смотрят на тебя исподлобья,
из-под круто-выпуклых лбов, пятен мха.
Они смотрят не отрываясь. Не видят.

Вода за ними, падая, плещет. Блики
пробегают по тебе и по ним.
Они сидят неподвижно.

Я ловил бычков в пруду, ловил головастиков,
ловил лягушек (зачем?). Запах дыма
мешался с запахом сумерек,

травы и тины. Ничего не меняется. Седьмой
сидит внутри меня, так же
неподвижно, как эти шестеро.

Так много снега, как снега только
бывает много. Сплошные
сугробы, сумерки, отсветы на снегу.

Как полыхает все это, стены, крыши.
Как снег краснеет, синееет, тает.
Прийти домой и, зажегши лампу,

читать сливающийся со снежным
мерцаньем рассказ о давних
бунтах и казнях. Никто не спросит,

что ты читаешь. Все неизвестно
куда ушли. И ты сам уходишь
по этим строкам, еще не зная,

в свои одиннадцать лет, что так и
будет потом всю жизнь, что дальше
и дальше будешь ты уходить куда-то

и от чего-то. Над колокольной
кричит ворона, выходят люди.
Так много снега, как снега только

бывает много. Скрипят ворота.
Выходят люди, проходят тени.
Все повторяется, сны и казни.

Как долго едем мы, все мы едем.
Не много правды, но много злобы.
Небось, доедем, не зарекайся.

Доносы, пытки, стрельцы и страхи.
Краснеет снег и краснеет небо.
Стрельцы и страхи, костры и плети.

В Голландии верфи, каналы, грахты.
В Вестфалии города и замки.
Я никогда не вернусь обратно.

В зеркало видишь женщину за рулем
“фольксвагена“, с освещенным и грубым
подбородком, исчезающими в тени
глазами. Приближаешься к светофору,
нажимаешь на газ, на тормоз. Громады
облаков восстают друг на друга над белой
и плоской фабрикой, автомобильными
мастерскими, некошеною лужайкой, где тоже
белые (уже) одуванчики убегают, еще не
облетая, неизвестно куда, по блестящей,
как вода на солнце, траве. Мгновенье
твоей жизни, одно из единственных.
Тыходишь в него, как в чьем-то
рассказе мальчик, вошедший в картину,
не возвратившийся. Оно длится, растягиваясь,
границы его отступают. Оно больше
(ты знаешь) облаков и времени. Ты
в нем дома. Вдруг женщина улыбается
и машет рукой кому-то на улице, вот
этому, в джинсах, тот кивает ей, светофор
зеленеет, все едет, все движется,
заканчивается, закончилось. Радио
продолжает свой рассказ о погоде,
дорожных пробках, парламентских выборах.
Не заканчивается (говорил мне один мой
не возвратившийся из картины знакомый)
ничего, никогда.

КОМНАТА ДЖОВАННИ

ПереводсанглийскогоАлександраРадашкевича(Париж)¹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Помню, что жизнь в этой комнате проходила, казалось, под водой; время безучастно проплывало над нами, часы и дни не имели никакого значения. Поначалу наша совместная жизнь была наполнена радостью и изумлением, приносимыми каждым новым днём. Под радостью, конечно, таилась боль, а под изумлением – страх, но эта подоплёка не определяла начала нашей истории до тех пор, пока это начало было у нас, как алоэ на языке. Позднее боль и страх стали той поверхностью, на которой мы спали и по которой скользили, теряя равновесие, гордость и уважение к себе. Лицо Джованни, напоминавшее мне столько утр, полдней и ночей, каменело у меня на глазах, начиная выдавать свои секреты и давать трещины. Свет в его глазах сменился блеском, а под широкими прекрасными бровями начал угадываться череп. Чувственные губы поджалась, сдерживая изливаемое сердцем горе. Лицо его стало чужим, – либо мне самому, глядя на него, хотелось, чтобы оно стало лицом незнакомца. И всё запомненное не подготавливало меня к такой метаморфозе, вызванной самим этим запоминанием.

Наш день начинался до рассвета; я приплетался в бар Гийома перед самым закрытием, когда опрокидывают последний стаканчик. Иногда, когда Гийом уже закрывал бар для публики, несколько приятелей и мы с Джованни оставались позавтракать и послушать музыку. Иногда там бывал и Жак; со времени нашей с Джованни встречи он появлялся всё чаще и чаще. Если мы завтракали с Гийомом, то обычно уходили часов в семь утра. Иногда Жак предлагал подвезти нас домой на машине, которую он ни с того ни с сего неожиданно купил, но чаще всего мы проходили пешком весь долгий путь вдоль Сены.

К Парижу приближалась весна. Блуждая в эту ночь по пустому дому, я снова вижу эту реку, её булыжные quais² и мосты. Низкие баржи проходили под этими мостами, и порой на них можно было увидеть женщин, развешивающих бельё. Иногда попадался молодой гребец на байдарке, энергично работающий вёслами и выглядевший как-то беспомощно и даже глупо. Мы проходили над пришвартованными к набережным яхтам, приспособленными под жильё катерами и баржами, и столько раз миновали по дороге домой пожарную станцию, что пожарники стали нас узнавать в лицо. А потом, когда пришла зима и Джованни был вынужден прятаться на одной из этих барж, именно пожарник, заметив ночью, как он пробирается в своё убежище с буханкой хлеба подмышкой, донёс на него в полицию.

Но в те утра деревья только одевались в раннюю зелень, вода спала, коричневая зимняя дымка ушла вниз по реке и появились первые рыболовы. Джованни

¹ Окончание. Начало см. во 2-й книге журнала.

² Набережные (фр.)

был прав на их счёт: они, разумеется, ничего и не старались поймать, но это занятие помогало им убить время. Вдоль quais лавки букинистов словно готовились к празднику, ожидая погоды, которая наконец позволит прохожим нехотя листать одну за другой книги, с оттопыренными, как собачьи уши, углами, а также внушит туристам пламенное желание увезти в Штаты или в Данию такое количество раскрашенных гравюр, что, вернувшись домой, они не будут знать, что с ними делать. А ещё появились девушки на велосипедах, сопровождаемые на том же средстве передвижения молодыми людьми. Порой мы наблюдали, как они устраивались вдоль реки на закате, отложив свои велосипеды до утра. Это было после того, как Джованни потерял работу, и мы слонялись по вечерам. Это были горькие вечера. Джованни знал, что я собираюсь уйти от него, но не осмеливался упрекнуть меня из страха, что это подтвердится. А я всё не мог набраться смелости и сказать ему. Хелла должна была вот-вот вернуться из Испании, а отец согласился прислать мне денег, которые я не собирался тратить на Джованни, хотя сам он так много мне помогал. На эти деньги я собирался бежать из его комнаты.

Каждое утро казалось, что небо и солнце становятся всё выше, а река вытягивается на глазах, покрываясь густеющей дымкой надежды. Каждый день у букинистов что-то, по всей видимости, убавлялось из одежды, и их силуэты претерпевали самые неожиданные и непрерывные изменения. Можно было лишь гадать, какие пропорции они примут в конце концов. По открытым окнам на quais и в боковых улочках было заметно, что hoteliers³ вызвали маляров освежить стены номеров, молочницы в лавках сняли свои синие свитера и засучили рукава, обнажив мощные руки; хлеб в булочных казался ещё теплее и свежее. Маленькие школьники оставили дома свои пелерины, и колени у них уже не синели от холода. Слышалось больше болтовни – на этом странным образом упорядоченном и в то же время бурлящем языке, напоминающем мне то сваренный вкрутую яичный белок, то струнные инструменты, но всегда – изнанку и следы страсти.

Мы не так часто завтракали в баре после закрытия, потому что Гийом не любил меня. Обычно я просто ждал неподалёку, пока Джованни приведёт всё в порядок и переоденется, стараясь, чтобы меня не заметили. Потом мы говорили «спокойной ночи» всем и уходили. У завсегдатаев бара сложилось любопытное отношение к нам, состоящее из неприятной покровительственности, зависти и скрытой неприязни. По какой-то причине они не могли говорить с нами так, как разговаривали между собой, и их возмущала необходимость общаться как-то иначе. Их сводило с ума то, что смертельно важный центр всех их жизненных интересов в данном случае не имел к ним ровно никакого отношения. Это возвращало их к собственному ничтожеству, несмотря на весь дурман болтовни, мечты о сердечных победах и даже взаимное презрение.

Где бы мы ни завтракали и где бы ни гуляли, но, вернувшись домой, были всегда слишком разбиты, чтобы сразу заснуть. Мы ставили кофе и иногда пили его с коньяком, сидели на кровати, разговаривали и курили. Казалось, что нам нужно многое высказать, особенно – Джованни. Даже в моменты полного чистосердечия, даже когда я пытался изо всех сил отдать ему себя так, как он отдавал всего себя мне, даже тогда я что-то от него утаивал. Например, я сказал ему о Хелле по-настоящему лишь через месяц после нашего переезда в комнату. И сказал о ней только тогда, когда из её писем стало ясно, что со дня на день она должна появиться в Париже.

– Чем она занимается, колеся одна по Испании? – спросил Джованни.

– Она любит путешествовать, – ответил я.

– Да? Никто не любит путешествовать, а особенно женщины. Должна быть какая-то другая причина, – сказал он, многозначительно подняв брови. – Может,

³ Владельцы отелей (фр.)

у неё любовник испанец и она боится тебе сказать?.. Может, она с каким-нибудь torero⁴?

«Возможно, так оно и есть», – подумал я.

– Она не побоялась бы мне об этом сказать.

Джованни рассмеялся:

– Я совершенно не понимаю американцев.

– Не вижу тут ничего такого, что трудно понять. Мы ведь, знаешь, не женаты.

– Но ведь она твоя любовница, да?

– Да.

– И она всё ещё остаётся твоей любовницей?

Я посмотрел на него с удивлением.

– Конечно.

– Тогда я не понимаю, – сказал Джованни, – что она делает в Испании, когда ты в Париже.

Вдруг его осенила какая-то мысль:

– А сколько ей лет?

– Она на два года моложе меня, – ответил я, изучая его реакцию. – Какое это имеет значение?

– Она замужем? Я имею в виду за кем-то другим, разумеется.

Я рассмеялся, он тоже.

– Нет, конечно.

– Я подумал, что она, может быть, в годах, что у неё есть где-то муж и что ей надо время от времени возвращаться к нему, чтобы оставаться с тобой. Это было бы хорошим выходом из положения. Такие женщины бывают *очень* заняты, и у них обычно водятся деньжата. Если бы *такая* женщина находилась сейчас в Испании, она бы привезла тебе роскошный подарок. Но девушка, слоняющаяся одна по чужой стране... Это мне совсем не нравится. Ты должен найти себе другую любовницу.

Всё это было очень забавно, и я смеялся не переставая.

– А у *тебя-то* есть любовница? – спросил я его.

– Сейчас нет, но, возможно, снова появится когда-нибудь, – ответил он полусердито-полуулыбчиво. В настоящий момент женщины как-то мало меня занимают – не знаю почему. Раньше было не так. Может, всё и вернётся.

Он пожал плечами.

– Наверно, потому, что женщины это та проблема, на которую у меня нет сейчас сил. Et puis⁵...

Он умолк.

Мне хотелось сказать, что он выбрал наиболее необычный выход из положения, но я лишь заметил осторожно, немного помолчав:

– Ты, кажется, не очень высокого мнения о женщинах?

– О, женщины! Слава богу, нет никакой нужды иметь мнение о *женщинах*. Женщины подобны воде. Они прекрасно могут искушать, так же как предавать; могут быть такими, знаешь ли, бездонными, и такими поверхностными. И такими грязными.

Он помолчал.

– Возможно, я не очень люблю женщин, это правда. Но это не помешало мне переспать со многими и влюбиться в одну или двух. Но в большинстве случаев, почти всегда в этом участвовало с моей стороны лишь тело.

– От этого можно почувствовать себя очень одиноко, – сказал я, сам того не ожидая.

⁴ Тореадором (исп.)

⁵ И потом... (фр.)

А он не ожидал этого услышать. Он взглянул на меня, протянул руку и коснулся моей щеки.

– Именно так, – сказал он, и добавил: – Я не стараюсь быть méchant⁶, когда говорю о женщинах. Я уважаю их – и очень – за их внутреннюю жизнь, не схожую с тем, что происходит в мужчине.

– Но ведь женщины, кажется, не в восторге от этой идеи, – сказал я.

– Знаешь, – откликнулся Джованни, – эти женщины носятся сегодня повсюду, полные идей и всякого вздора, веря, что они во всём равны мужчине. *Quelle rigolade!*⁷ Их нужно отдубасить до полусмерти, чтобы до них дошло, кто правит миром.

Я расхохотался.

– Значит, женщины, которых ты знал, любили хорошие побои?

Он улыбнулся.

– Любили, не любили – не знаю. Но побои никогда не заставляют их уйти.

Мы оба расхохотались.

– Во всяком случае они не были такими, как твоя полоумная девица, носящаяся по всей Испании и шлюющая открытки в Париж. Чем у неё голова набита? Хочет она тебя или не хочет?

– Она отправилась в Испанию, чтобы это понять.

Джованни широко раскрыл глаза. Он был возмущён.

– В Испанию! А почему не в Китай? Чем она занимается? Решила перепробовать всех испанцев, чтобы сравнить с тобой?

Я начал злиться.

– Ты не понимаешь. Это очень интеллигентная, очень непростая девушка. Ей захотелось уехать куда-то и поразмышлять.

– О чём же она размышляет? Выглядит всё это довольно глупо, должен сказать. Она просто не может решить, в какую постель ей лучше лечь. Она хочет и рыбку съесть, и...

– Если бы она сейчас была в Париже, – сказал я резко, – меня бы уже не было здесь с тобой, в этой комнате.

– Ты бы уже не жил здесь, – уступил он, – но мы бы продолжали встречаться, почему бы и нет.

– Как это «почему бы и нет»? А если она узнает?

– «Узнает»? Что узнает?

– Брось, пожалуйста, – сказал я. – Ты прекрасно знаешь, что она может узнать.

Он мрачно взглянул на меня.

– Она кажется мне всё более невыносимой, эта твоя девица. Она что – будет преследовать тебя повсюду? Наймёт сыщиков спать под нашей кроватью? И какое ей, в конце концов, до всего этого дело?

– Ты не можешь так думать всерьёз.

– Конечно, могу, – вспылил он. – И думаю. Это тебя невозможно понять.

Он тяжело вздохнул, подлил ещё кофе и взял бутылку коньяка с пола.

– *Chez toi*⁸ всё слишком судорожно и запутанно, как в британском детективе с убийством. Заладил себе «узнает, узнает», будто мы соучастники какого-то преступления. А мы не совершили никакого преступления.

Он подлил коньяка.

– Ей просто будет очень больно, если она об этом узнает. Вот и всё. Люди пользуются очень грязными словами насчёт... насчёт таких вещей.

Я замолчал. И понял по его лицу, что моё объяснение прозвучало неубедительно. Тогда я добавил в свою защиту:

⁶ Злым (фр.)

⁷ Какая чепуха! (фр.)

⁸ У тебя (фр.)

– Кроме того, *это* считается преступлением в нашей стране. А ведь я вырос всё-таки не здесь, а *там*.

– Если тебя пугают грязные слова, то я не понимаю, как ты ещё жив. Люди полны грязных слов. Они не пользуются ими только тогда (я имею в виду большинство), когда описывают что-то грязное.

Он замолчал, и мы посмотрели друг на друга. В противоположность тону произносимых им слов было видно, что ему страшно.

– Если твои сограждане считают, что частная жизнь это преступление, тем хуже для вашей страны. Что касается этой девушки – разве ты всегда держишься за её юбку, когда она здесь? Я хочу сказать – целый день и каждый день? Тебе случается пойти куда-нибудь выпить одному или нет? Может быть, ты гуляешь иногда без неё, чтобы поразмышлять, как ты говоришь? Американцы, похоже, очень любят размышлять. И не может ли быть, что пока ты размышляешь или стоишь со стаканчиком, ты заметишь другую проходящую мимо девушку, а? Может случиться, что ты просто посмотришь на небо и почувствуешь, как в тебе гуляет кровь? Или всё останавливается с появлением Хеллы? Ни стаканчика в одиночестве, ни взгляда на девушек, ни неба? А? Что скажешь?

– Я уже сказал тебе, что мы не женаты. Но, кажется, сегодня утром ты ничего не в состоянии понять.

– Так или иначе, когда Хелла здесь, встречаешься ли ты с кем-нибудь без неё?

– Конечно.

– Заставляет ли она тебя рассказывать всё, что ты делаешь без неё?

Я вздохнул. Перестав уже следить за нитью разговора, я просто хотел, чтобы это побыстрее кончилось. Я пил коньяк слишком быстро, и у меня жгло в горле.

– Нет, конечно.

– Хорошо. Ты симпатичный, очень милый и воспитанный парень, поэтому (если только ты не импотент) я не понимаю, на что она может жаловаться и о чём тебе беспокоиться. Организовать, *mon cher, la vie pratique*⁹ очень просто – надо только постараться.

Он задумался.

– Иногда не всё клеится, согласен. Но можно устроить как-то по-другому. Это не английская мелодрама, которую ты из всего делаешь. Не надо: жизнь станет просто невыносимой.

Он подлил коньяка и улыбнулся мне так, будто уже разрешил все мои проблемы. И в этой улыбке было что-то настолько безыскусное, что я невольно ответил ему улыбкой. Джованни нравилось считать себя человеком практичным, а меня нет, и учить меня непреложным истинам жизни. Для него было очень важно верить в это: в глубине души он не мог не понимать, что я беспомощно, и тоже в самой глубине души, сопротивляюсь ему изо всех сил.

Понемногу мы успокоились, умолкли и заснули. Проснулись около трёх или четырёх часов, когда тусклое солнце заглянуло в странные углы этой захламленной комнаты. Встали, умылись и побрились, толкая друг друга, обмениваясь шуточками и сгорая от невысказанного желания поскорее убраться из этой комнаты. Потом мы выскользнули на улицу, в Париж, наспех где-то перекусили, и я расстался с Джованни у дверей бара Гийома.

Потом, оставшись один и испытывая от этого облегчение, мог пойти в кино, гулять или вернуться домой и читать, или же устроиться с книгой на скамейке парка, посидеть за столиком перед кафе, поболтать с кем-нибудь или сесть писать письма. Я писал Хелле, ни о чём ей не рассказывая, или отцу, прося его прислать денег. Вне зависимости от того, что я делал, другой человек пробуждался в моей шкуре, до смерти напуганный тем, что творилось в его жизни.

⁹ Мой милый, жизнь практична (фр.)

Джованни вызвал во мне какой-то зуд, растеребил нечто, что грызло меня изнутри. Я осознал это для себя как-то днём, провозжая его на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм черешни и ели её по дороге. Вели мы себя в тот день откровенно ребячливо и были в отличном настроении, но зрелище, которое мы собой представляли (взрослые люди, толкающие друг друга на широком тротуаре и плюющие друг другу в лицо черешневыми косточками), должно было быть вызывающим. Я понимал, что подобное мальчишество – это фантастика в моём возрасте, но ещё фантастичнее было то счастье, из которого оно выплеснулось. За это я действительно любил Джованни, который, казалось, никогда ещё не был так красив, как в тот день. Вглядываясь в его лицо, я ощущал, как многое для меня значило, что я могу его сделать таким сияющим. Я знал, что многое готов отдать, чтобы не потерять эту власть. Я почувствовал, что устремляюсь к нему всем своим существом, как несётся ломающая лёд река. Но в этот самый момент между нами прошёл по тротуару незнакомый парень, и всё, что я испытывал по отношению к красоте Джованни, я тут же испытал и к нему. Джованни увидел это, прочёл на моём лице, и это ещё больше его рассмешило. Я покраснел, а он продолжал заливаться смехом, и тогда этот бульвар, свет дня и его хохот превратили происходящее в настоящий кошмар. Я уставился на деревья, листья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Мне стало грустно, стыдно, страшно и горько. Но в то же время (это было частью моей муки и одновременно не касалось её) я почувствовал, как у меня напрягаются мышцы шеи, чтобы не оглянуться и не посмотреть вслед удалявшемуся вдоль блестящего бульвара парню. Чудовище, которое пробудил во мне Джованни, теперь уже никогда не уснёт. Но ведь когда-нибудь Джованни уже не будет со мной. Стану ли я тогда, как некоторые, оглядываться и бежать за каждым смазливим парнем вдоль бог знает каких тёмных авеню, заводящих в какие-то тёмные места?

Это жуткое предположение родило во мне ненависть к Джованни – такую же глубокую, как моя любовь к нему, и питаемую теми же корнями.

2

Не могу придумать, как описать эту комнату. В каком-то смысле все комнаты, в которых мне приходилось когда-либо бывать, и все, в которых ещё придётся, будут напоминать мне комнату Джованни. Я не прожил в ней так уж долго, – мы встретились перед самой весной, а летом я ушёл оттуда, – но мне всё равно кажется, что я провёл там целую жизнь. Жизнь в этой комнате, казалось, происходила под водой, и, несомненно, я претерпел там какие-то подводные видоизменения.

Для начала скажу, что комната была слишком мала для двоих и выходила окнами в маленький внутренний двор. «Выходила» означает, что там было два окна, на которые этот двор недоброжелательно напирал, проникая к нам день за днём всё глубже, как будто принимая себя за джунгли. Мы – или, вернее, Джованни – держали окна почти всегда закрытыми. У него никогда не было штор, не появились они и при мне. Чтобы оградиться от нескромных взглядов, он густо замазал стёкла белой пастой для чистки эмали. Иногда к нам доносились голоса играющих под окнами детей, иногда на них вырисовывались странные силуэты. В такие минуты Джованни, занимаясь чем-то в комнате или лёжа на кровати, напрягался, как охотничья собака, и хранил полное молчание до тех пор, пока нечто, угрожающее нашей безопасности, не удалялось прочь.

Он всегда был полон грандиозных планов ремонта комнаты и уже принялся за него до моего появления там. Одна из стен была грязной, с белыми пятнами на тех местах, где он содрал обои. Стену напротив никогда не следовало обнажать: дама в платье с кринолином и господин в бриджах непрерывно прогуливались

на ней, окаймлённые розами. Обои большими отрезками и в рулонах лежали в пыли на полу. На полу же валялись наши нестиранные вещи рядом с инструментами Джованни, кистями, банками с краской и бутылками со скипидаром. Наши чемоданы еле держались на горе какого-то хлама, так что мы всегда опасались их открывать и иногда по несколько дней обходились без таких необходимых мелочей, как чистые носки.

Никто никогда к нам не приходил, кроме Жака, да и тот бывал нечасто. Мы жили далеко от центра, и у нас не было телефона.

Помню, как я впервые проснулся там после полудня рядом с Джованни, быстро уснувшим и тяжёлым, как упавшая скала. Свет проникал в комнату так слабо, что я с беспокойством подумал о времени. Потихоньку, чтобы не разбудить Джованни, я закурил сигарету. Я ещё не знал, как посмотрю ему в глаза. Я осмотрелся. Джованни что-то говорил в такси о том, что в комнате очень грязно. «Не сомневаюсь», — откликнулся я и отвернулся к окну. Потом мы ехали молча. Когда я проснулся в его комнате, то вспомнил, что это молчание носило напряжённый и болезненный характер. Оно было прервано робкой и горькой улыбкой Джованни, сказавшего: «Я должен найти какой-то поэтический образ».

И он растопырил свои сильные пальцы в воздухе так, будто хотел поймать метафору. Я наблюдал за ним.

— Посмотри на этот мусор, — сказал он наконец и указал пальцем на проплывающую мимо улицу, — весь мусор этого города. Куда они всё это девают? Точно не знаю куда, но вполне возможно, что сваливают в мою комнату.

— Более вероятно, — ответил я, — что сбрасывают в Сену.

Но когда я проснулся и огляделся в комнате, то почувствовал всю браваду и малодушие найденного им образа. Это был не мусор Парижа, поскольку мусор безличен: это была жизнь Джованни, которой его вырвало.

Передо мной, по сторонам и повсюду в комнате стеной высились картонные и оклеенные кожей коробки и ящики, одни из которых были перевязаны верёвкой, другие закрыты на замок, третьи сломаны, а из самой верхней коробки сыпались вниз нотные листы скрипичной музыки. В комнате была скрипка; она лежала на столе в покоробленном и потрескавшемся футляре. Глядя на неё, нельзя было определить, была ли она оставлена здесь вчера или сто лет назад. Стол был завален пожелтевшими газетами, заставлен пустыми бутылками. На нём лежала одна коричневая сморщенная картофелина, у которой даже белые ростки давно сгнили. На полу было разлито красное вино, которое подсохло, отчего воздух в комнате стал сладким и спёртым. Но самым страшным в комнате был не этот беспорядок, а то, что если начать искать в этом завале ключи, то ясно, что их не найти ни в одном из наиболее вероятных мест. Поскольку дело здесь было не в привычках, обстоятельствах или свойствах характера; дело было в наказании и скорби. Не знаю, как я это понял, но понял сразу. Возможно, понял потому, что хотел жить. И я впился в эту комнату взглядом с тем нервным и расчётливым напряжением ума и всех сил, которое возникает, когда взвешивают неизбежную и смертельную опасность, — в глухие стены с отдалёнными архаическими влюблёнными, заключёнными в ловушку бесконечного розового сада, в вылупившиеся окна, вылупившиеся, как два огромных глаза из льда и пламени, в потолок, нависавший, как тучи, из которых иногда говорили демоны, и тщетно старавшийся затуманить и смягчить свою недоброжелательность жёлтым светом лампочки, что свисала, как болезненный и расплывчатый половой член, посередине. Под его тупоголовой стрелой, под этим растоптанным цветком света громоздился весь тот ужас, что заключал в себе душу Джованни. Я понял, почему он стремился привести меня и привёл в своё последнее убежище. Я должен был уничтожить эту комнату и дать Джованни новую, лучшую жизнь. Эта жизнь могла быть лишь моей собственной, которая, для того чтобы преобразить жизнь Джованни, должна была сначала стать неотъемлемой частью этой комнаты.

Сначала, – поскольку причины, приведшие меня в комнату Джованни, были так разнородны и имели так мало общего с его надеждами и желаниями и поскольку они уходили корнями в моё собственное отчаяние, – я придумал развлечение: разыгрывать из себя домохозяйку, когда он уходил на работу. Я выбросил обои, бутылки, фантастические горы мусора, я исследовал содержимое бесчисленных коробок и чемоданов и избавился от них. Но я не домохозяйка: мужчинам никогда с этим не справиться. И я не получал от этого настоящего удовольствия, несмотря на покорную и благодарную улыбку Джованни, твердившего мне на сотни ладов, как это прекрасно, что мы вместе и что я своей любовью, своей изобретательной заботой заслоняю его от тьмы. День за днём он старался показать мне, как он изменился, как его преобразила любовь, как он работает, поёт и лелеет меня. Я пребывал в полном замешательстве. Иногда я думал: это *и есть* твоя жизнь. Брось ей сопротивляться. Прекрати борьбу. Или же я думал о том, что счастлив: он любит меня, я в безопасности. Иногда, когда его не было рядом, я думал, что никогда больше не позволю ему дотронуться до меня. Потом, когда он дотрагивался, я думал, что это неважно, что это лишь тело, и через несколько мгновений всё будет кончено. Когда же это было кончено, я лежал в темноте, слушал его дыхание и мечтал о прикосновении рук, его рук или чьих угодно рук, тех, в чьей власти будет раздавить и сотворить меня снова.

Иногда я оставлял Джованни после нашего послеполуденного завтрака – с головой в голубом нимбе сигаретного дыма – и шёл в банк «Америкен экспресс» около Гранд-опера, где меня могли ожидать письма. Иногда, но редко, Джованни шёл со мной: он говорил, что ему невыносимо находиться в окружении такого количества американцев. Говорил, что все они на одно лицо, и я уверен, что для него это так и было. Но для меня они были разными. Я понимал, что у них есть что-то общее, что и делало их американцами, но никогда не мог определённо сказать, что именно. Я знал: что бы ни было этим качеством, я им тоже обладал. И знал, что Джованни отчасти был привязан ко мне именно поэтому. Когда ему хотелось показать, что он мной недоволен, он говорил, что я *vrai Américain*¹⁰; и наоборот, когда он был счастлив, то говорил, что во мне нет ничего от американца. Но в обоих случаях он задевал глубоко во мне нерв, который в нём не болел. И меня это обижало: обижало, что меня называют американцем (и обижало, что это обижало), поскольку это делало меня не больше того – не знаю чего; обижало, что считают *не* американцем, поскольку это делало меня как бы ничем.

Но однажды, ослепительно ярким летним днём, войдя в «Америкен экспресс», я был вынужден признать, что эта возбуждённая, такая нервозно бодрящаяся масса вдруг стала колоть мне глаза своей общностью. Дома я мог бы различить типы, обычаи, местные выговоры без малейшего усилия. Теперь же все они, если не вслушиваться очень внимательно, говорили так, будто только что приехали из Небраски. Дома я отметил бы разницу в одежде, здесь же я видел лишь сумки, фотоаппараты, ремни и шляпы, купленные, совершенно очевидно, в одном и том же универмаге. Дома я почувствовал бы какую-то неповторимую женственность в этих американках; здесь же им с жутким совершенством удавалось казаться холодными как лёд, или высушенными на солнце существами неопределённого пола, и даже старухи, казалось, не претерпели никаких метаморфоз плоти. Мужчин же отличало то, что они казались неспособными менять возраст. От них шёл запах мыла, который оберегал их, наподобие презерватива, от опасностей и обязательств, налагаемых запахами более интимного свойства. Оставшийся незапачканным, нетронутым, неизменившимся мальчик смотрел из глаз шестидесятилетнего мужчины, покупающего вместе со своей улыбающейся женой билеты в Рим. Эта жена могла бы быть его матерью, проталкивающей ему в горло лишнюю ложку овсяной каши, а Рим – тем фильмом, на который она обещала его отпустить.

¹⁰ Настоящий американец (фр.)

Но я подозревал, что то, что я видел, было лишь частью правды и, возможно, не самой важной: под этими лицами, этой одеждой, акцентом и грубостью крылись сила и скорбь, в которых они себе не признавались и о существовании которых не подозревали, – сила первооткрывателей и скорбь отлучённых.

Я встал в очередь за почтой позади двух девушек, решивших, что они хотят остаться в Европе, и надеющихся найти работу в американских представительствах в Германии. Одна из них влюбилась в молодого швейцарца, как я понял из торопливого и возбуждённого перешёптывания. Вторая призывала подругу «занять твёрдую позицию» (я так и не понял, по отношению к чему), и влюблённая девушка всё кивала головой, но скорее из растерянности, чем из согласия. У неё был вид задыхающегося и оторопелого человека, который хочет многое высказать и ничего не может сказать. «Смотри, не будь дурой», – увещевала подруга. «Да-да, я знаю», – отвечала девушка. Складывалось впечатление, что хотя она, конечно, не стремилась быть дурой, но забыла значение этого слова и теперь уже вряд ли когда-нибудь его вспомнит.

Меня ждало два письма – одно от отца, другое от Хеллы. Довольно долго она посылала мне только открытки. Я боялся, что её письмо содержит что-то важное, и не хотел с него начинать. Сначала я распечатал письмо от отца. Я читал его стоя, укрывшись от солнца рядом с беспрерывно открывающимися и закрывающимися дверьми.

«Дорогой мой шалопай, собираешься ли ты когда-нибудь вернуться домой? Не думай, что я забочусь только о себе, но я, правда, очень хочу тебя видеть. Думаю, что ты уже достаточно долго отсутствовал. И бог знает, что ты там делаешь, потому что ты пишешь слишком редко для того, чтобы я мог хотя бы догадаться. Но я предполагаю, что в один прекрасный день ты пожалеешь, что сидел там, уставившись в свой собственный пупок, пока жизнь обходила тебя стороной. Ничего хорошего для тебя там нет. Ты такой же наш, как американская свинина с бобами, хотя, может быть, ты больше так не считаешь. Не обижайся, но я скажу, что ты уже не так молод, чтобы продолжать учиться, если это действительно то, чем ты занимаешься. Тебе давно третий десяток. Я тоже не молодею, и только ты у меня на свете. Очень хочется тебя видеть.

Ты всё просишь прислать твои деньги и, наверно, думаешь, что я поступаю с тобой по-свински. Я вовсе не собираюсь морить тебя голодом, и ты прекрасно знаешь, что если ты действительно будешь в чём-то нуждаться, я первым приду тебе на помощь. Но думаю, что сослужу тебе плохую службу, если позволю истратить там то небольшое, что у тебя осталось, и вернуться домой без гроша. Какого чёрта ты там сидишь? Открой старику свои секреты, а? Ты, может, не поверишь, но когда-то я ведь тоже был молодым».

Дальше было о моей мачехе и о том, как ей хочется меня увидеть, о разных наших друзьях и о том, как у них обстоят дела. Было ясно, что моё отсутствие начинает его пугать. Он не понимал, что оно означает. Но у него явно зарождались подозрения, становившиеся с каждым днём всё неопределённое и мрачнее, хотя он не сумел бы выразить их словами, даже если бы попытался. То, что он не осмелился ни спросить, ни предложить в письме, звучало примерно так: *«Это связано с женщиной, Дэвид? Вези её домой. Мне всё равно, кто она. Привези её, и я помогу вам здесь устроиться»*. Он не решился задать этот вопрос, потому что не вынес бы отрицательного ответа. Отрицательный ответ выявил бы, до какой степени мы стали чужими. Я сложил письмо, сунул его в задний карман и стал смотреть на широкую, залитую солнцем чужеземную улицу.

Через бульвар переходил одетый в белую форму моряк, шедший той смешной качающейся походкой, какая бывает у моряков, с мечтательным и самоуверенным видом, говорящим, что с ним должно произойти многое и немедленно. Я уставился на него, не подозревая об этом, и мечтал стать им. Казалось, он был моложе,

чем я бывал когда-либо в жизни, блондинистой и красивее, что он был облачён в свою мужественность так же недвусмысленно, как в свою кожу. Он напомнил мне о доме. Возможно, это не место, а просто непреложное состояние. Я знал, как он пьёт, как ведёт себя с друзьями, и что боль и женщины ставят его в тупик. Я думал о том, был ли когда-нибудь таким мой отец, был ли я когда-нибудь таким, хотя было трудно себе представить, что у этого парня, перелетающего улицу так, будто он сам был светом дня, было хоть какое-то прошлое и вообще какое-то отношение к чему-либо. Он поравнялся со мной и, будто разгадав всё объясняющий испуг моего взгляда, посмотрел на меня с пренебрежительной похотливостью и пониманием – так, как пару часов назад он мог смотреть на отчаянно разодетую нимфоманку или шлюху, разыгрывающую из себя даму общества. Я был уверен, продлись эта встреча ещё секунду, весь этот свет и вся красота слились бы в грубую вариацию на тему: «*Слушай, малыш, я же тебя знаю*». Я почувствовал, как запылало у меня лицо, как сжалось и запрыгало сердце, пока я спешил пройти мимо него, изо всех сил стараясь смотреть каменным взглядом через его голову. Он застал меня врасплох, поскольку я думал не столько о нём, сколько о письме у меня в кармане, о Хелле и о Джованни. Я перешёл через улицу, не смея оглянуться и гадая о том, что он увидел во мне такого, что сразу вызвало в нём презрение. Я уже не был так юн, чтобы предположить, что это как-то вызвано моей походкой, манерой держать руки или голосом, который он всё равно не слышал. Причина была в другом, и мне её никогда не узнать. Я никогда не посмею её узнать. Это было бы, как смотреть прямо на солнце. Но, торопясь и уже не смея смотреть ни на кого – ни на мужчин, ни на женщин, проходивших мимо меня по широкому тротуару, – я знал, что то, что моряк увидел в моём незащищённом взгляде, было завистью и желанием: я часто видел подобное во взгляде у Жака, и это вызвало во мне ту же реакцию, что у моряка. Но даже если я всё ещё чувствовал влечение и если он прочёл его в моих глазах, это уже ничего не могло изменить, потому что само это влечение к молодым людям, на которых я был обречён теперь засматриваться, было намного страшнее, чем просто похоть.

Я прошёл дальше, чем хотелось, поскольку не решался остановиться, думая, что моряк мог всё ещё смотреть на меня. Недалеко от Сены, на улице Пирамид, я сел за столик в кафе и распечатал письмо Хеллы.

«*Mon cher, – начинала она, – Испания – моя любимая страна, mais ça n'empêche que Paris est toujours ma ville préférée*¹¹. Мне ужасно хочется снова очутиться среди всех этих сумасшедших людей, бегущих в метро, прыгающих с автобусов, лавирующих на мотоциклах, устраивающих автомобильные пробки и обожающих все эти безумные статуи во всех этих абсурдных парках. Я изнываю по этим подозрительным дамочкам на площади Согласия. Испания совсем не такая. И уж во всяком случае она не фривольна. Я действительно думаю, что могла бы остаться в Испании навсегда, если бы никогда не видела Парижа. Эта страна так прекрасна: она из камня, солнца и одиночества. Но постепенно начинаешь уставать от оливкового масла и рыбы, кастаньет и тамбуринов, что со мной и произошло. Я хочу вернуться домой, то есть домой в Париж. Смешно, но я нигде ещё не ощутила себя дома.

Ничего здесь со мной не произошло. Думаю, ты будешь этим доволен. Признаюсь, довольна и я. Испанцы – добрые люди, но, конечно, в большинстве страшно бедные. Те же, кто не беден, просто невыносимы. Я не люблю туристов, особенно англичан и американцев, страдающих дипсоманией, которым их семьи, мой дорогой, платят, чтобы держать подальше. (Хотела бы я иметь семью.) Теперь я на Майорке¹². Это было бы славное место, если бросить всех вдов пенсионного

¹¹ Мой дорогой (...) несмотря на это, Париж остаётся моим любимым городом (фр.)

¹² Или Мальорка, наиболее крупный из Балеарских островов (большая часть настоящего перевода была, кстати, выполнена именно на этом острове).

возраста в море и запретить к употреблению сухой мартини. Ничего подобного я ещё не видела! Все эти старые ведьмы, жрущие, пьющие и строящие глазки всему, что в брюках, а в особенности если ему лет восемнадцать. Я сказала себе: «Хелла, моя девочка, посмотри хорошенько. Перед тобой, вполне возможно, твоё будущее». Вся проблема в том, что я слишком себя люблю. Так что я решила позволить это делать двоим (я имею в виду любить меня) и посмотреть, что из этого выйдет. (Я страшно довольна, что приняла это решение. Надеюсь, и тебе оно по душе, мой дорогой рыцарь в латах из «Гимбела»¹³.)

Я имела глупость согласиться на унылую поездку в Севилью с английской семьёй, с которой познакомилась в Барселоне. Они обожают Испанию и хотят повести меня на корриду, которую я так пока и не видела за всё это время. Они очень симпатичные. Он – что-то вроде поэта на Би-би-си, а она – деловая и боготворящая его супруга. Действительно милые. Хотя у них есть невозможный полоумный сынок, вообразивший, что он без ума от меня. Но на мой вкус он слишком англичанин и слишком юн. Мы уезжаем завтра дней на десять. Потом они возвращаются в Англию, а я – к тебе!»

Я сложил это письмо, которого, как теперь понимаю, ждал много дней и ночей, и официант подошёл ко мне за заказом. Мне хотелось взять аперитив, но теперь, поддавшись странному праздничному настроению, я попросил виски с содовой. Попивая этот напиток, который никогда ещё не казался мне столь американским, как в тот момент, я глазел на абсурдный Париж, представлявшийся под палящим солнцем таким же невообразимо хаотичным, как пейзаж моей души. Я думал о том, что же мне делать.

Не могу сказать, что мне было страшно. Лучше сказать, что я не чувствовал никакого страха, подобно тому, как в первое мгновение, судя по рассказам, не чувствуют никакой боли те, в кого попала пуля. Напротив, я испытывал определённое облегчение. Казалось, необходимость принимать решения взял на себя кто-то другой. Я говорил себе, что мы с Джованни всегда знали, что наша идиллия не может длиться вечно. Ведь я не играл с ним в прятки: он был в курсе всего, что касается Хеллы. Он знал, что однажды она должна вернуться в Париж. Теперь она возвращается, и наша история с Джованни подходит к концу. Однажды это случается со всеми мужчинами. Я расплатился, встал и направился через Сену в сторону Монпарнаса.

Я был в приподнятом настроении, хотя, пока я шёл по бульвару Распай в направлении монпарнасских кафе, я не мог не вспомнить, что мы с Хеллой здесь шли, что мы шли здесь с Джованни. И с каждым шагом то лицо, которое настойчиво возникало передо мной, превращалось в его лицо. Я гадал о том, как он воспримет новость. Мне не верилось, что он бросится на меня с кулаками, но я боялся увидеть то, что отразится у него на лице. Я боялся той боли, которую увижу. Но больше всего я боялся даже не этого. Мой главный страх был зарыт гораздо глубже и толкал меня к Монпарнасу. Я хотел найти женщину. Любую женщину.

Но террасы перед кафе почему-то пустовали. Я медленно прошёл по обеим сторонам бульвара, глядя на столики. Я дошёл уже до «Closerie des Lilas»¹⁴ и выпил там в одиночестве. Перечитал письма. Мне хотелось сейчас же найти Джованни и сказать, что я от него ухожу, но я знал, что он ещё не открыл бар и может быть в этот час где угодно в городе. Я снова пошёл вверх по бульвару. Тут я увидел несколько проституток, но они были малопривлекательны. Я сказал себе, что достоин чего-то лучшего, чем это. Дойдя до «Select»¹⁵, я сел за столик. Я разглядывал прохожих и пил. Очень долго не появлялось ни одного знакомого лица.

¹³ Название известных в США универмагов, ныне не существующих.

¹⁴ Название известного кафе.

¹⁵ То же.

Тот, кто появился и кого я знал не слишком хорошо, была девушка по имени Сю, блондинка, довольно пышнотелая, обладавшая теми качествами, благодаря которым, несмотря на недостаточную привлекательность, каждый год выбирают Мисс «Рейнгольд»¹⁶. Её курчавые волосы были пострижены очень коротко. У неё были маленькие груди и большой зад, и чтобы показать всему миру, что ей наплевать на свою внешность и непривлекательность, она почти всегда носила облегающие джинсы. Родом она была, кажется, из Филадельфии, из очень богатой семьи. Иногда, будучи пьяной, она поносила своих родственников последними словами, а иногда, напившись в другом настроении, начинала превозносить их деловые качества и добропорядочность. Я был одновременно раздосадован и обрадован её появлением. С первого же момента я начал раздевать её в своём воображении догола.

– Присаживайся, – сказал я. – Выпей чего-нибудь.

– Рада видеть тебя *воочию*, – громко начала она, садясь и ища глазами официанта. – Ты куда-то окончательно пропал. Как дела?

Она перестала оглядываться и придвинулась ко мне с дружеской улыбкой на лице.

– У меня всё в порядке. А ты как?

– Ах, я?! Со мной никогда ничего не происходит.

Угли её хищного и в то же время уязвимого рта опустились вниз, что означало, что это было сказано и в шутку, и всерьёз.

– Я воздвигнута, как кирпичная стена.

Мы оба рассмеялись. Она внимательно посмотрела на меня.

– Говорят, ты живёшь на окраине города, недалеко от зоопарка¹⁷.

– Я нашёл там комнату служанки. Очень дешёвую.

– Ты там один?

Я не знал, слышала ли она о Джованни, и почувствовал, что у меня на лбу начинает выступать пот.

– Что-то вроде.

– Что-то вроде? Какого чёрта ты говоришь загадками? Ты живёшь с обезьяной или чем-то в этом роде?

Я ухмыльнулся.

– Да нет. Но у меня есть знакомый парень, француз, который живёт у своей подружки, но они часто ссорятся, а комната эта *его*, и когда подружка выставляет его на улицу, он обитает несколько дней со мной.

– А-а, – вздохнула она. – *Chagrin d'amour!*¹⁸

– Но он проводит время более чем приятно. И ему это дело нравится. А тебе? Я взглянул на неё.

– Кирпичные стены непробиваемы.

К нам подошёл официант.

– Может, – начал я наглеть, – всё зависит от тарана.

– Чем ты меня угостишь? – спросила она.

– А чем ты предпочитаешь?

Мы оба разулыбались. Официант стоял над нами, являя своим видом несомненную *joie de vivre*¹⁹.

– Я бы выпила, – начала она, заморгав своими узкими голубыми глазами, – *un ricard*²⁰. Только с целой горой льда.

¹⁶ Уже не существующая марка американского пива, символом которого была девушка с «типично» германской внешностью, т.е. пышная, румяная блондинка.

¹⁷ Парижский зоопарк расположен в Венсенском лесу.

¹⁸ Муки любви (фр.).

¹⁹ Радость жизни (фр.)

²⁰ Крепкий анисовый ликёр, который пьют, разбавляя водой, отчего он приобретает матовый оттенок.

– Deux ricards, – сказал я официанту, – avec beaucoup de la glace.

– Oui, monsieur²¹.

Я был уверен, что он презирает нас обоих. Я подумал о Джованни, о том, сколько раз это «oui, monsieur» слетает с его губ за вечер. Вместе с этой мимолётной мыслью пришла другая, такая же мимолётная: иное ощущение Джованни, с его внутренней жизнью и болью, всем тем, что бурлило в нём, как потоп, когда мы лежали ночью рядом.

– Ну а дальше, – сказал я.

– Дальше?

Она сделала большие невинные глаза.

– А на чём мы остановились?

Она старалась казаться кокетливой и старалась казаться недогадливой. Я чувствовал, что совершаю что-то очень жестокое. Но я не мог остановиться.

– Мы говорили о кирпичных стенах и о том, чем их можно пробить.

– Я никогда не подозревала, – сказала она с жеманной улыбкой, – что тебя интересуют кирпичные стены.

– Ты ещё многого во мне не подозреваешь.

Официант принёс заказанное.

– А знаешь ли ты, как приятно совершать открытия?

Она сидела, недовольно уставившись в свою рюмку.

– Честно говоря, – сказала она, повернувшись и взглянув мне в глаза, – нет.

– Ты слишком молода, чтобы это знать. *Всё* должно быть открытием.

Какое-то время она хранила молчание, потягивая свой напиток.

– Я уже сделала, – сказала она наконец, – все открытия, на которые у меня хватило сил.

А я наблюдал за тем, как движутся у неё бёдра в узких джинсах.

– Не можешь же ты вечно оставаться каменной стеной.

– Я не понимаю, почему бы и нет, – ответила она. – И я не знаю, как ею не быть.

– Детка, – сказал я, – у меня есть к тебе предложение.

Она снова взяла рюмку и отпила, уставившись прямо перед собой на бульвар.

– И что за предложение?

– Пригласи меня выпить. Chez toi²².

– Не думаю, – сказала она, поворачиваясь ко мне, – что у меня что-то осталось.

– Мы прихватим что-нибудь по дороге.

Она разглядывала меня довольно долго. Я старался не опустить глаза.

– Думаю, что мне лучше этого не делать, – произнесла она наконец.

– Почему же?

Она сделала какое-то лёгкое, беспомощное движение на своём плетёном стуле.

– Не знаю. Я не знаю, чего ты хочешь.

Я засмеялся.

– Если пригласишь меня к себе выпить, я тебе всё покажу.

– Ты просто невыносим, – сказала она тем голосом, в котором, как и во взгляде, впервые проявилось что-то искреннее.

– Думаю, что это *ты* невыносима.

Я посмотрел на неё с улыбкой, в которой, как я надеялся, было что-то одновременно ребячливое и настойчивое.

– Не знаю, что я такого невозможного сказал. Я выложил все свои карты. А ты свои прячешь. Не знаю, почему мужчина должен казаться тебе невыносимым, если он объявляет, что ты его привлекаешь.

²¹ Два рикара, и побольше льда. Да, мосьё (фр.)

²² К себе (фр.)

– Брось, пожалуйста, – сказала она и допила свою рюмку. – Я уверена, что это всё от жары.

– Жара не имеет к этому никакого отношения.

Она ничего не ответила.

– Всё, что ты должна сделать, – сказал я в отчаянии, – это решить, выпьем ли мы ещё здесь или же у тебя.

Она неожиданно щёлкнула пальцами, но это не придало ей беззаботного вида.

– Пошли, – сказала она. – Уверена, что пожалею об этом. Но тебе действительно придётся что-то купить. У меня в доме нет *ничего*. И таким образом, – добавила она после паузы, – я выиграю от этого хоть что-нибудь.

И тогда пришёл мой черёд испугаться. Чтобы не смотреть ей в глаза, я устроил целое представление с вызыванием официанта. Но он подошёл с той же неизбежностью, что и всегда. Я расплатился, мы встали и зашагали в направлении улицы Севр, где Сю снимала маленькую квартирку.

Эта квартирка была тёмной и заставленной мебелью.

– Здесь нет ничего моего, – сказала она. – Всё это вещи хозяйки, дамы определённого возраста, которая в настоящий момент лечит нервы в Монте-Карло.

Она тоже очень нервничала, и я подумал, что её взволнованность очень поможет мне вначале. Я поставил купленную фляжку коньяка на мраморный столик и обнял Сю. Почему-то я напряжённо думал о том, что уже восьмой час, что скоро солнце сядет за Сену, что ночная жизнь Парижа вот-вот закипит и что Джованни уже должен быть на работе.

Она была очень толстой и судорожно текучей – текучей, но не способной разлиться. Я ощущал её негибкость, напряжённость и глубокое недоверие, созданное слишком многими мужчинами вроде меня и теперь уже безнадежно застарелое. То, что мы собирались делать, будет не так уж привлекательно.

И, будто почувствовав это, она отошла от меня.

– Давай выпьем, – сказала она. – Если, конечно, ты не очень спешишь. Я постараюсь не задерживать тебя больше, чем абсолютно необходимо.

Она улыбнулась, улыбнулся и я. В этот момент мы стали ближе всего друг к другу, как два вора.

– Давай выпьем, и не раз, – ответил я.

– Всё-таки *не так* уж много раз, – подхватила она и опять разулыбалась фальшиво и заманчиво, как забытая кинозвезда, возникшая перед безжалостными объективами из долгого небытия.

Она взяла коньяк и исчезла в крошечной кухне.

– Располагайся поудобнее, – крикнула она оттуда. – Сними ботинки. Сними носки. Поройся в книгах. Я часто думаю, что бы я делала, если бы на свете не было книг.

Сняв ботинки, я развалился на диване. Я старался ни о чём не думать. Но я думал о том, что то, что я делал с Джованни, ни в коем случае не было более аморально, чем то, что собираюсь делать сейчас с Сю.

Она вернулась с двумя большими коньячными рюмками, под села вплотную ко мне, и мы чокнулись. Пока мы пили, она рассматривала меня, потом я коснулся её груди. Губы у неё приоткрылись, и она поставила свою рюмку и с невероятной неуклюжестью растянулась рядом со мной. Это было движением полного отчаяния, и я понимал, что она отдаётся не мне, а тому любовнику, который никогда не придёт.

А я – я думал о многом, спаренный с Сю в этой темноте. Думал о том, приняла ли она какие-то предосторожности, чтобы не забеременеть. И эта мысль о ребёнке от нашей с Сю связи, об опасности пойматься таким образом – во время самого акта ради моего, так сказать, спасения – чуть не заставила меня расхохотаться. Я

думал о том, не были ли её джинсы брошены на сигарету, которую она перед этим курила. Думал о том, нет ли у кого-нибудь ключей от её квартиры, не слышно ли нас через тонкие стены, и том, как мы будем ненавидеть друг друга через несколько мгновений. Я относился к тому, что мы делали с Сю, как к какой-то работе, которую необходимо выполнить образцово. Где-то, в самой глубине души, я понимал, что совершаю по отношению к ней что-то ужасное, и вопросом чести для меня стало не сделать это слишком очевидным. В течение этого чудовищного акта я пытался убедить себя, что презираю не её, *не её* плоть, и что не ей я не смогу посмотреть в глаза, когда мы снова примем вертикальное положение. И ещё в глубине души я отдавал себе отчёт в том, что все мои страхи были напрасны, лишены основания и на самом деле ложны: с каждой минутой становилось очевиднее, что то, чего я боялся, не имело никакого отношения к моему телу. Сю не была Хеллой и не умерила моего страха перед её возвращением, а, наоборот, увеличила его, сделала его более реальным. В то же время я сознавал, что всё у меня с Сю получалось даже слишком складно, и старался не презирать её за то, что она испытывает так мало по сравнению с тем, кто на ней трудится. Я совершил путешествие через серию криков Сю, через барабанную дробь её кулаков по моей спине, и по некоторым движениям её бёдер и ног рассудил, как скоро смогу освободиться. Потом я сказал себе: «Уже вот-вот». Её стоны становились всё громче и настойчивей; я отчётливо чувствовал, как у меня на пояснице собирается холодный пот, и говорил про себя: «Скорее бы уж, Господи, она получила своё, чтобы наконец отвязаться»; и дело пошло к концу, и я уже ненавидел её и себя; потом всё было кончено, и стены тёмной крошечной комнаты вдруг отвалились от меня.

Она долго оставалась без движения. Я чувствовал ночь за стенами, и она влекла меня. Наконец я встал и закурил.

– Наверное, – сказала она, – лучше допьём.

Она села и зажгла лампу, стоявшую рядом с кроватью. Я боялся этого мгновения. Но она ничего не прочла в моём взгляде и уставилась на меня так, будто я вернулся на белом коне из долгого странствия и остановился прямо под окном её темницы. Она подняла рюмку.

– *A la vôtre*, – сказал я.

– *A la vôtre*, – повторила она и хихикнула. – *A la tienne, chéri!*²³

Она нагнулась и поцеловала меня в губы. Тут она почувствовала что-то, отстранилась и, уставившись на меня ещё не совсем сузившимися глазами, произнесла без нажима:

– Думаешь, мы повторим когда-нибудь?

– Разумеется, почему бы и нет? – ответил я, пытаясь засмеяться. – Все приспособления остаются при нас.

Она промолчала. Потом:

– Не хочешь поужинать со мной сегодня?

– Мне очень жаль, – сказал я, – действительно жаль, Сю, но я уже договорился о встрече.

– А-а. Может быть, завтра?

– Слушай, Сю, я терпеть не могу договариваться о встречах заранее. Лучше я объявлюсь неожиданно.

Она допила коньяк.

– Сомневаюсь, – сказала она, поднялась и отошла от меня. – Я только накину что-нибудь и спущусь с тобой.

Она вышла, и я услышал, как течёт вода. Я сел, всё ещё голый, но в носках, и налил себе коньяка. Теперь мне уже было страшно выходить в эту ночь, которая только что влекла меня.

²³ Ваше здоровье! (...) Твоё здоровье, мой милый! (фр.)

Когда она вернулась, на ней было платье, настоящие туфли, а волосы были немного взбиты. Должен признаться, что это шло ей больше, она больше походила на девушку, даже на девочку-старшеклассницу. Я встал, разглядывая её и одеваясь.

– Тебе это очень идёт, – сказал я.

Было видно, что она многое хотела сказать, но заставила себя промолчать. Мне стало не по себе от той борьбы, что отразилась у неё на лице, – мне было стыдно.

– Может, когда-нибудь тебе снова станет одиноко, – сказала она наконец. – Думаю, что не буду возражать, если ты снова найдёшь меня.

И она улыбнулась самой странной из всех виденных мною улыбок – болезненной, мстительной и униженной, но тут же неумело попыталась смягчить эту гримасу отчаянной девичьей весёлостью – такой же негибкой, как скелет под её дряблой плотью. Если судьба позволит ей когда-нибудь добраться до меня, она убьёт меня одной этой улыбкой.

– Держи в окне огонёк, – сказал я.

Она открыла дверь, и мы вышли на улицу.

3

Я расстался с ней у ближайшего угла, промямлив какое-то детское оправдание, и увидел издали, как её вялая фигура пересекает бульвар, направляясь к кафе.

Я не знал, что делать и куда идти. Вскоре я оказался у Сены, и ноги медленно понесли меня домой.

В этот момент, пожалуй, впервые в жизни смерть представилась мне реальностью. Я думал о тех, кто до меня смотрел на эту реку и отправился спать на её дно. Старался их понять. Старался понять, как они сделали это – физически. Мысль о самоубийстве приходила мне в голову, когда я был гораздо моложе, как, наверно, это бывает у каждого; хотя тогда это было из мести, из желания объявить всему миру, как ужасно я в нём страдал. Но в молчании этого вечера, в котором я брёл, не было ничего общего с той бурей, с тем далёким мальчиком. Я просто думал о мёртвых, потому что их время кончилось, а я не знал, как прожить своё.

Этот город, Париж, который я так любил, был совершенно безмолвен. На улицах почти никого не было, хотя вечер ещё только начинался. И всё-таки подо мной – вдоль реки, под мостами, в тени набережных – я почти слышал общий судорожный вздох любовников и бродяг, спавших, целовавшихся, спаривавшихся, глазевших в наступающую ночь. За стенами, мимо которых я шёл, французская нация убирала со стола посуду, укладывала маленьких Жан-Пьеров и Мари в кровать, хмурилась, думая об извечно недостающих су, о покупках, о церкви и неустойчивости в государстве. Эти стены, эти закрытые ставни заключали и оберегали их от темноты и протяжного стога долгой ночи. Лет через десять эти маленькие Жан-Пьеры и Мари могут оказаться над рекой и задуматься, подобно мне, как же их угораздило вывалиться за спасительную перегордку. Какой долгий путь, думалось мне, я прошёл лишь для того, чтобы погибнуть.

А ведь правда, вспоминал я, поворачивая от реки к длинной улице, на которой мы жили, – правда, что мне хотелось иметь детей. И мне снова захотелось оказаться там, внутри, где светло и безопасно, где моя мужественность не вызывала бы сомнений, где я смотрел бы на жену, укладывающую спать моих детей. Мне хотелось такую же кровать и те же объятия ночью, захотелось проснуться утром, зная, где я нахожусь. Мне захотелось женщину, которая была бы для меня почвой под ногами – твёрдой, как сама земля, дающей мне силы к вечному обновлению. Так уже было однажды, было почти так. Я ещё мог всё вернуть, сделать реальностью. Нужно лишь краткое, резкое усилие для того, чтобы снова стать самим собой.

Идя по коридору, я увидел свет под нашей дверью. До того, как я вставил ключ в замочную скважину, дверь открылась изнутри. Передо мной стоял Джованни

с падающими на глаза волосами, смеющийся. В руке у него была рюмка с коньяком. Вначале меня поразило то, что казалось весёлым оживлением на его лице. Потом я увидел, что это было не веселье, а истерика и отчаяние.

Я начал спрашивать, что он делает дома, но он втянул меня в комнату, крепко обняв за шею одной рукой. Его била дрожь.

– Где ты был?

Я посмотрел на его лицо, слегка отстраняясь от него.

– Я искал тебя повсюду.

– Ты не пошёл на работу? – спросил я.

– Нет. Выпей лучше. Я купил бутылку коньяка, чтобы отпраздновать своё освобождение.

Он налил мне. Я чувствовал, что не в состоянии шевельнуться. Он подошёл и вложил рюмку мне в руку.

– Джованни, что случилось?

Он не ответил. Неожиданно он присел на край кровати, согнулся. Тогда я увидел, что он в бешенстве.

– Ils sont sales, les gens, tu sais?²⁴

Он взглянул на меня снизу. Глаза у него были полны слёз.

– Они просто грязные, все они. Низкие, дешёвые и грязные.

Он поднял руку и потянул меня сесть рядом с ним на пол.

– Все, кроме тебя. Tous sauf toi²⁵.

Он держал мою голову в своих руках. Никогда ещё нежность не вызывала во мне такого ужаса.

– Ne me laisse pas tomber, je t'en prie²⁶, – сказал он и поцеловал меня в губы с какой-то настойчивой лаской.

Ещё не случалось, чтобы его прикосновение не вызвало во мне желания. Но теперь меня начало мутить от его горячего, сладкого дыхания. Я отстранился со всей возможной мягкостью и отпил коньяка.

– Джованни, скажи мне, пожалуйста, что случилось. В чём дело?

– Он уволил меня, Гийом. Il m'a mis à la porte²⁷.

Он захохотал, вскочил и начал ходить взад и вперёд по крошечной комнате.

– Он сказал, чтобы я больше не показывался в его баре. Сказал, что я разбойник, вор и грязный уличный мальчишка и что я бегал за ним только для того (я бегал за *ним*), чтобы когда-нибудь ночью ограбить его. Après l'amour. Merde!²⁸

Он снова захохотал. Я не мог выговорить слова и чувствовал, что стены комнаты рушатся на меня.

Джованни стоял у замазанных белым окон, спиной ко мне.

– Он сказал всё это в присутствии многих людей, внизу, прямо в баре. Дождался, пока соберётся народ. Мне хотелось убить его, всех их убить.

Он вернулся в центр комнаты и подлил себе коньяка. Выпил залпом, потом вдруг размахнулся и швырнул со всей силы рюмку о стену. Рюмка звякнула и рассыпалась на тысячи осколков по всей нашей постели, по всему полу. Я по-прежнему не мог шевельнуться. Потом, с таким чувством, будто переставляю ноги в воде и в то же время видя свой рывок со стороны, я схватил его за плечи. Он разрыдался. Я прижал его к себе. И пока его страх, как соль его пота, проникал в меня, пока я чувствовал, что сердце у меня готово разорваться, я поймал себя на невольном, недоумевающем презрении: как мог я считать его сильным?

²⁴ Знаешь, люди такие грязные (фр.)

²⁵ Все, кроме тебя (фр.)

²⁶ Не бросай меня, прошу тебя (фр.)

²⁷ Он выставил меня за дверь (фр.)

²⁸ Переспав с ним. Дерьмо! (фр.)

Он отстранился от меня и сел, прислонившись спиной к ободранной стене. Я сел напротив него.

– Я пришёл сегодня в обычное время, – сказал он, – и был в отличном настроении. Привёл всё в баре в порядок, как обычно, выпил чего-то и перекусил. Тогда появился он, и я сразу увидел, что он в опасном настроении. Возможно, его только что унижил отказом какой-то мальчишка. Смешно, что когда Гийом в опасном расположении духа, он становится очень почтительным. Когда с ним случается что-то унижительное, показывающее ему хотя бы на мгновение, какой он мерзкий и какой одинокий, он сразу вспоминает, что принадлежит к одной из благороднейших и древнейших французских фамилий. А может, именно тогда он вспоминает, что его имя исчезнет вместе с ним. Тогда он должен немедленно сделать что-то такое, что заставит его забыть о пережитом. Должен устроить страшный шум или заполучить уж *очень* милovidного мальчика, или напиться, или поссориться, или рассматривать свои грязные фотографии.

Он замолчал, встал и снова принялся ходить по комнате.

– Не знаю, что с ним случилось сегодня, но с момента своего появления он принял очень деловой вид, стараясь найти какой-то промах в моей работе. Но всё было в порядке, и он поднялся к себе. Через некоторое время он вызвал меня. Я ненавижу подниматься в его маленькое *piéd-à-terre*²⁹, поскольку это всегда означает, что он устроит сцену. Но делать было нечего. Он был в халате и сильно надушен. Не знаю почему, но как только я его увидел, я пришёл в ярость. Он посмотрел на меня так, будто был какой-то неотразимой кокеткой (а ведь он урод, урод с телом, как из скисшего молока!), и спросил, как дела у тебя. Я был немного озадачен, поскольку он никогда о тебе не упоминал, и сказал, что у тебя всё хорошо. Он спросил, живём ли мы всё ещё вместе. Думаю, что нужно было солгать, но я не видел никакой причины врать этой гнусной старой фее, поэтому ответил: «*Bien sûr*». Я старался держаться спокойно. Затем он принялся задавать мне жуткие вопросы, и мне стало противно видеть его и слушать. Я подумал, что надо поскорее от него избавиться, и ответил, что такое никогда не спрашивает ни исповедник, ни врач и что ему должно быть стыдно. Наверно, он и ждал, когда я скажу что-то в этом роде, потому что сразу разозлился и напомнил, что взял меня с улицы *et il a fait ceci et il a fait cela*³⁰, всё для меня, потому что он думал, что я очарователен, *parce-qu'il m'adorait*³¹, и так далее, и тому подобное, и что во мне нет ни признательности, ни благодарства. Должно быть, я очень плохо справился с ситуацией, потому что ещё несколько месяцев назад я бы заставил его визжать, заставил целовать себе ноги, *je te jure*³², но мне не хотелось этого делать, не хотелось пачкаться об него. Я старался его вразумить. Сказал, что никогда ему не лгал и всегда говорил, что не буду его любовником, но что он принял меня на работу несмотря на это. Сказал, что работаю очень добросовестно, что во всём честен перед ним и что это не моя вина, если – если я не чувствую по отношению к нему того, что он испытывает по отношению ко мне. Тогда он напомнил мне тот раз – единственный раз, когда я не хотел говорить «да», но был так слаб от голода, что едва сдерживал рвоту. Я всё ещё старался сохранять спокойствие и избежать скандала. Поэтому сказал: «*Mais à ce moment là je n'avais pas un copain*. А теперь я не один, *je suis avec un gars maintenant*³³». Я надеялся, что на него это подействует, потому что он обожает романтические истории и клятвы верности. Да, но не на этот раз. Он рассмеялся и сказал ещё что-то ужасное про тебя. Сказал, что ты в конце концов просто парень из Америки, решивший делать во Франции

²⁹ Пристанище, временное жилище (фр.)

³⁰ И сделал то-то и то-то (фр.)

³¹ Потому что он обожал меня (фр.)

³² Клянусь тебе (фр.)

³³ «Но тогда у меня не было друга (...) теперь я живу с парнем» (фр.)

то, чего не смел делать дома, и что ты очень скоро от меня уйдёшь. Тогда я вышел наконец из себя и сказал, что получаю от него жалование не для того, чтобы выслушивать этот бред, и в этот момент услышал, как кто-то вошёл в бар, повернулся, не сказав больше ни слова, и пошёл вниз.

Он остановился передо мной.

– Можешь дать мне выпить? – спросил он с улыбкой. – Я больше не буду бить рюмок.

Я протянул ему свою рюмку. Он выпил залпом и вернул её, внимательно изучая моё лицо.

– Не бойся, – сказал он. – Всё у нас образуется. Я не сомневаюсь.

Глаза у него потемнели, и он снова посмотрел в сторону окон.

– Так вот, – продолжил он, – я надеялся, что всё на этом кончится, работал в баре и старался не думать о Гийоме и о том, что он думает или делает там наверху. Это было время аперитивов, понимаешь, и я был очень занят. Вдруг я услышал, как хлопнула дверь наверху, и в ту же секунду понял, что что-то случится, что-то страшное. Он спустился в бар, теперь уже одетый, как парижский бизнесмен, и подошёл прямо ко мне. Он не сказал никому ни слова, был бледен и зол и, естественно, привлёк к себе внимание. Все ждали, что он будет делать. Честно говоря, я думал, что он ударит меня, или, что он спянит и сжимает в кармане пистолет. Поэтому у меня на лице, должно быть, отразился испуг, и это только ухудшило положение. Он зашёл за стойку и начал кричать, что я *tapette*³⁴ и вор, чтобы я немедленно убирался или он вызовет полицию и засадит меня в тюрьму. Я был так ошарашен, что не мог произнести ни слова, а он кричал всё громче и громче, и люди начинали прислушиваться; и вдруг, *mon cher*, я почувствовал, что падаю, падаю с какой-то огромной высоты. Довольно долго я не испытывал гнева, лишь ощущал, как слёзы закипают во мне, как на огне. Я не мог перевести дыхание, не мог *поверить*, что он действительно так поступает со мной. Я только твердил: «Что я сделал? Что я *такого* сделал?» Но он не отвечал, и вдруг прокричал так, будто выстрелил: «*Mais tu le sais, salaud!*³⁵ Сам прекрасно знаешь!» Никто не знал, что он имеет в виду, но это была та же сцена, которую он устроил мне в фойе кинотеатра, помнишь? Все верили, что он прав и что я виноват, и что я совершил что-то ужасное. И он подошёл к кассе и вынул какие-то деньги (но я-то знал, что он знает, что в *этот* час там мало денег), сунул их мне, говоря: «Бери! Лучше самому отдать, чем позволить тебе обворовывать меня ночью! А теперь убирайся!»

О, если бы ты видел эти лица в баре, такие сочувствующие и трагичные, показывающие, что *теперь-то* им всё стало ясно, что они всегда так и думали и страшно рады, что никогда не имели со мной ничего общего. А!? *Les enculés!* Мерзкие сукины дети! *Les gonzesses!*³⁶

Он снова разрыдался, но на этот раз от ярости.

– И тогда, наконец, я дал ему в морду, меня тут же схватило множество рук, и трудно понять, что произошло потом, но в конце концов я оказался на улице с пачкой мятых ассигнаций в руке, под взглядом всех этих зевак. Я не знал, что мне делать: страшно не хотелось оставить это так, но я понимал, что если что-то ещё произойдёт, приедет полиция, и Гийом сделает так, что меня посадят. Но он мне ещё попадётся, клянусь, и уж тогда!..

Он умолк и сел, уставившись в стену. Потом повернулся ко мне. Долго разглядывал меня в молчании.

– Если бы тебя здесь не было, – произнёс он очень медленно, – Джованни пришёл бы конец.

³⁴ Шлюха (фр.)

³⁵ Ты же знаешь, сволочь! (фр.)

³⁶ Давалки! (...) Бабы! (фр.)

Я встал.

– Не валяй дурака. Это не такая уж трагедия... Гийом – шваль. Как все они там. Но это ведь не самое страшное, что было у тебя в жизни, а?

– Может, от всего плохого, что случается, человек слабеет, – сказал Джованни так, будто не слышал меня, – так что сопротивляется всё меньше и меньше.

Он взглянул на меня снизу.

– Нет. Самое худшее случилось со мной давно, и моя жизнь с тех пор была мучением. Ты ведь не уйдёшь от меня, нет?

Я засмеялся.

– Нет, конечно.

Я начал стряхивать осколки стекла с одеяла на пол.

– Не знаю, что сделаю, если ты уйдёшь.

У него в голосе впервые прозвучала нота угрозы, или мне это показалось.

– Я так долго оставался один, что не знаю, смогу ли ещё раз пережить такое.

– Теперь ты не один, – сказал я и добавил поспешно, потому что не выдержал бы в этот момент его прикосновения: – Хочешь погулять? Давай уйдём куда-нибудь из этой комнаты.

Я улыбнулся и грубовато толкнул его в шею, как делают в регби. Мы сцепились на мгновение. Потом я оттолкнул его.

– Я угощаю.

– А ты принесёшь меня потом домой? – спросил он.

– Да. Я опять принесу тебя домой.

– Je t'aime, tu sais?

– Je le sais, mon vieux³⁷.

Он подошёл к раковине и умыл лицо. Потом причесался. Я смотрел на него. Он улыбнулся мне из зеркала, став вдруг очень красивым и счастливым. И таким молодым... А я никогда в жизни ещё не чувствовал себя таким беспомощным и таким старым.

– У нас ведь всё будет хорошо! – крикнул он. – N'est-ce pas?³⁸

– Разумеется.

Он отвернулся от зеркала, став снова серьёзным.

– Но знаешь, мне трудно сказать, когда я снова найду работу. А у нас почти не осталось денег. У тебя есть что-нибудь? Ничего не пришло сегодня из Нью-Йорка?

– Из Нью-Йорка сегодня ничего не было, – ответил я спокойно, – но у меня есть кое-что в кармане.

Я вынул всё, что у меня было, и положил на стол.

– Почти четыре тысячи франков.

– А у меня...

Он начал рыться в карманах, выбрасывая на пол ассигнации и мелочь. Потом пожал плечами и улыбнулся мне своей невероятно милой, беспомощной и трогательной улыбкой.

– Je m'excuse³⁹. Я немного спятил.

Он встал на колени, собрал всё и положил на стол рядом с моими деньгами. Ассигнации примерно на три тысячи франков необходимо было подклеить, и мы отложили их на будущее. Всё, что осталось на столе, составило примерно девять тысяч.

– Мы не миллионеры, – сказал Джованни мрачно, – но завтра ещё не умрём с голоду.

Мне почему-то не хотелось видеть его озабоченным. Наблюдать это выражение у него на лице было выше моих сил.

³⁷ Я люблю тебя, знаешь? Знаю, старина (фр.)

³⁸ Не так ли? (фр.)

³⁹ Прости меня (фр.)

– Завтра я снова напишу отцу, – сказал я. – Навру ему что-нибудь, что-нибудь такое, что *заставит* его прислать мне денег.

Я подошёл к нему так, будто меня что-то тянуло, положил руки ему на плечи и заставил себя посмотреть ему в глаза. Я улыбнулся и ясно почувствовал в это мгновение, что во мне сошлись Иуда и Спаситель.

– Не бойся. Ни о чём не беспокойся.

И ещё я почувствовал, стоя к нему так близко, страстно желая уберечь его от страха, что решение – в который раз! – уже было принято за меня. Ни отец, ни Хелла не существовали для меня в этот момент. Но даже ощущение этого не было так реально, как отчаянное понимание того, что ничто не реально для меня и ничто никогда уже не будет, если только не считать реальностью само это чувство падения.

Эта ночь уже пошла на убыль, и с каждой секундой, отсчитываемой часами, кровь начинает закипать и пузыриться у меня в сердце, и я знаю, что что бы я ни делал, страшная боль вот-вот обрушится на меня в этом доме – такая же голая и серебристая, как тот огромный нож, под который ляжет сейчас Джованни. Мои палачи здесь, со мной, ходят по пятам туда-сюда, моют, укладывают вещи, пьют из моей бутылки. Они повсюду – куда ни повернись. Стены, окна, зеркала, вода, ночь снаружи – всё полно ими. Я могу кричать о помощи, как может кричать сейчас Джованни, лёжа в своей камере. Никто не услышит. Я мог бы попытаться всё объяснить, как уже пытался Джованни. Мог бы просить о прощении – если бы был в состоянии назвать и понять своё преступление, если бы где-то существовало что-то или кто-то, в чьей власти было бы прощать.

Или нет. Было бы легче, если бы я мог почувствовать себя виновным. Но там, где кончается невинность, кончается и вина.

Что бы я ни думал теперь об этом, но должен признаться: я любил его. Не думаю, что смогу когда-нибудь полюбить кого-то так же. И ещё – было бы много легче, если бы я не знал, что то, что Джованни чувствует, когда упадёт нож, – если почувствует что-либо, – будет облегчение.

Я брожу взад-вперёд по этому дому – взад-вперёд по всему дому. Я думаю о тюрьме. Задолго до того, как я встретил Джованни, я видел на вечеринке у Жака человека, знаменитого тем, что провёл половину своей жизни в тюрьме. Он написал об этом книгу, которая не понравилась тюремным властям, и получил за неё литературную премию⁴⁰. Но жизнь этого человека была кончена. Он любил говорить, что, поскольку жить в тюрьме означает просто не жить, смертная казнь – это единственный милосердный приговор, который может вынести суд. Помню, я подумал тогда, что на самом деле он никогда не выходил из тюрьмы, она была для него единственной реальностью, и он не мог говорить ни о чём другом. Все его движения, даже прикуривание сигареты, были вороваты, и на чём бы он ни остановил взгляд – там вставала стена. Лицо его, цвет кожи вызывали ощущение темноты и сырости, и я чувствовал, что если разрезать его плоть, она окажется плотью гриба. Детально, любовно и ностальгически он описывал нам решётки окон, решётки дверей, смотровые глазки, стоящих в освещённых концах коридора надзирателей. В тюрьме три яруса, и всё в ней цвета ружейной стали. Всё в ней тёмное и холодное, кроме тех пятен света, в которых стоят тюремщики. Сам воздух постоянно напоминает об ударах кулаков по металлу, о возможности глухо и гулко барабанить – бум-бум, как о возможности спянуть. Надзиратели передвигаются, ворчат, меряют шагами коридоры; их шаги вверх и вниз по лестницам гулко отзываются. Они одеты в чёрное, имеют при себе пистолеты, они пребывают в вечном страхе и едва осмеливаются проявить доброту. Тремя ярусами ниже, в

⁴⁰ Имеется в виду французский писатель Жан Жене (1910-1984)

центре тюрьмы бьётся её большое, холодное сердце, и там всегда всё в движении: заключённые из числа доверенных что-то развозят из кабинета в кабинет, выслуживаясь перед надзирателями ради пачки сигарет, выпивки и половых утех. Когда тюрьму наполняет ночь, отовсюду доносится шёпот, и каждый почему-то знает, что смерть войдёт сегодня в тюремный двор под утро. На заре, – до того как доверенные начнут развозить по коридорам мусорные баки с едой, – три человека в чёрном бесшумно пройдут по коридору, и один из них повернёт ключ в замочной скважине. Они крепко схватят кого-то и быстро поведут его по коридорам, сначала к священнику, потом – к той двери, что откроется лишь для него и позволит ему, возможно, мельком увидеть свет утра, перед тем, как его повалят на доску лицом вниз и нож сорвётся с высоты ему на шею.

Я думаю о величине камеры Джованни. Думаю, больше ли она его комнаты. Я знаю, что она холоднее. Думаю о том, один ли он или с двумя-тремя сокамерниками; может, он играет в карты или курит, разговаривает или пишет письмо (кому ему писать?), или ходит взад-вперёд. Думаю о том, знает ли он, что наступающее утро – последнее в его жизни. (Заключённый обычно не знает; знает судья и сообщает родственникам и близким, но не приговорённому.) Думаю о том, заботит ли его это. Но знает или нет, заботится или нет, но всё равно боится. Есть ли кто в камере или нет, он всё равно один. Стараюсь представить его себе, стоящего ко мне спиной у тюремного окошка. Оттуда ему, возможно, виден противоположный корпус; но может, если он встанет на цыпочки, то увидит через высокую стену кусочек улицы. Не знаю, постригли его или у него длинные волосы, но думаю, что должны были постричь. Думаю, побрит ли он. И тогда тысячи мелочей, свидетельствующих о нашей близости и ставших её плодом, переполняют моё сознание. Я думаю, например, о том, не хочет ли он в уборную, смог ли он нормально поесть сегодня, потный он или сухой. Думаю о том, занимался ли с ним кто-нибудь любовью в тюрьме. И тогда меня начинает трясти, что-то трясёт меня сильно и сухо, как какую-то падаль в пустыне, и я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы кто-то сжимал сегодня Джованни в своих объятиях. Хотелось бы, чтобы кто-то был рядом со мной. Я любил бы кого угодно всю эту долгую ночь, всю долгую ночь я вершил бы любовь с Джованни.

После того, как Джованни потерял работу, мы бездельничали целыми днями – бездельничали, как бездельничает скалолаз над пропастью, повиснув на потрескивающей верёвке. Я не написал отцу – откладывал со дня на день. Это было бы слишком решающим шагом. Я знал, что ему солгать, и знал, что эта ложь подействует, – только не знал, была ли это ложь. День за днём мы кисли в этой комнате, и Джованни снова занялся ремонтом. Ему по какой-то странной причине очень хотелось сделать книжные полки в стене, он расковырял стену до кирпичей и уже начал скалывать их. Это было нелёгкое занятие и совершенно безумное, но у меня не было ни сил, ни желания остановить его. В каком-то смысле он делал это для меня, чтобы доказать свою любовь. Ему хотелось, чтобы я остался с ним в этой комнате. Возможно, он пытался собственными силами удержать надвигающиеся стены, стараясь при этом их не обвалить.

Теперь – теперь, разумеется, мне кажется в этих днях прекрасным то, что было тогда такой пыткой. Тогда я чувствовал, что Джованни тянет меня вместе с собой на дно моря. Он не мог найти работу. Я понимал, что он особенно и не ищет, не может этого делать. Его изранили так жестоко, что взгляды посторонних людей въедались в него, как соль. Он был не в состоянии долго обходиться без меня. Я был единственным человеком на холодной, зелёной Божьей земле, кому до него было дело, кто понимал его слова и его молчание, чувствовал его руки и не держал ножа за спиной. Вся тяжесть его спасения лежала на мне, и мне это было невыносимо.

А деньги таяли – нет, исчезали, а не таяли – очень быстро. Джованни старался скрыть тревогу в голосе, когда спрашивал меня каждое утро:

- Ты пойдёшь сегодня в «Америкен экспресс»?
- Конечно.
- Думаешь, деньги уже пришли?
- Не знаю.
- Что они там делают с твоими деньгами, в Нью-Йорке?

И всё-таки, всё-таки я не мог предпринять что-либо. Я отправился к Жаку и снова занял у него десять тысяч франков. Я сказал, что мы с Джованни переживаем трудный период, но что скоро всё наладится.

- Это очень мило с его стороны, – сказал Джованни.
- Он может иногда быть очень хорошим человеком.

Мы сидели на террасе кафе рядом с Одеоном. Я посмотрел на Джованни, и на мгновение мне пришла мысль, как было бы хорошо, если бы Жак избавил меня от него.

- О чём ты думаешь? – спросил Джованни.

В это мгновение я испугался, и ещё мне стало стыдно.

- Я думал о том, как было бы хорошо уехать куда-нибудь из Парижа.
- Куда бы ты хотел уехать?

– Не знаю. Куда угодно. Мне до смерти надоел этот город, – выпалил я вдруг с такой злостью, что мы оба удивились. – Я устал от этой груды древних камней и всех этих мерзких, самодовольных людей. До чего бы ты ни дотронулся здесь, всё рассыпается в прах у тебя в руках.

- Да, – сказал Джованни мрачно, – так оно и есть.

Он со страшной напряжённостью наблюдал за мной. Я заставил себя взглянуть на него и улыбнуться.

- А ты бы хотел уехать отсюда на какое-то время? – спросил я.

– Ох, – сказал он, всплеснув руками ладонями вперёд в знак шуточного смирения, – я поеду туда, куда поедешь ты. Я не отношусь к Парижу так пристрастно, как ты вдруг стал. И никогда его особенно не любил.

– Может, – начал я, едва понимая, что говорю, – мы могли бы отправиться в деревню. Или в Испанию.

- А, – откликнулся он, – ты скучаешь по своей любовнице.

Я был и виноват, и раздражён, полон любви и боли. Мне хотелось его ударить и сжать его в своих объятиях.

– Это не причина, чтобы ехать в Испанию, – сказал я угрюмо. – Мне просто хочется увидеть эту страну, вот и всё. Здесь всё так дорого.

– Ладно, – просиял он, – поедем в Испанию. Может быть, она напомнит мне Италию.

- А может, тебе больше хочется в Италию? Хотел бы ты съездить домой?

Он улыбнулся.

– Не думаю, что у меня там остался дом... Нет, не хочу в Италию. Наверно, по тем же причинам тебя не тянет в Штаты.

- Но я поеду в Штаты, – вырвалось у меня.

Он взглянул на меня.

- Я хочу сказать, что когда-нибудь туда поеду.

– Когда-нибудь... Всё плохое обязательно случится – когда-нибудь.

- А почему это плохо?

Он улыбнулся.

– Потому что ты поедешь домой лишь для того, чтобы увидеть, что это больше не дом. Тогда тебе действительно станет не по себе. Пока ты здесь, можно думать: «Когда-нибудь я поеду домой».

Он покрутил мне палец и улыбнулся.

- N'est-ce pas?
 – Неоспоримая логика, – ответил я. – Ты хочешь сказать, что у меня есть дом до тех пор, пока я туда не еду?
 Он рассмеялся.
 – А что, разве не так? У тебя нет дома, пока ты не уехал, а потом, когда покинешь его, то уже не можешь вернуться назад.
 – Кажется, я уже слышал эту песенку.
 – Ах, да? – сказал Джованни. – И услышишь её, конечно, ещё не раз. Это одна из тех песенок, которые кто-то где-то всегда будет петь.
 Мы встали из-за столика и медленно зашагали.
 – А что будет, – спросил я праздным тоном, – если заткнуть уши?
 Он хранил молчание довольно долго. Потом сказал:
 – Иногда ты напоминаешь мне того, кто хочет попасть в тюрьму, чтобы не угодить под машину.
 – Это, – ответил я резко, – скорее подходит к тебе, чем ко мне.
 – Что ты хочешь сказать?
 – Я говорю о комнате, об этой мерзкой комнате. Почему ты похоронил себя в ней так надолго?
 – Похоронил себя? Прости, mon cher Américain, но Париж это не Нью-Йорк, и он не набит дворцами для таких парней, как я. Думаешь, мне следовало бы жить скорее в Версале?
 – Но должны же быть, должны быть другие комнаты.
 – Mais ça ne manque pas, les chambres⁴¹. Мир полон комнат – просторных комнат, маленьких комнат, круглых комнат и квадратных, комнат высоких и низких – любых комнат! В какой комнате ты бы хотел поселить Джованни? Сколько, ты думаешь, заняло у меня времени найти эту комнату? И с каких пор, с каких пор, – он остановился и ткнул меня пальцем в грудь, – ты так ненавидишь эту комнату? С каких пор? Со вчерашнего дня или с самого начала? Dis-moi⁴².
 Посмотрев на него, я запнулся.
 – Я не ненавижу её. Я... я не хотел тебя огорчить.
 Он уронил руки. Глаза у него расширились. Он засмеялся.
 – Огорчить меня? Теперь я тебе чужой, раз ты говоришь со мной так, с такой американской вежливостью.
 – Я только хотел сказать, малыш, что мне хотелось бы оттуда уехать.
 – Можем уехать. Завтра! Давай переберёмся в отель. Ты этого хочешь? Le Crillon peut-être?⁴³
 Я молча вздохнул, и мы пошли дальше.
 – Я знаю, – взорвался он через мгновение, – знаю! Ты хочешь уехать из Парижа, хочешь уехать из моей комнаты, а?! У тебя нет сердца. Comme tu es méchant!⁴⁴
 – Ты не понимаешь меня, – сказал я. – Не понимаешь.
 Он угрюмо улыбнулся сам себе.
 – J'espère bien⁴⁵.
 Позже, когда мы вернулись в комнату и принялись складывать в мешок вынутые из стены кирпичи, он спросил меня:
 – Это твоя девушка... Ты слышал о ней что-нибудь в последнее время?
 – В последнее время ничего, – ответил я, не поднимая глаз. – Но она может теперь появиться в Париже в любой момент.

⁴¹ Их хватает, комнат (фр.)

⁴² Скажи мне (фр.)

⁴³ В «Крийон», может быть? (фр.) (Дорогой отель на площади Согласия.)

⁴⁴ Какой ты недобрый! (фр.)

⁴⁵ Очень надеюсь (фр.)

Он встал. Он стоял посредине комнаты, под самой лампочкой и смотрел на меня. Я тоже встал, слегка улыбаясь, но в то же время чего-то смутно испугавшись.

– Viens m'embrasser⁴⁶, – сказал он.

Я отдавал себе отчёт в том, что у него в руке кирпич, так же как и у меня. Было по-настоящему похоже на то, что если я не подойду, мы забудём друг друга этими кирпичами насмерть.

И всё же я не смог сразу сдвинуться с места. Мы уставились друг на друга сквозь отделявшее нас узкое, полное опасности пространство, которое, казалось, ревели, как пламя.

– Подойди, – сказал он.

Я выронил кирпич и приблизился к нему. Через мгновение я услышал, как упал кирпич и из его руки. В такие минуты я чувствовал, что мы совершаем более долгое, менее очевидное, но непрерывное убийство.

4

Наконец пришла долгожданная весточка от Хеллы, сообщавшая о дне и часе её приезда в Париж. Джованни я ничего не сказал и отправился один на вокзал встречать её.

Я надеялся, что как только увижу её, что-то мгновенное и окончательное случится со мной, что-то, что покажет мне, где моё место и где я был раньше. Но ничего не произошло. Я сразу узнал её – до того, как она меня заметила. Она была одета в зелёное, волосы немного короче прежнего, лицо загорелое, и на нём та же сияющая улыбка. Я любил её с той же силой, что и раньше, но я не знал, с какой.

Увидев меня, она замерла на платформе, ударила в ладоши, по-мальчишески широко расставив ноги и улыбаясь. Минуту мы просто стояли, уставившись друг на друга.

– Eh bien, – сказала она, – t'embrasse pas ta femme?⁴⁷

Тогда я обнял её, и что-то произошло со мной. Я был невероятно счастлив видеть её. Казалось, мои руки, заключающие в себе Хеллу, были домом, который радушно её встречает. Она очень удобно, как всегда, помещалась в моих руках, и, потрясённый этим, я понял, что они оставались пустыми всё то время, пока её не было.

Я крепко сжимал её под высоким, тёмным навесом, в людской толчее, рядом с пытящим паровозом. Она пахла ветром и морем, и простором, и я чувствовал, что её фантастически живое тело готово сдаться.

Когда она отстранилась, у неё в глазах стояли слёзы.

– Дай-ка я на тебя погляжу, – сказала она.

Она держала меня вытянутыми руками, рассматривая моё лицо.

– Выглядишь прекрасно. Я так счастлива тебя видеть.

Я коснулся губами её носа и понял, что выдержал первый экзамен. Я взял её чемоданы, и мы направились к выходу.

– Как съездила? Как Севилья? Понравилась коррида? Ты не познакомилась с каким-нибудь тореадором? Расскажи мне всё.

Она рассмеялась.

– Всё – это слишком длинный список. Дорога была ужасная. Я ненавижу поезда. Хотела прилететь, но я уже летала однажды испанским самолётом и поклялась никогда в жизни больше этого не делать. Он так затрещал, мой милый, среди полёта, как старый «Ти-Форд» (может, он когда-то и был «Ти-Фордом»), что я только молилась и глушила бренди. Я была уверена, что земли мне больше не видать.

⁴⁶ Поцелуй меня (фр.)

⁴⁷ Что же ты не целуешь свою жену? (фр.) («Жена» и «женщина» по-французски то же слово.)

Мы вышли на улицу. Хелла рассматривала всё с восторгом – кафе, само- довольных людей, шумный поток автомобилей, регулировщика в синем плаще- накидке, с белым сверкающим жезлом в руке.

– Возвращаться в Париж, – сказала она после недолгого молчания, – всегда так чудесно, откуда бы ты ни приехал.

Мы сели в такси, и шофёр, сделав широкий отчаянный вираж, вырулил в самую гущу машин.

– Мне кажется, что даже если приехать сюда со страшным горем на душе, то с ним можно как-то потихоньку примириться.

– Будем надеяться, – сказал я, – что никогда не подвергнем Париж этому тесту.

Её улыбка была одновременно лучистой и меланхоличной.

– Будем надеяться.

Она неожиданно взяла мою голову в свои руки и поцеловала меня. Её взгляд заключал в себе вопрос, и я знал, что она сгорает от желания сразу же получить на него ответ. Но я ещё не был готов к ответу. Я прижал её к себе и, закрыв глаза, поцеловал. Всё было между нами по-прежнему, и в то же время всё было не так.

Я решил про себя не думать о Джованни, не беспокоиться о нём – по крайней мере этим вечером, когда ничто не должно разделять нас с Хеллой. Но я прекрасно знал, что это невозможно: он уже разделял нас. Я старался не думать о нём, сидя один в его комнате и удивляясь, что так надолго там задержался.

И вот мы уже сидели в номере у Хеллы на улице Турнон и потягивали фундадор⁴⁸.

– Слишком сладко. Это то, что пьют в Испании?

– Я не видела ни одного испанца, который бы это пил, – сказала она со смехом.

– Они пьют вино. Я пила джин с содовой. В Испании мне почему-то казалось, что это полезно.

Она снова рассмеялась.

Я целовал её, прижимая к себе и стараясь найти прежний путь в неё, будто она была знакомой комнатой без света, где я на ощупь искал выключатель. И ещё этими поцелуями я пытался отсрочить тот момент, который сумеет или не сумеет соединить меня с ней. Думаю, она чувствовала, что эта неуловимая неопределённость между нами создавалась ею и зависела от неё. Она помнила, что последнее время я писал ей всё реже и реже. В Испании почти до самого отъезда это, возможно, не так её беспокоило – по крайней мере до тех пор, пока она не решила испугаться, подумав, не пришёл ли я к решению, противоположному её собственному. Наверно, она позволила мне слоняться одному слишком долго.

По своей натуре она была прямолинейной и нетерпеливой: её пугало, когда что-то было неясно. И, тем не менее, она заставляла себя ждать какого-то слова или жеста с моей стороны, твёрдо удерживая в руках вожжи своего жгучего желания.

Я пытался принудить её отпустить поводья. Я бы не мог разговориться, пока не овладел ею. Через Хеллу я надеялся выжечь в себе образ Джованни и ощущение его прикосновения – надеялся укротить огонь огнём. Но смысл того, что я совершал, ставил меня в тупик. В конце концов она спросила с улыбкой:

– Была ли я в отъезде слишком долго?

– Не знаю, – ответил я. – Но это было долго.

– Мне было очень одиноко всё это время, – неожиданно призналась она.

Она слегка отстранилась от меня, лёжа на боку и глядя в сторону окна.

– Я чувствовала себя неприкаянной, как теннисный мячик – скачущий, скачущий, и начала задумываться, куда приземлюсь. Начинала понимать, что где-то я уже прозвала лодку.

⁴⁸ Сорт испанского бренди.

Она взглянула на меня.

– Ты знаешь, о какой лодке я говорю. Там, в Испании, снимают такой фильм. Когда её пропустишь, это всего лишь лодка, но когда она приблизится, это целый корабль.

Я всматривался в её лицо. Оно было таким неподвижным, как никогда прежде.

– Тебе понравилась Испания, – спросил я нервно, – хоть немного?

Она нетерпеливо провела рукой по своим волосам.

– Да, конечно. Мне она нравится, как же иначе? Это прекрасная страна. Я только не понимаю, что я там делала? И я начинаю немного уставать оттого, что оказываюсь где-то без всякой причины на то.

Я закурил и улыбнулся.

– Но ты же уехала в Испанию, чтобы побыть без меня, помнишь?

Она улыбнулась и погладила мне щёку.

– Это было не очень хорошо по отношению к тебе, а?

– Но очень честно.

Я встал и немного отошёл от неё.

– Ты о многом передумала, Хелла?

– Я же писала тебе. И ты не помнишь?

На какое-то мгновение всё застыло. Даже слабый уличный шум перестал доноситься. Стоя к ней спиной, я чувствовал её взгляд. Знал, что она ждёт – как всё вокруг было в ожидании.

– Мне не всё было ясно в этом письме, – сказал я и подумал: «Может, мне удастся выкрутиться, ничего ей не рассказав». – Это было так неожиданно, и я не был уверен, рада ты или жалеешь, что связалась со мной.

– Да, но мы всегда всё делали наскоком. Я не могла сказать об этом по-другому. Мне не хотелось связывать тебя, понимаешь?

Я пытался внушить ей, что она приняла меня из отчаяния: не столько потому, что хотела меня, сколько потому, что я был под рукой. Но я не мог сказать об этом и знал, что, хотя всё так и было, она этого уже не поймёт.

– Но, возможно, – начала она осторожно, – ты уже не чувствуешь того, что раньше. Пожалуйста, скажи, если это так.

Она подождала немного моего ответа и продолжила:

– Понимаешь, я вовсе не такая эмансипированная, какой пытаюсь казаться. Скорее всего мне просто нужен мужчина, который возвращался бы домой каждый вечер. Я хочу спать с мужчиной, от которого мне не было бы страшно забеременеть. Да чего там! Я хочу забеременеть. Хочу рожать детей. На самом деле я только на это и способна.

Она помолчала.

– Хочешь ли этого ты?

– Да. Мне всегда этого хотелось.

Я повернулся к ней так стремительно, будто меня тянули крепкие руки, державшие меня за плечи. В комнате темнело. Она наблюдала за мной с кровати. Губы у неё были приоткрыты, глаза горели. Невероятно резко ощутил я своё и её тело. Я подошёл и положил голову ей на грудь. Мне хотелось прижаться к ней, спрятаться и замереть. Но я чувствовал, что из самой глубины её существа рвётся желание распахнуть ворота обнесённого крепкими стенами града и – впустить туда короля-победителя.

Дорогой папа, – писал я, – у меня больше нет от тебя секретов: я встретил девушку и хочу на ней жениться. Не писал тебе об этом не потому, что секретничал, а просто не знал, захочет ли она выйти за меня замуж. Но она, бедное и неразумное существо, решила-таки пойти на такой риск, и нам хотелось бы

связать себя этими узами уже здесь, а потом без спешки вернуться домой. Не бойся, она не француженка (я знаю, что ты ничего не имеешь против французов; ты просто думаешь, что они лишены наших добродетелей, которых, должен заметить, у них действительно нет). Так или иначе, Хелла (а зовут её Хелла Линкольн, родом из Миннеаполиса, где у неё до сих пор живут родители: отец – корпоративный адвокат, а мать – просто маленькая женщина) – Хелла хочет провести наш медовый месяц здесь, и излишне объяснять, что её желание для меня закон. Так вот. Пришли своему любящему сыну что-то из его с таким трудом заработанных денег. *Tout de suite*. Что означает по-французски *pronto*⁴⁹.

Хелла (по фотографии о ней вряд ли можно судить) приехала сюда несколько лет назад, чтобы изучать живопись. Потом, когда она поняла, что она никакой не художник и уже готова была броситься в Сену, мы и встретились. Всё остальное, как говорится, уже принадлежит истории. Уверен, что ты полюбишь её, папа, и что она полюбит тебя. Из меня она уже сделала очень счастливого человека.

Хелла встретила с Джованни случайно, на третий день после своего возвращения в Париж. Все эти дни я не видел его и не упоминал его имени.

Мы бродили по городу весь день, и весь день Хелла, с необычайной для неё настойчивостью, говорила об одном и том же – о женщинах. Она утверждала, что быть женщиной очень трудно.

– Не понимаю, почему это так тяжело. По крайней мере, если у неё есть мужчина.

– Об этом и речь, – сказала она. – Тебе никогда не приходило в голову, что необходимость этого условия унизительна?

– Брось, пожалуйста. Кажется, это не унизило ни одну из встреченных мною женщин.

– Потому что ты никогда не пытался понять ни одну из них в этом отношении.

– Нет, конечно. Надеюсь, что и они об этом не думали. А почему думаешь ты? В чём *твоя* изюминка?

– У меня нет *изюминки*, – сказала она, мурлыкая какую-то игривую мелодию Моцарта. – Вообще нет изюминки. Но действительно трудно оказаться на милости какого-то пузатого, небритого незнакомца лишь для того, чтобы стать собой.

– Это мне не очень по душе. Когда это я был пузатым? Или незнакомцем? Может, и правда, что мне следует побриться, но ведь это *твоя* вина: я не мог от тебя оторваться.

Я улыбнулся и поцеловал её.

– Ладно, – сказала она, – *теперь* ты не чужой. Но когда-то ты был чужим, и я уверена, что ещё будешь – и много раз.

– Если на то пошло, и ты ещё будешь чужой для меня.

Она взглянула на меня с быстрой и яркой улыбкой.

– Думаешь, буду?.. Я только хотела сказать, что быть женщиной означает, что мы можем теперь пожениться и оставаться вместе пятьдесят лет, и я могу оставаться чужой тебе все эти годы, каждую секунду, а ты никогда об этом не узнаешь.

– А если бы я был чужим, ты бы об этом знала?

– Думаю, что для женщины мужчина всегда незнакомец. И есть что-то ужасное в том, чтобы оставаться на милости чужого человека.

– Но мужчины тоже остаются на милости женщин. Ты никогда об этом не задумывалась?

– Ну да! Мужчины могут это себе позволить, им даже нравится эта мысль, поскольку она поощряет их женоненавистничество. Но если определённый *мужчина* попадает во власть определённой *женщины*, он каким-то образом перестаёт быть мужчиной. И тогда дама уже окончательно в ловушке.

⁴⁹ Без промедления (исп.-ам.)

– Ты хочешь сказать, что я должен стараться не оказаться в твоей власти? А как насчёт тебя? – спросил я со смехом. – Хотел бы я увидеть тебя в *чьей-либо* власти.

– Смейся сколько хочешь, но в этом что-то есть. Я начала понимать это в Испании – то, что я не свободна, что не могу быть свободной, пока не привяжусь – нет! – не *посвящу* себя кому-нибудь.

– Кому-нибудь или *чему-нибудь*?

Она помолчала.

– Не знаю. Я начинаю думать, что женщины привязываются к *чему-нибудь* на самом деле из-за отсутствия выбора. Они бросили бы всё, если бы только могли, – ради мужчины. Конечно, они не признаются в этом, и большинство не решится потерять то, что у них есть. Но думаю, что это их убивает... Наверно, я хочу сказать, – добавила она после паузы, – что это убило бы *меня*.

– Чего ты хочешь, Хелла? Что с тобой такое происходит, что наводит на эти мысли?

Она засмеялась.

– Это не то, что что-то *происходит*. И не то, что я чего-то *хочу*. А то, что я стала *твоей*. Так что теперь я буду тебе послушным и любящим слугой.

Мне стало не по себе. Я тряхнул головой, изображая недоумение.

– Что ты такое говоришь?

– Как что? Я говорю о своей жизни. Теперь у меня есть ты, чтобы заботиться о тебе, кормить, мучиться из-за тебя, надувать тебя и любить: у меня есть ты, чтобы тебя терпеть. С этих пор у меня будет сколько угодно времени, чтобы сетовать на долю женщины. Но меня уже не будет ужасать, что я перестану *ею* быть.

Она посмотрела мне в глаза и засмеялась.

– О, я найду себе *другие* занятия! – воскликнула она. – Останусь интеллигентной и буду читать, спорить и *думать* и всё такое прочее, и буду изо всех сил стараться не думать *твоими* мыслями. А ты будешь доволен, потому что всё это приведёт тебя к мысли, что у меня просто ограниченный женский ум. И, если будет на то Божья воля, ты станешь любить меня сильнее и сильнее, и мы будем довольно счастливы.

Она снова рассмеялась.

– Не морочь себе этим голову, милый. Предоставь это мне.

Её весёлость была заразительной, и я опять встряхнул головой и рассмеялся вместе с ней.

– Ты просто прелесть, – сказал я. – Я тебя совсем не понимаю.

Она продолжала смеяться.

– Ну вот и прекрасно, – сказала она. – Мы уже плаваем в этом, как рыба в воде.

Мы проходили мимо книжного магазина, и она остановилась.

– Можем зайти сюда на минутку? Я ищу одну книгу. Довольно тривиальную, – добавила она уже в магазине.

Было забавно наблюдать, как она расспрашивает хозяйку магазина. Я лениво поплёлся к самым дальним полкам, где спиной ко мне стоял мужчина, перелистывающий журнал. Когда я остановился рядом с ним, он закрыл журнал, положил его и повернулся. Мы сразу узнали друг друга. Это был Жак.

– *Tiens!*⁵⁰ – воскликнул он. – Вот ты где! А мы уже начали думать, что ты вернулся в Америку.

Я засмеялся.

– Я? Нет, я всё ещё в Париже. Просто был занят.

Потом, заподозрив что-то ужасное, я спросил:

⁵⁰ Смотри-ка! (фр.)

– Кто это *мы*?

– Как кто? – удивился Жак, улыбаясь с настойчивой двусмысленностью. – Твой малыш. Кажется, ты бросил его одного в этой комнате без всякой еды, без денег, даже без сигарет. В конце концов он упросил консьержку позволить ему воспользоваться телефоном в долг и позвонил мне. У бедного парня был такой голос, будто он только что вынул голову из газовой плиты. Если бы, – заметил он со смехом, – у него *была* газовая плита.

Мы посмотрели друг на друга. Он умышленно хранил молчание. Я не знал, что сказать.

– Я бросил какие-то продукты в машину, – продолжал Жак, – и помчался к нему. Он утверждал, что тебя надо искать в Сене. Но я успокоил его, сказав, что он знает американцев не так хорошо, как я, и что ты не утопился. Ты просто исчез, чтобы – подумать. Теперь я вижу, что был прав. Ты размышлял так много, что теперь должен знать, что думали другие до тебя. В особенности же, – заключил он, – тебе надо потрудиться почитать что-то из маркиза де Сада.

– Где сейчас Джованни? – спросил я.

– Я всё-таки вспомнил название отеля, в котором остановилась Хелла. Джованни сказал, что ты ожидал её приезда со дня на день, и я дал ему блестящую идею позвонить тебе туда. Он только что вышел для этого. И сейчас вернётся.

Хелла подошла к нам с книгой в руках.

– Вы уже встречались, – сказал я в замешательстве. – Ты помнишь Жака, Хелла?

Она помнила его, как помнила и то, что он ей не нравился. Вежливо улыбнувшись, она протянула руку.

– Как поживаете?

– Je suis ravi, mademoiselle⁵¹, – промолвил Жак.

Он знал, что Хелла его не любит, и это забавляло его. Чтобы подогреть её неприязнь и ещё потому, что действительно ненавидел меня в эту минуту, он низко нагнулся к протянутой руке и в одно мгновение стал вызывающе и отвратительно женственным. Я наблюдал за его маневром, как наблюдают за приближением неминуемой катастрофы с расстояния во много миль. Он игриво повернулся ко мне.

– Дэвид прячется от нас, – промямлил он, – с тех пор, как вы вернулись.

– Да? – сказала Хела, подойдя ко мне и взяв меня за руку. – Это очень дурно с его стороны. Я никогда бы этого не допустила, если бы знала, что мы прячемся. Хотя он никогда мне ничего не говорит.

Она улыбнулась. Жак посмотрел на неё.

– Без сомнения. Ему хватает с вами более захватывающих тем, чем то, почему он скрывается от старых друзей.

Мне хотелось во что бы то ни стало уйти, пока не пришёл Джованни.

– Мы ещё не ужинали, – сказал я, пытаюсь улыбнуться. – Надеюсь, ещё увидимся.

Я сознавал, что этой улыбкой умоляю его сжалиться надо мной.

Но в это мгновение дверной колокольчик, извещающий о приходе каждого покупателя, прозвенел, и Жак сказал:

– А вот и Джованни.

И действительно, я чувствовал, что он неподвижно стоит у меня за спиной и смотрит на нас, чувствовал, как Хелла вздрогнула, как сжалась всем своим существом, что – при всём её самообладании – не могло не отразиться у неё на лице. Джованни заговорил низким от бешенства, облегчения и невыплаканных слёз голосом.

⁵¹ Весьма польщён, мадемуазель (фр.)

– Где ты был? – крикнул он. – Я думал, ты погиб! Думал, что тебя сбила машина, что тебя бросили в реку. Что ты делал все эти дни?

Как ни странно, я нашёл в себе силы улыбнуться. Это спокойствие потрясло меня самого.

– Джованни, – сказал я, – я хочу представить тебе мою невесту. Мадемуазель Хелла. Мосье Джованни.

Он заметил её до того, как закончил кричать, и теперь дотронулся до её руки с окаменелой, потрясённой вежливостью и уставился на неё своими чёрными недвижными глазами, будто никогда до этого не встречал женщины.

– *Enchanté, mademoiselle*⁵², – произнёс он, и голос его был холодным и мёртвым. Он быстро взглянул на меня, потом снова на Хеллу. На какое-то время мы все четверо застыли так, будто позировали портретисту.

– Думаю, – сказал Жак, – что, поскольку теперь мы оказались все вместе, нам следует чего-нибудь выпить. Очень быстро, – обратился он к Хелле, предупреждая её попытку вежливого отказа и беря её за руку. – Старые друзья сходятся вместе не каждый день.

Он заставил нас выйти таким образом, что они с Хеллой оказались сзади, а мы с Джованни впереди. Колокольчик порочно звякнул, когда Джованни открыл дверь. Вечерний воздух ударил нас подобно языку пламени. Мы пошли от Сены в сторону бульвара.

– Если я решил уехать, – сказал Джованни, – то хотя бы говорю об этом консьержке, чтобы она знала, куда пересылать почту.

Я сразу вспыхнул, с досадой. Я заметил, что он побрит и что на нём чистая белая рубашка с галстуком – галстуком, явно принадлежащим Жаку.

– Не знаю, на что ты жалуешься. Ты же сразу смекнул, куда пойти.

Но он взглянул на меня так, что гнев мой улетучился и мне захотелось плакать.

– У тебя нет сердца, – сказал он. – *Tu n'est pas chic du tout*⁵³.

Больше он не сказал ни слова, и мы продолжали идти молча. Позади нас я слышал шёпот Жака. На углу мы остановились и подождали, пока они нас догонят.

– Знаешь, дорогой, – сказала Хелла подходя, – ты оставайся и выпей, если хочешь. Я не могу, правда не могу: я плохо себя чувствую.

Она повернулась к Джованни.

– Пожалуйста, простите меня, но я только что вернулась из путешествия по Испании и едва успела присесть с того момента, как сошла с поезда. В другой раз, обещаю. Но сейчас мне действительно надо выспаться.

Она улыбнулась и протянула руку, но он, казалось, не видел этого.

– Я провожу Хеллу в отель и вернусь, – сказал я. – Только скажите, где вы будете.

Джованни грубовато рассмеялся.

Всё в том же квартале, понимаешь? Легко найти.

– Мне очень жаль, – сказал Жак Хелле, – что вам нездоровится. В следующий раз, надеюсь. Он наклонился к её всё ещё безотносительно протянутой руке и поцеловал её во второй раз. Потом выпрямился и посмотрел на меня.

– Как-нибудь ты должен привести Хеллу поужинать у меня, – сказал он и сделал гримасу. – Вообще не следует прятать от нас свою невесту.

– Вот именно, – сказал Джованни. – Она очень мила. А мы, – продолжал он, улыбнувшись Хелле, – тоже постараемся быть милыми.

– Ладно, – сказал я, беря Хеллу под руку, – увидимся позже.

– Если меня не будет, – сказал Джованни нагло и в то же время чуть не плача, – когда вернёшься, значит я дома. Ты ещё помнишь, где это?.. Недалеко от зоопарка.

⁵² Очень рад, мадемуазель (фр.)

⁵³ Ты совсем не добрый (фр.)

– Помню, – сказал я и начал пятиться, словно выбираясь из клетки. – Я скоро вернусь. A tout à l'heure⁵⁴.

– A la prochaine⁵⁵, – откликнулся Джованни.

Я чувствовал, как они смотрят нам в спину. Хелла долго молчала. Возможно потому, что она боялась, как и я, сказать что-либо.

– Терпеть не могу этого человека. У меня от него мурашки по коже.

Немного помолчав, она добавила:

– Я не знала, что вы ты часто виделись, пока меня не было.

– Всего нет.

Чтобы занять чем-то руки и спрятаться на мгновение, я остановился и прикурил сигарету. Я чувствовал на себе её взгляд. Но у неё не было подозрений: она была просто растеряна.

– А кто такой этот Джованни? – спросила она, когда мы снова зашагали, и тихо засмеялась. – Мне только сейчас пришло в голову, что я даже не спросила тебя, где ты жил. Ты живёшь с ним?

– Мы вместе снимали комнату служанки на окраине города.

– Тогда это было нехорошо с твоей стороны, – сказала Хелла, – уйти так надолго и даже не предупредив.

– Боже мой, да мы всего лишь снимали вместе одну комнату. Откуда я знал, что он начнёт искать меня в Сене только из-за того, что я ушёл на пару ночей?

– Жак сказал, что ты оставил его там без денег, без сигарет, без ничего, и даже не сказал ему, что будешь со мной.

– Я много чего не говорил Джованни. Но до этого он никогда не устраивал таких сцен. Думаю, он просто выпил. Я поговорю с ним потом.

– Ты хочешь к ним вернуться?

– Знаешь, если я и не вернусь, то всё равно зайду как-нибудь в комнату. Я всё равно собирался это сделать на днях, – сказал я и улыбнулся. – Мне нужно побриться.

Хелла вздохнула.

– Я не хочу, чтобы твои друзья на тебя обижались. Ты должен вернуться и выпить с ними. Ты же обещал.

– Может, да, а может, нет. Знаешь, я не женат на них.

– То, что ты собираешься жениться на *мне*, не означает, что ты не должен сдерживать данное друзьям слово. Но это и не означает, – добавила она резко, – что они *должны* мне нравиться.

– Хелла, я прекрасно это понимаю.

Мы свернули с бульвара к отелю.

– Он всё слишком близко принимает к сердцу, да? – спросила она.

Я уставился на тёмную массу Сената, в который упиралась наша тёмная, слегка идущая в гору улица.

– Ты о ком?

– Джованни. Очевидно, что он сильно привязан к тебе.

– Он же итальянец. А итальянцы ведут себя очень театрально.

– Да, но этот, – сказала она со смехом, – нечто особое даже для Италии! Как давно ты с ним живёшь?

– Пару месяцев.

Я бросил сигарету под ноги.

– Понимаешь, пока тебя не было, у меня кончились деньги (я и сейчас их жду), и я переехал к нему, потому что это было дешевле. В то время у него была работа, и большую часть времени он проводил у своей любовницы.

⁵⁴ Пока (фр.)

⁵⁵ До следующего раза (фр.)

– Да? У него есть любовница?

– Была, – сказал я. – И работа была. Он потерял и то и другое.

– Бедный парень, – сказала она. – Неудивительно, что он выглядит таким потерянным.

– Всё устроится, – отрезал я.

Мы подошли к дверям отеля. Она позвонила.

– Он очень дружен с Жаком? – спросила она.

– Возможно. Но не настолько, чтобы удовлетворить Жака.

Она рассмеялась.

– Меня всегда обдаёт ледяным ветром, – сказала она, – когда я нахожусь в присутствии человека, который не любит женщин так, как не любит их Жак.

– Ну тогда будем держать его на расстоянии от тебя. Мы ведь не хотим, чтобы холодные ветра обдували эту девушку.

Я поцеловал её в кончик носа. В этот момент где-то внутри отеля послышался шум, и дверь, резко дёрнувшись, отворилась сама по себе. Хелла лукаво глянула в темноту.

– Я никогда не знаю, *осмелюсь ли* войти туда.

Она посмотрела на меня.

– Ну что? Хочешь чего-нибудь выпить у меня до того, как вернёшься к друзьям?

– Ну да.

Мы вошли на цыпочках в отель, тихонько притворив за собою дверь. Я наконец нащупал *minuterie*⁵⁶, и тусклый жёлтый свет разлился над нами. Тут раздался совершенно нечленораздельный крик, обращённый к нам, и Хелла выкрикнула в ответ свою фамилию, стараясь произнести её на французский лад. Пока мы поднимались по лестнице, свет выключился, и мы начали хихикать, как дети. Мы не могли найти выключатель ни на одной из лестничных площадок, и не знаю, почему это нас так рассмешило, но мы, цепляясь друг за друга, покатывались со смеху всю дорогу до номера Хеллы на последнем этаже.

– Расскажи мне о Джованни, – попросила она намного позже, когда мы, лёжа в кровати, наблюдали, как чёрная ночь напирала на её плотные белые шторы. – Он меня заинтересовал.

– Довольно бестактно говорить об этом сейчас, – сказал я. – И какого чёрта он так тебя заинтересовал?

– Я имею в виду, кто он такой? О чём он думает? И откуда у него такое лицо?

– А что у него с лицом?

– Ничего. Он очень красивый на самом деле. Но у него в лице есть что-то такое как бы старомодное.

– Спи давай, – сказал я. – Ерунду несёшь.

– А как ты его встретил?

– Ну в баре во время ночной пьянки, среди множества других людей.

– А Жак там был?

– Не помню. Думаю, да. Кажется, он познакомился с Джованни в тот же вечер.

– А почему ты пошёл к нему жить?

– Я же говорил тебе. У меня не было ни гроша, а у него была эта комната...

– Но это не могло быть *единственной* причиной.

– Ну, значит, – сказал я, – он мне понравился.

– А теперь он тебе больше не нравится?

– Джованни мне очень симпатичен. Сегодня ты видела его не в лучшей форме, но вообще он очень хороший человек.

Я рассмеялся. Под прикрытием ночи, поощрённый близостью Хеллы и своим собственным телом, защищённый беспечным тоном своего голоса, я добавил:

⁵⁶ Выключатель с реле времени.

- По-своему я даже люблю его. Правда.
- Кажется, он находит странной твою манеру демонстрировать это.
- Ну, знаешь, здесь люди ведут себя не так, как мы. Для них гораздо важнее манеры. Ничего не поделаешь. Я просто не умею всего этого.
- Да, – сказала она глубокомысленно, – я это заметила.
- Что заметила?
- Парни здесь совершенно не стесняются демонстрировать свою близость. Сначала это шокирует. Потом начинаешь думать, что это даже хорошо.
- Это и есть хорошо, – сказал я.
- Знаешь, мне кажется, мы должны пригласить Джованни на ужин или что-нибудь такое в один из этих дней. В конце концов, он как бы спас тебя.
- Хорошая идея, – сказал я. – Не знаю, чем он сейчас занят, но думаю, он найдёт свободный вечерок.
- Он часто слоняется с Жаком?
- Нет, не думаю. Должно быть, он случайно нарвался на него сегодня. Я помолчал.
- Я начинаю думать, – сказал я осторожно, – что парням, вроде Джованни, приходится туго. Здесь, знаешь, не земля обетованная, и ничего хорошего им не светит. Джованни беден. Я хочу сказать, что он из бедной семьи, и вряд ли у него что-то получится. Что касается того, что он умеет, конкуренция слишком жестокая. Тех грошей, что они получают, недостаточно, чтобы обеспечить себе хоть какое-то будущее. Поэтому многие из них бродят по улицам, продают себя, становятся бандитами и бог знает чем ещё.
- Как холодно, – сказала она, – в этом Старом Свете.
- Знаешь, в Новом тоже довольно зябко, – сказал я. – На свете вообще холодно.

Точка.

Она рассмеялась.

- Но мы – у нас есть любовь, чтобы согреться.
- Мы не первые, кто думал так, лёжа в кровати.
- И всё-таки мы лежали молча, и не двигаясь, в объятиях друг друга.
- Хелла, – сказал я наконец.
- Да?
- Хелла, когда придут деньги, давай уедем отсюда.
- Уедем? А куда ты хочешь ехать?
- Всё равно. Только прочь отсюда. Меня тошнит от Парижа. Хочу отдохнуть от него немного. Поедем на юг. Может, там солнце светит.
- Так мы поженемся на юге?
- Хелла, поверь мне, я не в состоянии делать что-либо или принимать решения, или даже различать ясно вещи, пока мы не уедем из этого города. Я не хочу, чтобы мы поженились здесь, и вообще не хочу здесь думать о браке. Давай поскорее уберёмся отсюда.
- Я не знала, что у тебя такое настроение, – сказала она.
- Я месяцами оставался в комнате Джованни, – сказал я, – и больше мне этого не выдержать. Я должен уйти оттуда. Прошу тебя.
- Она нервно засмеялась и слегка отодвинулась от меня.
- Слушай, я просто не понимаю, что общего между тем, чтобы покинуть комнату Джованни и оставить Париж.
- Я вздохнул.
- Пожалуйста, Хелла. Я сейчас не в состоянии пускаться в долгие объяснения. Может, это потому, что если я останусь в Париже, Джованни будет мне постоянно попадаться и...
- Я осёкся.
- Почему это так волнует тебя?

– Просто я не могу ему ничем помочь, как не могу выдержать того, что он смотрит на меня, как на американца, Хелла, думая, что я *богатый*.

Я сел в кровати, глядя в сторону. Она наблюдала за мной.

– Он очень хороший человек, как я сказал, но очень упрямый, и придумал обо мне неизвестно что, думает, что я бог. А эта его комната такая мерзкая и грязная. А скоро наступит зима, и будет холодно...

Я повернулся и обнял её.

– Слушай, давай просто уедем. Я объясню тебе многое позже, но позже – когда мы будем далеко.

Наступило долгое молчание.

– Ты хочешь уехать прямо сейчас? – спросила она.

– Да. Как только придут деньги, давай снимем дом.

– Ты уверен, что не хочешь просто вернуться в Штаты?

Я застонал.

– Нет. Пока нет. Я не это имел в виду.

Она поцеловала меня.

– Мне всё равно, куда ехать, – сказала она, – до тех пор, пока мы вместе.

Потом отстранилась от меня, проговорив:

– Уже почти утро. Давай немного поспим.

В комнату Джованни я пришёл на следующий день, поздним вечером. Мы бродили с Хеллой вдоль Сены, а потом я слишком много выпил, переходя из одного бистро в другое. Свет ударил мне в глаза, когда я вошёл и увидел Джованни, сидящего на кровати и кричавшего перепуганным голосом: «Qui est là? Qui est là?»⁵⁷

Я остановился в дверном проёме, слегка покачиваясь в электрическом свете, и сказал:

– Это я, Джованни. Замолчи.

Он устался на меня, потом отвернулся лицом к стене и заплакал.

«Боже милостивый», – сказал я про себя и тихо притворил дверь. Потом вынул сигареты из кармана пиджака и повесил его на спинку стула. С пачкой сигарет в руке я подошёл к кровати, нагнулся к Джованни и сказал:

– Не плачь, малыш. Прошу тебя, не плачь.

Джованни повернулся и посмотрел на меня. Его покрасневшие глаза были полны слёз, но в то же время он улыбался странной улыбкой, в которой читались злость, стыд и наслаждение. Он протянул руки, я нагнулся к нему и откинул волосы с его глаз.

– От тебя пахнет вином, – сказал Джованни.

– Я не пил вина. Ты этого испугался? Из-за этого плачешь?

– Нет.

– Тогда в чём дело?

– Почему ты ушёл от меня?

Я не знал, что ответить. Джованни снова отвернулся к стене. Я надеялся, я предполагал, что ничего не почувствую. Но сердце у меня сжалось так, будто в него ткнули пальцем.

– Я никогда не был тебе близок, – сказал Джованни. – Ты никогда по-настоящему здесь не присутствовал. Не думаю, что ты когда-либо лгал мне, но знаю, что ты никогда не говорил мне правды. Почему? Иногда ты проводил здесь весь день, читал, открывал окно или готовил что-нибудь, а я наблюдал за тобой, но ты никогда ничего не говорил и смотрел на меня так, будто не видишь меня. Весь день, пока я приводил эту комнату для тебя в порядок.

⁵⁷ Кто там? Кто там? (фр.)

Я ничего не сказал. Я смотрел через голову Джованни на квадратные окна, сдерживающие слабый лунный свет.

– Чем ты занят всё время? Почему ничего не говоришь? Знаешь, ты просто нечистый дух; и иногда, когда ты мне улыбался, я ненавидел тебя. Мне хотелось тебя ударить. Хотелось избить до крови. Ты улыбался мне так, как улыбаешься всем, говорил мне то, что говоришь всем, – а говорил одну ложь. Что ты скрываешь всегда? Думаешь, я не знал, что, когда твоё тело любило меня, ты не любил никого? Ни-ко-го! Или всех, – но *не меня*, конечно. Я ничто для тебя, ничто, и ты выываешь у меня лихорадку, но не наслаждение.

Я отошёл, ища сигареты. Они были у меня в руке. Я закурил. В какой-то момент я подумал, что скажу что-нибудь, скажу и уйду из этой комнаты навсегда.

– Ты знаешь, что я не могу оставаться один. Я ведь говорил тебе. Что случилось? Мы никогда уже не будем вместе?

Он снова заплакал. Я смотрел, как горячие слёзы падают с его ресниц на грязную подушку.

– Если ты не будешь любить меня, я умру. Мне хотелось умереть до того, как ты появился, – я говорил тебе много раз. Как жестоко – вернуть мне желание жить только для того, чтобы сделать мою смерть ещё ужасней.

Мне многое хотелось сказать. Но открыв рот, я не издал ни звука. Я не понимал, что испытываю по отношению к нему. Я не испытывал к Джованни ничего. Я чувствовал ужас, жалость и нарастающую похоть.

Он взял сигарету у меня изо рта и затянулся, сев в кровати. Волосы снова упали ему на глаза.

– Я не знал никого, кто был бы похож на тебя. Я никогда не был таким до твоего появления. Послушай. В Италии у меня была женщина, она была очень добра ко мне. Она любила меня, *меня* любила, заботилась обо мне и всегда была дома, когда я возвращался с работы на винограднике, и мы никогда не ссорились, никогда. Я был очень молод тогда и не знал ни всего того, что узнал позже, ни тех ужасных вещей, которым ты меня научил. Я думал, что все женщины такие. Что все мужчины такие же, как я, – я думал, что я такой же, как все мужчины. Я не был тогда несчастным, не был одиноким, потому что она всегда была рядом, – и мне не хотелось умереть. Мне хотелось прожить всю жизнь в нашей деревне и работать на винограднике, и пить вино, которое мы делали, и заниматься любовью с моей девушкой. Я рассказывал тебе о нашей деревне?.. Она очень старая, на юге страны, на холме. Ночью, когда мы гуляли вдоль окружающей её стены, мир, казалось, простирался под нами, весь этот далёкий и грязный мир. И мне даже не хотелось его увидеть. Однажды мы занимались любовью прямо под этой стеной.

Да, мне хотелось жить там всегда, есть много спагетти, допьяна пить вино, наплодить много ребятишек и растолстеть. Я бы не понравился тебе, если б остался там. Могу представить себе, как много лет спустя ты проезжал бы на громадной, уродливой американской машине, которая у тебя обязательно появилась бы к тому времени, смотрел бы на меня, на всех нас, пробуя наше вино, обсерая нас своей идиотской улыбкой, которой улыбаются повсюду американцы и которая не сходит у тебя с лица; как с рёвом мотора и визгом шин ты уехал бы прочь и говорил потом всем знакомым американцам, что они должны поехать посмотреть нашу деревню, потому что она такая живописная. И у тебя бы не было ни малейшего представления о нашей жизни там, неспешной и бьющей через край, прекрасной и страшной, как нет у тебя никакого представления о моей жизни сейчас. Думаю, что был бы счастливее там и не заботился бы о смысле твоей улыбки. У меня была бы своя жизнь. Я провалялся здесь столько ночей, ожидая твоего возвращения и думая о том, как далеко моя деревня и как жутко быть в этом холодном городе, среди ненавистных мне людей, где вечно холодно и промозгло, а не сухо и жарко,

как было там, и где Джованни не с кем поговорить, не с кем побыть вместе, где он нашёл себе любовника, который и не мужчина, и не женщина, а нечто, чего мне не узнать и не пощупать. Ты ведь не знаешь, что это такое, а? – пролежать всю ночь напролёт без сна в ожидании кого-то. Уверен, что не знаешь. Ты не знаешь ничего. Ты не знаешь всех этих страшных вещей, – поэтому так лыбишься и ломаешься, и думаешь, что та комедия, которую ты разыгрываешь с этой стриженной луноликой маленькой девочкой и есть любовь.

Он бросил сигарету на пол, где она продолжала тлеть, и снова заплакал. Я оглядел комнату, думая: «Я больше этого не выдержу».

– Я покинул нашу деревню в один прекрасный и страшный день. Никогда мне его не забыть. Это был день моей смерти, – мне хотелось бы, чтобы это был день моей смерти. Помню, что солнце сияло и пекло мне затылок, пока я выходил на дорогу, уводящую из деревни, а дорога шла вверх, и я шёл согнувшись вперёд. Я помню всё: бурю пыль на моих ботинках и прыгающие из-под ног камешки, низкие деревья вдоль дороги, все эти дома с плоской крышей и все их цвета на солнце. Помню, что плакал, но не так, как теперь, – гораздо сильнее и отчаянней. С тех пор, как мы вместе, я не могу даже плакать, как раньше. Тогда, впервые в жизни, мне хотелось умереть. Мы только что похоронили нашего ребёнка на церковном кладбище, где лежит мой отец и отец моего отца, и я оставил свою подругу рыдающей в доме моей матери. Да, у меня был ребёнок, но он родился мёртвым. Он был весь серый и скрюченный, когда я его увидел, и не издавал малейшего звука, когда мы шлёпали его по ягодицам и орошали святой водой и молились, а он оставался безмолвным, оставался мёртвым. Это был малюсенький мальчик, который мог бы вырасти сильным парнем, может, даже таким парнем, которого ты и Жак, и Гийом, и вся ваша мерзкая шайка педиков высматриваете все ваши дни и ночи и о котором мечтаете, – но он был мёртв; это было моё дитя, и мы сотворили его, я и моя девушка, но он был мёртв. Когда я понял, что он не оживёт, я снял наше распятие со стены, плюнул на него и швырнул на пол, а моя мать и подруга закричали, и я ушёл. Мы сразу похоронили его, на следующий день, и я оставил нашу деревню и пришёл в этот город, где Бог наказал меня, конечно, за все мои грехи и за то, что я плюнул на Его святого Сына, и где я, конечно, умру. Думаю, что никогда уже не увижу нашу деревню.

Я встал. У меня кружилась голова. Во рту было горько. Комната кружилась в глазах, как в первый раз, когда я пришёл сюда, – целую вечность назад. Я слышал, как Джованни стонет у меня за спиной: «Chéri. Mon très cher⁵⁸, не оставляй меня. Пожалуйста, не оставляй меня». Я повернулся и обнял его, глядя над его головой на стену, где дама с кавалером прогуливались среди роз. Он рыдал так, что у него могло, как говорится, разорваться сердце. Но я чувствовал, что это моё сердце разрывается. Что-то сломалось во мне, сделав меня таким холодным, таким безупречно спокойным и отстранённым.

Но мне необходимо было что-то сказать.

– Джованни... Джованни.

Он успокоился, начал слушать. И я невольно ощутил, и не в первый раз, всю хитрость отчаявшихся.

– Джованни, – сказал я, – ты всегда знал, что я когда-нибудь уйду. Знал, что моя невеста возвращается в Париж.

– Ты не уходишь от меня из-за неё, – сказал он. – Ты уходишь по другой причине. Ты врешь так много, что начал верить собственному вранью. Но я-то вижу правду. Ты не бросаешь меня ради женщины. Если бы ты действительно любил эту маленькую девочку, ты бы не мог быть со мной таким жестоким.

– Она не маленькая девочка. Она женщина, и что бы ты ни думал об этом, но я люблю её...

⁵⁸ Милый. Мой самый дорогой (фр.)

– Ты не любишь никого! – крикнул Джованни, снова садясь в кровати. – Ты никогда никого не любил и, я уверен, никогда не полюбишь! Ты любишь лишь свою чистоту и своё отражение в зеркале: как маленький девственник, ты бродишь везде, выставив руки вперёд, будто у тебя там какой-то драгоценный металл, золото, серебро, рубины или, может, алмазы – между ног! Ты никогда и никому этого не отдашь, никогда не позволишь никому *тронуть* это – ни мужчине, ни женщине. Ты хочешь остаться *чистеньким*. Ты думаешь, что явился сюда в мыльной пене и в мыльной пене отсюда уйдёшь, – а пока ты не хочешь *вонять*, хотя бы и пять минут.

Он схватил меня за воротник, борясь и ласкаясь одновременно, одновременно обмякший и несгибаемый: слюна брызгала у него с губ, и глаза были полны слёз, но череп проглядывал сквозь черты лица, а мышцы на руках и на шее вздулись.

– Ты хочешь бросить Джованни, потому что боишься завонять. Хочешь презирать Джованни, потому что он не боится вонять любовью. Ты хочешь *убить* его во имя своей фальшивой, мелочной морали. А сам-то – ты же *аморален*. За всю свою жизнь я не видел более аморального человека. Посмотри, ты *посмотри*, что сделал со мною. Думаешь, ты мог бы сделать это, если бы я тебя не любил? Думаешь, это и есть *то*, что ты должен делать с любовью?

– Джованни, перестань! Ради бога *прекрати* это! Что ты вообще хочешь от меня? Я *не могу* чувствовать иначе.

– А ты *знаешь*, как ты чувствуешь? Чувствуешь ли? *Что* ты чувствуешь?

– Сейчас я не чувствую ничего, – сказал я, – ничего. Мне хочется уйти из этой комнаты, уйти от тебя и прекратить эту чудовищную сцену.

– Хочешь уйти от меня.

Он захохотал, наблюдая за мной. В его взгляде было столько бездонной горечи, что он казался почти благожелательным.

– Наконец ты становишься честным. Знаешь ли ты, *почему* собираешься уйти от меня?

Что-то замкнулось у меня внутри.

– Я... я не могу с тобой жить.

– Но ты можешь жить с Хеллой. С этой луноликой маленькой девочкой, которая думает, что детей находят в капусте... или в холодильнике; ведь я не знаком с вашими поверьями. Ты можешь жить с ней.

– Да, – сказал я измученно, – я могу с ней жить.

Я встал. Меня била дрожь.

– Что за жизнь может у нас быть в этой комнате? В этой мерзкой маленькой комнатке? И что за жизнь может быть, так или иначе, у двух мужчин? Вся эта любовь, о которой ты твердишь, – не для того ли она, чтобы ты почувствовал себя сильным? Ты хочешь уходить на работу и приносить домой деньги, хочешь, чтобы я оставался здесь, мыл посуду, стирал и вычищал эту жалкую комнату-сортир, и целовал тебя, когда ты переступишь через порог, лежал с тобой по ночам и был твоей маленькой *девочкой*. Вот чего ты хочешь. Это то, что ты хочешь сказать, и это *всё*, что ты хочешь сказать, когда говоришь о своей любви. Говоришь, что я хочу убить *тебя*. А что думаешь, ты делал со мной?

– Я не стараюсь сделать из тебя маленькую девочку. Если бы мне нужна была маленькая девочка, я бы *был* с такой девочкой.

– А почему это не так? Не потому ли, что просто боишься? Не взял ли ты *меня*, потому что тебя кишка тонка, чтобы быть с женщиной, раз ты этого *действительно* хочешь?

Он побледнел.

– Это ты твердишь о том, *чего* я хочу. А я говорил о том, *кого* я хочу.

– Но я же мужчина, – закричал я, – мужчина! Что же может *быть* между нами?

– Сам прекрасно знаешь, – произнёс Джованни с расстановкой, – что может быть между нами. Поэтому ты и уходишь от меня.

Он встал, подошёл к окну и открыл его.

– *Bon*⁵⁹, – сказал он и ударил кулаком по подоконнику. – *Если бы* я мог, я бы удержал тебя, – прокричал он. – Если бы нужно было тебя избить, приковать цепями, морить голодом, *чтобы* удержать тебя, я бы сделал это.

Он отошёл от окна. Ветер трепал ему волосы. Он ткнул в меня пальцем с деланной игривостью.

– Возможно, когда-нибудь ты пожалеешь, что я этого не сделал.

– Холодно, – сказал я. – Закрой окно.

Он улыбнулся.

– Теперь, когда ты уходишь, тебе хочется, чтобы я закрыл окно. *Bien sûr*.

Он закрыл окно, и мы устали друг на друга, стоя посередине комнаты.

– Не будем больше ссориться, – сказал он. – Это не удержит тебя. По-французски это называется *une séparation de corps* – не развод, понимаешь, а просто раздельное проживание. Хорошо. Разделимся. Но знай, что твоё место рядом со мной. Я верю, я должен верить – что ты вернёшься.

– Джованни, – сказал я, – я не вернусь. Ты знаешь, что не вернусь.

Он замахал рукой.

– Я ведь сказал, что не будем больше ссориться. У американцев нет никакого ощущения судьбы, просто никакого. Они не узнают судьбу, когда сталкиваются с ней.

Он достал из-под раковины бутылку.

– Жак оставил у меня бутылку коньяка. Давай выпьем немного – на дорожку, как говорят в таких случаях.

Я наблюдал за ним. Он аккуратно наполнил две рюмки. Он заметно дрожал – от гнева или от боли, или от того и другого.

Он протянул мне рюмку.

– *A la tienne*, – сказал он.

– *A la tienne*⁶⁰.

Мы выпили. Я не мог удержаться от вопроса:

– Джованни, что ты думаешь теперь делать?

– О, у меня есть друзья. Решу, что мне делать. Сегодня вечером, например, мы ужинаем с Жаком. Завтра, без сомнения, я тоже буду с ним ужинать. Он очень хорошо стал ко мне относиться. Он думает, что ты монстр.

– Джованни, – сказал я беспомощно, – будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен.

Он насмешливо улыбнулся в ответ.

– Спасибо. Ты должен был посоветовать это мне в тот вечер, когда мы встретились.

Это был последний раз, когда мы по-настоящему разговаривали. Я оставался у него до утра, а потом побросал свои вещи в чемодан и отнёс его к Хелле.

Никогда не забуду, как он посмотрел на меня на прощание. Утренний свет заливал комнату, напоминая мне о стольких утрах и о том утра, когда я первый раз здесь проснулся. Джованни сидел на кровати – совершенно голый – и держал в руке рюмку. Тело его было мертвенно белым, лицо мокрым от слёз и серым. Я стоял с чемоданом у двери. Взявшись за ручку двери, я взглянул на него. Мне захотелось попросить у него прощения. Но это было бы слишком исповедально: любая уступка в этот момент могла навсегда замуровать меня с ним в этой комнате. Но отчасти именно этого мне и хотелось. Я почувствовал, как по телу у меня пробежала дрожь, подобная началу землетрясения, почувствовал, как на мгновение утопаю в его глазах. Его тело, такое знакомое во всех мелочах, мерцало в этом

⁵⁹ Ладно (фр.)

⁶⁰ Твоё здоровье (фр.)

свете, наполняя и сокращая пространство, разделявшее нас. Тогда что-то шевельнулось у меня в мозгу, бесшумно распахнулась какая-то тайная дверь, и я пришёл в ужас: мне не приходило в голову до этого момента, что, спасаясь от его тела, я подтверждаю и увековечиваю власть этого тела над собой. Я был заклеимён: его тело прожгло моё сознание, мои мечты. Всё это время он не сводил с меня глаз. Казалось, моё лицо было для него прозрачнее магазинной витрины. Он не улыбался, не был ни мрачен, ни торжествующ, ни печален. Он был недвижим. Думаю, он ждал, когда я пересеку это пространство и снова возьму его в свои руки: ждал, как ждут чуда на смертном одре, в которое не смеют не верить и которое не случится. Я должен был уйти, потому что по моему лицу было слишком заметно, что эта борьба с собственным телом изнуряет меня. Ноги отказывались нести меня обратно, к нему. Ветер моей жизни уже выдувал меня отсюда.

– Au revoir, Giovanni.

– Au revoir, mon cher⁶¹.

Я отвернулся от него, открыл дверь. Его усталое дыхание, казалось, шевелило мне волосы и задевало ресницы, как ветер самого безумия. Проходя по короткому коридору, я ожидал в любое мгновение услышать его голос сзади; я миновал вестибюль,loge⁶² спящей в этот час консьержки и оказался на утренней улице. И с каждым шагом становилось всё более невозможно повернуть назад. В голове было пусто или, скорее, мозг стал одной огромной анестезированной раной. У меня была только одна мысль: «Когда-нибудь я ещё буду плакать об этом. Когда-нибудь я буду рыдать».

На углу, в тусклом луче утреннего солнца, я посмотрел, сколько у меня осталось автобусных билетиков в бумажнике. Я обнаружил в нём триста франков, взятых у Хеллы, мою *carte d'identité*⁶³, мой адрес в Штатах, какие-то клочки бумаги, горсть этих клочков, карточки, фотографии. На каждом таком клочке был адрес, телефонный номер, дата и время каких-то состоявшихся и отложенных встреч (и, возможно, забытых), имена запомнившихся или, возможно, забытых людей, как свидетельства напрасных надежд: скорее всего напрасных, иначе я бы не стоял на углу этой улицы.

Я насчитал четыре билетика и пошёл к *arrêt*⁶⁴. Там стоял полицейский в синей накидке, плотной и длинной, с посверкивающим белым жезлом. Он посмотрел на меня, улыбнулся и спросил громко: «*ça va?*»

– *Oui, merci*⁶⁵. А у вас?

– *Toujours*⁶⁶. Хороший денёк будет, а?

– Да, – ответил я, но голос у меня дрожал. – Скоро осень.

– *C'est ça*⁶⁷.

И он отвернулся, снова принимаясь наблюдать за бульваром. Я пригладил волосы рукой, чувствуя себя глупо от того, что дрожал. Мимо прошла женщина, несшая с рынка полную сетку продуктов, в которой литровая бутылка красного вина была предусмотрительно положена сверху. Она не была уже молодой, но лицо у неё было ясное и открытое, а с сильным и полным телом сочетались полные, сильные руки. Полицейский что-то ей прокричал, и она прокричала в ответ – что-то добродушно-непристойное. Полицейский захохотал, но на меня больше не посмотрел. Я смотрел, как женщина удалялась по улице – к себе домой, думал я, к мужу, одетому в синюю грязную рабочую робу, к детям. Она дошла до угла

⁶¹ До свидания, Джованни. До свидания, мой любимый (фр.)

⁶² Комната консьержки (фр.)

⁶³ Удостоверение личности (фр.)

⁶⁴ Автобусной остановке (фр.)

⁶⁵ Всё в порядке? Да, спасибо (фр.)

⁶⁶ Как всегда (фр.)

⁶⁷ Это точно (фр.)

улицы, на который падал солнечный свет, и перешла на противоположную сторону. Подошёл автобус, и мы с полицейским (больше на остановке никого не было) поднялись в него. Он встал далеко от меня, на задней площадке. Полицейский тоже не был молод, но, к моей зависти, был полон жизни. Я смотрел на проплывающие в окне улицы. Вечность назад – в другом городе, в другом автобусе – я также сидел у окна, смотрел через стекло и придумывал для каждого проносающегося мимо лица, привлёкшего моё внимание, свою жизнь, свою судьбу, в которой я играл какую-то роль. И ожидал для себя произнесённого шёпотом обещания спасения. Но в это утро казалось, что мой забытый двойник играл в самую опасную из всех игр воображения.

Последующие дни пролетели как во сне. Как-то сразу похолодало. Тысячи туристов убралась восвояси точно по расписанию. В парках листья падали на гуляющих, кружились с шелестом над головой и ложились под ноги. Камни этого города, бывшие до того яркими и разноцветными, медленно, но неотвратимо тускнели, снова превращаясь в обыкновенные серые глыбы. Стало очевидно, что камни были твёрдыми. Рыболовы день за днём исчезали с реки вплоть до того дня, когда набережные окончательно опустели. Тела мальчиков и девочек начали преобразовываться из-за толстого белья, свитеров и шарфов, капюшонов и пелерин. Старики будто стали ещё старше, а старухи – медлительнее. Сена потускнела, пошли дожди, вода начала подниматься. Стало ясно, что солнце скоро откажется от непосильной борьбы, которую вело изо дня в день из-за каких-то нескольких часов над Парижем.

– Но на юге должно быть тепло, – сказал я.

Деньги наконец пришли. Мы с Хеллой изо дня в день пытались отыскать подходящий дом в Эзе, Кань-сюр-Мер, Вансе, Монте-Карло, Антибе, Грасе. В квартале нас больше почти не видели. Мы оставались в номере, много услаждались любовью, ходили в кино и выискивали для долгих и обычно довольно унылых обедов странные ресторанчики на правом берегу Сены. Трудно сказать, откуда бралась эта меланхолия, которая покрывала нас порой, как тень какой-то огромной, хищной, выжидающей птицы. Не думаю, что Хелла была недовольна, потому что никогда ещё я не лип к ней так часто, как в эти дни. Но, возможно, порой она чувствовала, что хватка моя была слишком настойчивой для того, чтобы казаться естественной, и уж конечно, слишком настойчивой, чтобы долго продолжаться.

Иногда, где-то неподалёку от нашего квартала, мне встречался Джованни. Я боялся на него смотреть – не только потому, что он почти всегда был с Жаком, но ещё и потому, что, хотя одет он был намного лучше, выглядел он плохо. Мне было невыносимо то, что я начал различать в его взгляде что-то одновременно жалкое и порочное, и то, как он хихикал в ответ на шуточки Жака и ломался, ломался, как «фея», на которую стал слегка походить. Мне не хотелось знать о характере их отношений с Жаком; но однажды мне всё стало ясно по злорадному и торжествующему взгляду Жака. А Джованни во время этой мимолётной встречи посреди вечеряющего бульвара, в толчее спешащих прохожих, вёл себя невероятно игриво и женственно и был совершенно пьян, – он будто заставлял меня отпить из чаши своего унижения. И я ненавидел его за это.

Следующий раз я видел его утром. Он покупал газету. Он нагло посмотрел на меня, прямо в глаза, и перевёл взгляд на что-то другое. Я смотрел ему вслед, пока уменьшалась его идущая вдоль бульвара фигура. Вернувшись в отель, я рассказал об этой встрече Хелле, стараясь рассмеяться.

Потом я встречал его в нашем квартале уже без Жака, в компании уличных парней, которых он когда-то называл *lamentables*⁶⁸. Теперь он уже не был так хорошо одет и начинал походить на них. Его дружком среди них, кажется, стал

⁶⁸ Жалкими (фр.)

тот самый длинный веснушчатый парень по имени Ив, которого я видел играющим в электрический бильярд, а потом – разговаривающим с Жаком в наше первое утро в Les Halles. Однажды, поздним вечером, когда я сам был изрядно пьян и бродил один по кварталу, я наткнулся на этого парня и взял ему что-то выпить в кафе. Я не упоминал Джованни, но Ив сам сказал, что они уже расстались с Жаком. Но якобы всё шло к тому, что Гийом снова готов взять его к себе барменом. Но не прошло и недели со дня этой встречи, как Гийом был найден мёртвым в своей квартирке над баром. Он был задушен поясом от собственного халата.

5

Это был очень громкий скандал, и если вы были в Париже в это время, то, безусловно, слышали об этом и видели напечатанные во всех газетах фотографии Джованни, снятые сразу после его ареста. Появились передовые статьи, были произнесены речи, и многие бары, подобные бару Гийома, были закрыты. (Но закрытыми они оставались недолго). Полицейские в штатском появились в этом квартале, проверяя у всех документы, и *tapettes*⁶⁹ были удалены из баров. Джованни нигде не могли найти. Его исчезновение со всей очевидностью подтверждало, конечно, что он был убийцей. Подобный скандал, пока не утихнут раскаты грома, всегда угрожает покачнуть самые основы государства. В таких случаях необходимо как можно скорее найти объяснение, выход из положения и жертву. Большинство мужчин, арестованных в ходе расследования, были взяты не по подозрению в убийстве. Их взяли по подозрению в том, что французы – с деликатностью, которая представляется мне издевательской, – называют *les goûts particuliers*⁷⁰. Эти «вкусы», которые не считаются во Франции преступлением, вызывают тем не менее крайнюю недоброжелательность у большинства простых людей, относящихся к своим правителям и «вышестоящим лицам» с окаменелым недостатком привязанности. Когда обнаружили тело Гийома, испугались не только уличные мальчишки; на самом деле они испугались гораздо меньше тех мужчин, рыскающих по улицам, чтобы их купить, чья карьера, положение в обществе и амбициозные планы были бы навсегда загублены такой славой. Отцы семейств, отпрыски прославленных фамилий и шелудивые искатели удовольствий из Бельвиля⁷¹ только и мечтали о том, чтобы история была поскорее замята, чтобы всё пошло по-старому и ужасающий бич общественной морали не хлестнул их по спинам. Они не знали, какую позицию им следовало срочно занять: кричать, что они мученики, или же оставаться тем, чем они и были в душе, – простыми гражданами, возмущёнными происшедшим, желающими, чтобы правосудие восторжествовало и здоровая мораль общества была спасена.

А между тем, всем повезло, что Джованни был иностранцем. Будто по какому-то волшебному молчаливому сговору газеты с каждым днём, пока не схватили Джованни, наполнялись всё большей бранью по отношению к нему и всё большей симпатией по отношению к Гийому. Вспомнили, что вместе с Гийомом прекратила своё существование одна из старейших фамилий Франции. Воскресные приложения расписывали историю его рода; его старая аристократичная мать, которая не пережила этот процесс, свидетельствовала о достойнейших качествах своего сына и сожалела, что коррупция пустила во Франции такие глубокие корни, и поэтому, мол, подобное преступление остаётся так долго не раскрытым. Плебс был, разумеется, более чем готов разделить эти чувства. Может, это и не так невероятно, как представляется мне, но имя Гийома фантастическим образом было увязано с французской историей, национальной гордостью и славой Франции, и стало тогда почти символом мужественности французов.

⁶⁹ Шлюхи (фр.)

⁷⁰ Особыми вкусами (фр.)

⁷¹ Небогатый район Парижа, населённый преимущественно рабочими и эмигрантами.

– Но послушай, – сказал я Хелле, – ведь это была просто гнусная старая «фея». Больше он *ничем* не был.

– Откуда, думаешь, люди, читающие газеты, могут узнать об этом? *Если* он действительно был таким, то, я уверена, он не рекламировал это и вращался в очень узком кругу.

– Но ведь *кто-то* же знает об этом. Знают и некоторые из тех, кто несёт эту околесицу.

– Нет большого смысла в том, – сказала она сдержанно, – чтобы чернить покойника.

– А имеет ли смысл говорить правду?

– Они и говорят правду. Он принадлежал к очень важной семье и был убит. Я знаю, что *ты* имеешь в виду. Есть другая правда, о которой они *не* говорят. Но газеты никогда этого не делают – они не для того существуют.

Я вздохнул.

– Бедный, бедный, бедный Джованни.

– Думаешь, он это сделал?

– Не знаю. Очень *похоже*, конечно, что он. Он был там в ту ночь. Видели, как он поднялся вверх перед закрытием бара, но не помнят, чтобы он спустился.

– Он работал в ту ночь?

– Кажется, нет. Просто пил. Они с Гийомом вроде бы снова тогда подружились.

– Надо сказать, ты обзавёлся странными друзьями, пока меня не было.

– Они не казались бы такими странными, если бы один из них не был убит. Так или иначе, никто из них не был мне другом – кроме Джованни.

– Ты жил с ним. И не можешь сказать, он совершил убийство или нет?

– Ну и что? Ты живёшь со мной. Могу я совершить убийство?

– Ты? Конечно, нет.

– А как ты знаешь? Ты не можешь знать. Откуда ты знаешь, что я такой, каким выгляжу?

– Потому что, – сказала она, наклоняясь и целуя меня, – я тебя люблю.

– Да? А я любил Джованни...

– Не так, как я люблю тебя.

– Я, если хочешь знать, может быть, уже совершил убийство. Что ты об этом знаешь?

– Почему ты так расстроен?

– А *ты* была бы расстроена, если бы твоего друга обвиняли в убийстве и он скрывался бы где-то? Почему тебя удивляет, что я расстроен? Чего ты от меня ждёшь – чтобы я распевал рождественские песенки?

– Не кричи. Я просто никогда не представляла себе, что он значит для тебя так много.

– Это был хороший человек, – ответил я. – Мне просто больно видеть его в беде.

Она подошла и мягко взяла меня за руку.

– Мы скоро уедем из этого города, Дэвид. И ты не будешь больше об этом думать. Люди попадают в беду, Дэвид. Но ты ведёшь себя так, будто во всём этом была и твоя вина. Но ведь это не так.

– Я *знаю*, что это не моя вина!

Но тон моего голоса и взгляд Хеллы заставили меня замолчать. Я с ужасом почувствовал, что готов разрыдаться.

Джованни не могли поймать почти неделю. Каждый раз, наблюдая из окна Хеллы поглощающую Париж тьму, я думал, что где-то там должен быть Джованни, может, под одним из мостов, что ему холодно и страшно, что ему некуда идти. Я надеялся, что он нашёл друзей, которые его прячут: было немислимо, что в таком небольшом и кишашщем полицейскими городе его не могут найти так долго. Иногда

я боялся, что он отыщет меня, будет умолять о помощи или убьёт меня. Потом мне пришло в голову, что скорее всего он считает ниже своего достоинства просить о помощи меня и что он наверняка уже решил, что не стоит меня убивать. Я старался найти спасение в Хелле. Каждую ночь я пытался утопить в ней всю свою вину и страх. Необходимость делать что-то стала во мне подобна горячке, и единственной возможностью действия был акт любви.

В конце концов его поймали ранним утром на пришвартованной к набережной барже. До этого в газетах появились слухи, что он уже в Аргентине, поэтому всех ужасно удивило, что он не дошёл дальше Сены. Этот недостаток «дерзости» с его стороны не прибавил ему общественного сочувствия. Он, Джованни, был преступником низшего сорта, кустарём. Настаивали, например, на том, что ограбление было главным мотивом убийства. Но, хотя Джованни и взял все деньги, бывшие у Гийома в карманах, он не прикоснулся к кассе и, кажется, даже не подозревал, что Гийом прятал в шкафу другой бумажник, в котором было более тысячи франков. Взятые деньги были всё ещё у него в карманах, когда его схватили; он не смог ими воспользоваться. Он ничего не ел два или три дня и был слаб, бледен и непривлекателен. Его лицо смотрело с газетных стендов по всему Парижу. Он выглядел молодо, растерянно, испуганно и порочно; будто он, Джованни, не мог поверить, что дошёл до такого, что дошёл и что ему больше некуда идти: его короткий путь обрывался под казённым ножом. Казалось, что он уже пятится назад, содрогаясь каждой клеточкой своей плоти перед этим леденящим кровь видением. И ещё казалось, как много раз до того, что он зовёт меня на помощь. Газеты поведали немилосердному миру, как Джованни каялся, молил о пощаде, рыдал и божился, что он не хотел этого делать. Они также смаковали детали того, как он это сделал, но не говорили – почему. Это «почему» было бы слишком черно для газетной полосы и слишком глубоко для Джованни, чтобы он мог объяснить.

Наверно, я был единственным человеком в Париже, кто знал, что он не хотел этого делать, кто мог прочесть между газетных строк, почему он это сделал. Я снова вспомнил, как нашёл его в тот вечер дома, как он рассказывал мне, что Гийом уволил его. Я снова услышал его голос, ощутил неистовость его тела, увидел его слёзы. Я знал его заносчивость, знал, что он считал себя *débrouillard*⁷², вне конкуренции, и представлял себе, как он ввалился в бар Гийома. Он должен был понимать, что тем, что он сдался Гийому, окончилось его ученичество, кончилась для него любовь, и теперь он мог делать с Гийомом всё, что тому угодно. Да, он мог делать с Гийомом, что угодно, но – не мог перестать быть Джованни. Гийом, конечно, был в курсе всего. Жак должен был незамедлительно сообщить ему, что Джованни уже не живёт с *le jeune Américain*⁷³. Возможно, что Гийом уже присутствовал на одной или двух вечеринках у Жака в окружении своих. И он, разумеется, знал, весь этот круг знал, что новообретённая свобода Джованни, отсутствие у него любовника должны обернуться возможностью и даже правом на беспутство, – ведь это уже случилось с каждым из них. Это должно было быть звёздным часом для всего бара, когда Джованни распахнул дверь.

Я представил себе их разговор.

– *Alors, tu es revenu?*⁷⁴ – должен был сказать Гийом, сопроводив это соблазняющим, язвительным и откровенным взглядом.

Джованни понимает, что ему не собираются напоминать о недавней безобразной сцене и что Гийом расположен дружески. Но в то же время лицо Гийома, его голос, манеры и запах действуют ему на нервы. Стоя перед ним, он старается не проклинать его в душе, но улыбка, которой он ответил на слова Гийома, чуть

⁷² Умеющим выкрутиться из любого положения (фр.)

⁷³ Молодым американцем (фр.)

⁷⁴ Ну что, уже вернулся? (фр.)

не вызвала у него самого рвоту. А Гийом, разумеется, ничего этого не видит и ставит перед Джованни рюмку.

– Я подумал, что тебе, может быть, нужен бармен, – говорит Джованни.

– А ты что – ищешь работу? Я думал, что твой американец уже купил для тебя нефтяную скважину в Техасе.

– Нет. Мой американец, – говорит он, проводя рукой по воздуху, – улетучился. Они оба смеются.

– Американцы всегда летают. Они несерьезны, – говорит Гийом.

– C'est vrai⁷⁵, – говорит Джованни.

Он допивает свою рюмку, чтобы не смотреть Гийому в глаза, выглядит ужасно пристыженным и, возможно, начинает бессознательно что-то насвистывать. А Гийом уже не может отвести от него глаз и еле сдерживает свои руки.

– Приходи попозже, перед закрытием, и мы потолкуем об этой работе, – говорит он наконец.

Джованни кивает и уходит. Представляю себе, как он нашёл своих уличных дружков, как пьёт с ними, хохочет, набираясь храбрости, пока в мозгу тикают часы. Ему до смерти хочется, чтобы кто-нибудь сказал, чтобы он не возвращался к Гийому, не позволял ему себя лапать. Но дружки эти твердят, как богат Гийом, какой он старый и жалкий педик, сколько он сможет выкачать из Гийома, если поведёт себя умело.

И на бульваре нет никого, чтобы поговорить с ним, спасти его. Он чувствует, что гибнет.

Потом наступает время вернуться в бар. Он идёт туда один. Немного медлит у входа. Ему хочется убежать, скрыться. Но бежать некуда. Он всматривается в длинную тёмную кривую улицу, будто ищет кого-то. Но никого там нет. Он входит в бар. Гийом сразу замечает его и незаметно делает ему знак подняться наверх. Он идёт по лестнице. У него подгибаются колени. В комнате Гийома – среди шелка, цветастой мишуры и духов – он впиивается взглядом в кровать.

Потом входит Гийом, и Джованни пытается улыбнуться. Они что-то пьют. Рыхлый и потный Гийом начинает проявлять нетерпение, и от каждого прикосновения его рук Джованни всё больше сжимается и отстраняется с отвращением. Гийом исчезает, чтобы переодеться, и возвращается в своём театрально роскошном халате. Он хочет, чтобы Джованни разделся...

Наверно, в этот момент Джованни понимает, что не вынесет этого, что воля его не выдержит. Он вспоминает о работе. Он старается завести разговор о деле, сдержаться, но, конечно, уже слишком поздно. Гийом обступает его со всех сторон, как море. Думаю, что Джованни, впадая в состояние безумия, чувствует, что тонет, что уступает, и Гийом добивается своего. Если бы этого не произошло, Джованни не убил бы его.

Потому что, уже насладившись и пока Джованни всё ещё лежит задыхаясь, Гийом снова становится деловым человеком, расхаживает по комнате, вполне резонно объясняет, почему Джованни не может больше у него работать. Какие бы предлоги ни придумывал Гийом, настоящая причина не называется, но оба они, каждый по-своему, догадываются о ней: Джованни, подобно закатившейся кинозвезде, потерял притягательную силу. Теперь всё о нём известно, он больше не представляет собой загадки. Джованни, безусловно, понимает это, и бешенство, накопившееся в нём за столько месяцев, закипает в нём и раздувается от ощущения на себе рук и губ Гийома. Какое-то время он молча и в упор смотрит на него, потом начинает кричать. Гийом отвечает ему. И с каждым произнесённым словом в голове у Джованни всё сильнее гудит, и на глаза волнами накатывает темнота. А Гийом на седьмом небе и прыгает по комнате: он никогда ещё не получал так

⁷⁵ Это правда (фр.)

много почти даром. Он раскручивает эту сцену до предела, глубоко радуясь тому, что у Джованни багровеет лицо и грубеет голос, наблюдая с откровенным наслаждением, как у него на шее надуваются твёрдые, как камень, мускулы. И думая, что все карты уже биты, он говорит что-то такое, произносит одну лишнюю фразу, лишнее оскорбление, лишнюю насмешку; и умолкнув от собственной наглости, он мгновенно понимает по глазам Джованни, что привёл в движение что-то такое, чего ему уже не остановить.

Джованни, конечно, не собирался этого делать. Но он хватается за него, бьёт. И вместе с этим прикосновением, с каждым следующим ударом невыносимая тяжесть на сердце отпускает его: теперь настает черёд Джованни наслаждаться. Всё в комнате уже перевёрнуто, ткани разодраны, удушливые духи разлиты. Гийом делает попытки вырваться из комнаты, но Джованни настигает его везде: настает черёд Гийому быть окружённым со всех сторон. И, возможно, в тот самый момент, когда Гийом думает, что ему удастся спастись, когда он дотягивается до двери, Джованни бросается на него, ловит его за пояс халата и обматывает этим поясом ему шею. Потом он просто держит его, всхлипывая, становясь всё легче по мере того, как Гийом тяжелеет, затягивая пояс и сквернословя. Потом Гийом падает. Но падает и Джованни – обратно, в комнату, на улицу, в мир, где уже присутствует покрывающая его свою тенью смерть.

К тому времени, когда мы нашли этот вместительный дом, мне стало ясно, что я не имею права сюда ехать. К тому времени, когда мы его нашли, я уже не хотел его видеть. Но к тому времени уже ничего другого не оставалось делать. Мне не хотелось делать ничего другого. Правда, я думал, что должен остаться в Париже, чтобы следить за процессом и, может, даже навестить его в тюрьме. Но я понимал, что делать этого не следовало. Жак, находившийся в постоянном контакте с адвокатом Джованни и в постоянном контакте со мной, видел Джованни один раз. Он сказал мне то, что я и так знал: ни я, ни кто другой уже не может ничего сделать для Джованни.

Наверно, он хотел умереть. Он признал на суде, что виновен в убийстве с целью ограбления. В прессе много писали об обстоятельствах, при которых Гийом его уволил. Судя по этим статьям, создавалось впечатление, что Гийом был бескорыстным и, пожалуй, несколько сумасбродным благодетелем, имевшим несчастье подружиться с бесчувственным и неблагодарным авантюристом по имени Джованни. Потом эта история начала постепенно исчезать с первых страниц. Джованни увезли в тюрьму в ожидании суда.

А мы с Хеллой приехали сюда. Возможно, я думал (уверен, что думал вначале), что если уж я ничего не могу сделать для Джованни, то могу что-то для Хеллы. Должно быть, я надеялся, что Хелла может что-то сделать для меня. Она и могла бы, если бы дни не тянулись для меня, как за решёткой. Я не мог не думать о Джованни и жил только короткими сообщениями, приходившими время от времени от Жака. Всё, что мне запомнилось из этой осени, это ожидание начала суда над Джованни. Потом, наконец, суд состоялся, он был признан виновным и приговорён к смертной казни. Всю долгую зиму я считал дни. И этот дом наполнился кошмарами.

Много писали о любви, вылившейся в ненависть, о том, как холодеет сердце, когда умирает любовь. Это удивительный процесс. Он гораздо страшнее всего, что я когда-либо читал, и страшнее всего, что я когда-нибудь смогу об этом сказать.

Теперь я уже не могу сказать, когда я в первый раз, посмотрев на Хеллу, нашёл её скучной, тело её неинтересным, её присутствие раздражающим. Кажется, что всё это произошло сразу, но на самом деле это лишь значит, что началось всё уже давно. Я ощутил это просто от лёгкого прикосновения кончика её груди к моей руке, когда она наклонилась ко мне, подавая мне что-то на ужин. Плоть моя со-

дрогнулась от отвращения. Её бельё, развешенное в ванной (раньше я думал, что оно пахнет ужасно приятно и что она стирает его слишком часто), казалось мне теперь уродливым и несвежим. Тело, покрытое такими странными угловатыми кусочками ткани, казалось нелепым. Иногда, когда я наблюдал, как двигалось её нагое тело, мне хотелось, чтобы оно было крепче и жёстче; меня страшно пугали её груди, и когда я входил в неё, мне начинало казаться, что живым мне оттуда уже не выбраться. Всё, что когда-то доставляло мне наслаждение, теперь вызывало тошноту.

Думаю, уверен, что никогда в жизни мне не было так страшно. Когда мои пальцы начинали невольно ослаблять свою хватку, я ощущал, что болтаюсь над пропастью и что цеплялся за Хеллу, спасая свою жизнь. С каждым мгновением, пока соскальзывали мои пальцы, увеличивался рёв пустоты подо мной, и я чувствовал, как всё во мне отчаянно сжимается, неистово устремляется вверх – против этого долгого падения.

Я думал, что это происходит только потому, что мы проводим слишком много времени вдвоём, поэтому мы начали разъезжать. Съездили в Ниццу, в Монте-Карло, в Канны и в Антиб. Но мы не были богаты, а юг Франции в зимнее время принадлежит игрокам-толстосумам. Мы часто ходили в кино и часто сидели в пустых захолустных барах. Мы много бродили в молчаньи. Мы уже не видели вещи так, чтобы хотелось обратиться на них внимание друг друга. Мы много пили, особенно я. Хелла, вернувшаяся из Испании такой загорелой, уверенной в себе и обаятельной, начала всё это терять, стала бледной, настороженной и неуверенной. Она перестала спрашивать, что со мной происходит, потому что твёрдо усвоила, что я либо не знаю, либо не скажу. Она следила за мной. Я чувствовал это, весь напрягался и ненавидел её за это. Чувство вины, когда я смотрел на её приближающееся лицо, становилось невыносимым.

Мы находились в полной зависимости от расписания автобусов и часто, ранним зимним утром, сонно жались друг к другу в зале ожидания или мёрзли на углу улицы какого-нибудь совершенно безлюдного города. Возвращались домой в сером рассвете, еле волоча ноги от усталости, и сразу валились в кровать.

По утрам меня почему-то тянуло на любовь. Возможно, это было связано с нервным истощением, или же эти ночные блуждания приводили меня в странное, неутолимое возбуждение. Но всё уже было не так, что-то утратилось: удивление, страстность и радость исчезли, ушёл покой.

Сны мои превратились в кошмары, и иногда я просыпался от собственного крика, а иногда Хелла будила меня, чтобы я не стонал.

– Мне хотелось бы знать, – сказала она однажды, – что с тобой. Скажи мне и позволь тебе помочь.

Я растерянно и горестно покачал головой, глубоко вздохнув. Мы сидели в гостиной, где я сейчас стою. Она сидела в том кресле под лампой, с открытой книгой на коленях.

– Милая ты моя, – сказал я и добавил: – Это ничего. Пройдёт. Просто нервы, наверно.

– Это из-за Джованни, – сказала она.

Я внимательно на неё посмотрел.

– Всё из-за того, – спросила она осторожно, – что ты винишь себя, что совершил что-то ужасное, оставив его в той комнате? Думаю, ты видишь свою вину в том, что с ним стало. Но, милый, что бы ты ни делал, это уже не помогло бы ему. Перестань себя терзать.

– Он был такой красивый, – сказал я, не ожидая от себя этих слов, и почувствовал, что начинаю дрожать. Она не спускала с меня глаз, пока я подходил к столу, на котором, как и сейчас, стояла бутылка виски, и налил себе.

Я не мог не говорить, хотя и боялся, что в любую минуту могу сказать что-то лишнее. А может, мне и хотелось сказать лишнее.

– Я не могу не думать, что это из-за меня над ним нависла тень гильотины. Он хотел, чтобы я остался жить с ним там, в его комнате, он умолял меня. Я не рассказал тебе, что у нас была страшная ссора в ту ночь, когда я пошёл забрать свои вещи.

Я помолчал, прикладываясь к стакану.

– Он плакал.

– Он был влюблён в тебя, – сказала Хелла. – Почему ты не сказал мне об этом? Или ты не знал?

Я отвернулся, чувствуя, что лицо у меня пылает.

– Это не твоя вина, – сказала она. – Неужели ты не понимаешь? Ты не мог сделать так, чтобы он в тебя не влюбился. Ты не мог уберечь его, чтобы... чтобы он не убил этого ужасного человека.

– Ты ничего об этом не знаешь, – пробормотал я. – Ничего не знаешь.

– Я знаю, что ты чувствуешь...

– Ты *не знаешь*, что я чувствую.

– Дэвид, не таись от меня. Пожалуйста, не таись. Позволь тебе помочь.

– Хелла, детка. Я знаю, что ты хочешь помочь. Но оставь меня в покое на какое-то время. Всё будет в порядке.

– Ты обещаешь это уже давно, – сказала она устало.

Несколько минут она настойчиво смотрела на меня, потом сказала:

– Дэвид. А не думаешь ли ты, что нам пора вернуться домой?

– Домой? Для чего?

– А для чего мы здесь остаёмся? Сколько ты ещё собираешься сидеть в этом доме, терзая себе сердце? А каково мне это видеть, как ты думаешь?

Она встала и подошла ко мне.

– Пожалуйста. Я хочу вернуться домой. Хочу, чтобы мы поженились. Чтобы у нас были дети. Хочу обосноваться где-нибудь, хочу *тебя*. Дэвид, пожалуйста. Зачем мы убиваем здесь время?

Я отстранился от неё резким движением. Она недвижно стояла у меня за спиной.

– Дэвид, в чём дело? Чего ты хочешь?

– Я не знаю. Не-зна-ю.

– Что ты от меня скрываешь? Почему не скажешь мне правду? *Правду* скажи!

Я повернулся к ней лицом.

– Хелла... потерпи меня, *вытерпи* меня... ещё немного.

– Я сама хочу, – закричала она, – но *где* ты? Ты ускользаешь куда-то, и я не могу тебя найти. Если бы только позволил мне *достать* до тебя!..

Она заплакала. Я заключил её в свои объятия. Но ровно ничего не почувствовал.

Я целовал её солёные слёзы и шептал-шептал не знаю что. Я чувствовал, как напрягается её тело, напрягается, чтобы соединиться с моим, чувствовал собственную скованность и желание освободиться и знал, что это начало долгого падения. Я отошёл от неё. Она мотнулась на том месте, где я держал её, как марионетку на нитках.

– Дэвид, пожалуйста, дай мне быть женщиной. Мне всё равно, что ты со мной сделаешь. Всё равно, какой ценой. Я отпущу длинные волосы, брошу курить, выброшу все книги.

Она попыталась улыбнуться. У меня защемило сердце.

– Только дай мне быть женщиной, владей мной. Больше мне ничего не нужно. Не нужно *ничего*. На остальное мне наплевать.

Она приблизилась ко мне. Я стоял неподвижно. Она коснулась меня, поднимая своё лицо ко мне с отчаянным и невероятно трогательным доверием.

– Не бросай меня обратно в море, Дэвид. Позволь мне остаться здесь, с тобой.

Потом она поцеловала меня, вглядываясь в моё лицо. Губы у меня были холодными. Я ничего ими не почувствовал. Она снова поцеловала меня, и я закрыл

глаза, чувствуя, как тяжёлые цепи тянут меня в огонь. Казалось, что моё тело никогда не проснётся от её тепла, её настойчивости, под её руками. Но когда оно проснулось, я вышел из него. С огромной высоты, где воздух вокруг меня был холоднее льда, я наблюдал своё тело в чьих-то объятиях.

В тот же вечер, или в один из ближайших вечеров, я оставил её спящей в спальне и поехал в Ниццу.

Я обошёл все бары этого сверкающего огнями города и под конец первого вечера, оглушённый выпитым и злой от похоти, поднялся по лестнице какого-то тёмного отеля в компании матроса. На следующий вечер оказалось, что увольнительная у матроса ещё не кончилась и что у матроса есть приятели. Мы отправились к ним. Остались там на ночь. Мы провели вместе следующий день и день после того. В последний его свободный вечер мы стояли вместе и пили у стойки многолюдного бара. Напротив было зеркало. Я был пьян в стельку. У меня не осталось почти ни гроша. И вдруг я увидел в зеркале лицо Хеллы. На мгновение мне показалось, что я спятил, и я повернулся. Она казалась очень усталой, погасшей и маленькой.

Довольно долго мы не произносили ни звука. Я чувствовал, что матрос вылутился на нас.

— Она, наверно, ошиблась баром? — сказал он наконец.

Хелла посмотрела на него. Улыбнулась.

— Я ошиблась не только в этом, — сказала она.

Тогда матрос уставился на меня.

— Ну вот, — сказал я Хелле, — теперь ты всё знаешь.

— Думаю, что знала это уже давно.

Она повернулась и хотела уйти. Я сделал движение ей вслед. Матрос схватил меня.

— Ты что?.. С ней?..

Я кивнул. Его лицо с открытым ртом было комично. Он отпустил меня, я отошёл, и когда подходил к дверям, услышал его хохот.

Мы долго шли по промозглым улицам в молчании. Казалось, все люди вымерли. Казалось невысказанным, что когда-нибудь рассветёт.

— Ладно, — сказала Хелла, — я возвращаюсь домой. Жаль, что вообще оттуда уехала.

— Если я останусь здесь ещё, — сказала она уже утром, укладывая в чемодан свои вещи, — я забуду окончательно, что такое быть женщиной.

Она была очень холодна и как-то горько красива.

— Не уверен, что существует женщина, которая *могла бы* это забыть, — сказал я.

— Есть такие, что забыли, что быть женщиной означает не только терпеть унижение и терпеть обиду. Я этого ещё не забыла, — добавила она, — вопреки тебе. И не собираюсь забывать. Я хочу убраться из этого дома и от тебя с такой скоростью, на какую только способны такси, поезда и корабли, уносящие меня.

В комнате, служившей нам поначалу спальней, она передвигалась с судорожной спешкой стремящегося скрыться — между раскрытым на кровати чемоданом, комодом и шкафом. Стоя в дверном проёме, я наблюдал за ней. Я стоял там так, как стоит перед учителем маленький мальчик, надувший в штаны. Все слова, что я хотел сказать, застревали репьями у меня в горле и не давали рту шевельнуться.

— Мне всё-таки хотелось бы, — выговорил я наконец, — чтобы ты поверила, что если я и лгал кому-то, то только *не тебе*.

Она повернулась ко мне с искажённым лицом.

— Но говорил-то ты *со мной*. И со мной тебе хотелось уехать в этот жуткий дом посреди глухомани. И на мне, как уверял, тебе хотелось жениться.

– Я хочу сказать, что лгал самому себе.

– А, понимаю, – сказала Хелла. – Это, разумеется, всё объясняет.

– Я просто хочу сказать, – прокричал я, – что если тебя чем-то обидел, то не хотел этого!

– Не ори. Я скоро уйду. Потом ты можешь кричать вон тем холмам или крестьянам о том, как ты виноват, как тебе нравится быть виноватым!

Она снова принялась двигаться взад-вперёд между чемоданом и комодом, но уже медленнее. Влажные волосы падали ей на лоб, и лицо было влажным. Мне страшно захотелось взять её в свои объятия, приглубить. Но это уже ничему бы не помогло, только продлило пытку для нас обоих.

Передвигаясь по комнате, она смотрела не на меня, но на вещи, которые укладывала, будто сомневаясь, что они её.

– Я ведь *знала*, – сказала она. – всё знала. Поэтому мне так горько. Я читала это в каждом твоём взгляде. Каждый раз, когда мы ложились в кровать. Если бы только ты *тогда* мне сказал правду. Неужели ты не понимаешь, как бессовестно было ждать, пока я *сама* всё узнаю? Обрушить эту тяжесть *на меня*? Я ведь *имела право* услышать это от тебя: женщина всегда ждёт, когда *мужчина* заговорит. Или ты об этом не слышал?

Я ничего не ответил.

– Я бы не торчала столько времени в *этом* доме. Не гадала бы теперь, как же, Господи, я выдержу это долгое возвращение. Я бы уже была дома и танцевала с каким-нибудь мужиком, который хотел бы меня поиметь. И я *дала бы* и ему. Почему бы и нет?

И она диковато улыбнулась на ворох капроновых чулок в своей руке, и аккуратно уложила их в чемодан.

– Может, я *сам* не понимал этого раньше. Знал только, что мне нужно бежать из комнаты Джованни.

– Ну вот ты и бежал. А теперь мой черёд. Один бедный Джованни – потерял голову.

Это была гадкая шутка, и сказано это было, чтобы меня ранить. Но язвительная улыбка ей плохо удалась.

– Мне никогда этого не понять, – сказала она после паузы, посмотрев мне в глаза так, будто я должен был помочь ей разобраться. – Этот мерзкий маленький бандит загубил твою жизнь. Думаю, что загубил и мою. Американцы не должны никогда приезжать в Европу, – промолвила она и попыталась засмеяться, но начала плакать, – потому что потом они уже никогда не будут счастливы. А какой толк в американце, если он несчастен? Счастье – это всё, что у нас было.

И, рыдая, она бросилась в мои объятия, в мои объятия в последний раз.

– Не думай так, – пробормотал я, – не надо. У нас есть гораздо больше, и всегда было гораздо больше. Только... только иногда это трудно вынести.

– Господи, как я хотела тебя, – сказала она. – Любой из тех, кого я встречу, будет напоминать мне о тебе.

Она снова попыталась засмеяться.

– Бедный человек! Бедные люди! Бедная я!

– Хелла! Хелла! Когда-нибудь, когда ты будешь счастлива, постарайся простить меня.

Она отстранилась.

– Эх... Да я больше ничего не смыслю в счастье. И ничего – в прощении. Но если женщинами должны управлять мужчины и если таких мужчин больше нет, то что же будет? Что же будет?

Она подошла к шкафу, сняла с вешалки своё пальто, потом порылась в сумочке, вынула пудреницу и, глядя в крошечное зеркальце, тщательно вытерла глаза и намазала губы помадой.

– Между маленькими мальчиками и маленькими девочками есть разница, как объясняют в этих маленьких голубеньких книжках. Маленькие девочки хотят маленьких мальчиков. А маленькие мальчики!..

Она захлопнула пудреницу.

– Сколько бы я ни жила, я уже никогда не узнаю, *чего* они хотят. Но знаю теперь, что сами они никогда мне скажут. Думаю, они не знают, как объяснить.

Она поправила волосы рукой, отбросила их со лба, и теперь, с напомаженными губами, в тёплом чёрном пальто, снова стала холодной, эффектной, ужасно беспомощной и до смерти испуганной женщиной.

– Налей мне чего-нибудь, – сказала она. – Мы можем выпить за старые добрые времена, пока не подъехало такси. Не надо провожать меня до станции. Я хотела бы пить всю дорогу до Парижа и всю дорогу через этот проклятый океан.

Мы выпили молча, ожидая услышать шорох гравия под колёсами. Потом услышали его, увидели фары, и таксист начал сигналить. Хелла поставила стакан, запахла пальто и двинулась к двери. Я понёс за ней чемоданы. Мы с шофёром уложили их в багажник, и всё это время я старался придумать, что сказать ей на прощание, чтобы развеять горечь. Но мне ничего не приходило в голову. И она ничего не сказала. Совершенно прямая, она стояла под тёмным зимним небом и смотрела вдаль. И когда всё было готово, я повернулся к ней.

– Ты действительно не хочешь, чтобы я проводил тебя до станции, Хелла?

Она взглянула на меня и протянула руку.

– До свидания, Дэвид.

Я взял её руку в свою. Она была холодной и сухой, как её губы.

– До свидания, Хелла.

Она села в машину. Машина развернулась, потом выехала на дорогу. Я помахал рукой в последний раз, но Хелла не ответила.

* * *

Горизонт в окне начинает светлеть, превращая серое небо в пурпурно-голубое.

Я уже собрал чемоданы, прибрал в доме. Ключи от дома лежат передо мной на столе. Мне осталось только переодеться. Когда рассветёт чуть больше, автобус, который отвезёт меня в город, на станцию, к поезду, который отвезёт меня в Париж, появится на повороте дороги. Но я всё ещё не могу двинуться с места.

На столе ещё лежит маленький голубой конверт с запиской от Жака, сообщающей мне о дне, когда будет казнён Джованни.

Я наливаю в стакан чуть-чуть виски и смотрю на своё отражение в окне, которое становится всё бледнее. Кажется, что я растворяюсь у себя на глазах; этот образ начинает меня забавлять, и я смеюсь про себя.

Теперь уже решётчатая дверь должна открыться перед Джованни и с лязгом захлопнуться за ним, чтобы никогда больше не открываться и не закрываться для него. А может, всё уже кончено. Или, возможно, только начинается. Может быть, он ещё сидит в камере, наблюдая – вместе со мной – за наступлением утра. Возможно, уже доносится шёпот из конца коридора, где трое крепких мужчин в чёрном разуваяются; у одного из них в руке большое кольцо с ключами; вся тюрьма замерла в ожидании, наполнилась ужасом. Тремя ярусами ниже кто-то бесшумно двигается по бетонному полу, останавливается, закуривает сигарету. Умрёт ли он один? Я не знаю, является ли в этой стране смерть единоличным или коллективным актом. И что он скажет исповеднику?

«Раздевайся, – раздаётся голос во мне, – уже поздно».

Я иду в спальню, где на кровати разложены вещи, которые я надену, а рядом – раскрытый, готовый чемодан. Начинаю раздеваться. В этой комнате есть зеркало, большое зеркало. Оно приковывает меня к себе.

Лицо Джованни качнулось передо мной, как неожиданная вспышка фонаря в тёмной-тёмной ночи. Его глаза... его глаза горят, как у тигра, они смотрят в упор, следя за приближением последнего врага, и волосы у него на теле встают дыбом. Не могу понять, что отражается в его глазах: если это страх, то я ещё никогда не видел страха, а если боль, то она ещё никогда не касалась меня своей рукой. И вот они подходят, вот поворачивается ключ в замочной скважине, вот они хватают его. Он кричит, но лишь раз. Они смотрят на него как бы издали. Они тянут его к двери камеры, коридор вытягивается перед ним, как кладбище его прошлого, тюремные стены кружатся вокруг него. Может быть, он начинает стонать, а может, не произносит ни звука. Путешествие начинается. Но возможно, крикнув сначала, он уже не замолкает, и может быть, его крик раздаётся сейчас, сотрясая все эти камни и железо. Я вижу, как подгибаются у него ноги, как обмякли бёдра и дрожат ягодицы, где начинает стучать невидимый молот. Он взмок или же сухой. Они тащат его или он идёт сам. У них ужасная хватка, и он не чувствует больше собственных рук.

По этому длинному коридору, по этим металлическим лестницам, в сердце тюрьмы и прочь от него, в комнату священника. Он опускается на колени. Горит свеча, Приснодева наблюдает за ним.

«Мария, благословенная мать Божия».

У меня самого липкие руки, а тело – онемелое, белое и сухое. Я вижу это в зеркале, уголком глаза.

«Мария, благословенная мать Божия».

Он целует распятие и цепляется за него. Священник мягко отводит от него крест. Потом они поднимают Джованни. Путешествие начинается. Они выходят, направляются к другой двери. Он стонет. Ему хочется сплунуть, но во рту пересохло. Он не может попросить их подождать минуту, чтобы помочиться, – через минуту в этом не будет никакой нужды. Он знает, что за этой дверью, которая неумолимо приближается, ждёт лезвие. Эта дверь – те врата, которые он так долго искал, чтобы вырваться из этого грязного мира, из этого грязного тела.

«Уже поздно».

Тело в зеркале заставляет меня повернуться к нему. И я смотрю на своё тело, приговорённое к смерти. Оно худое, крепкое и холодное – воплощение тайны. Я не знаю, что в этом теле происходит, чего оно ищет. Оно заключено в это зеркало, как заключено во времени, и устремлено к откровению.

*Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое*⁷⁶.

Я желаю, чтобы это пророчество осуществилось. Я желаю разбить это зеркало и стать свободным. Я смотрю на свой член, причиняющий мне столько забот, и думаю, как спасти его, как уберечь от лезвия. Путешествие к могиле уже началось, путешествие к разложению всегда, уже закончено наполовину. Но ключ моего спасения, который не спасёт тело, скрыт в моей плоти.

Теперь дверь перед ним. Мрак обступает его, нутро наливается молчанием. Потом дверь открывается, и он остаётся один, и весь мир откатывает от него прочь. Крошечный уголок неба, кажется, пронзительно кричит, хоть он и не слышит ни звука. Тогда земля опрокидывается, его бросают во тьму лицом вниз, и его путешествие начинается.

Я отхожу наконец от зеркала и прикрываю свою наготу, которую должен боготворить, хотя она ещё никогда не была мне так мерзка, и которая будет беспрестанно разъедаться солью моей жизни. Я должен верить – верить, что только непреложное милосердие Божье, принесшее меня сюда, меня отсюда и вынесет.

И вот, наконец, я выхожу на утренний свет и закрываю за собой дверь. Я перехожу дорогу и бросаю ключи в почтовый ящик пожилой соседки. Я смотрю

⁷⁶ | Кор. 13.11.

на дорогу, где уже стоят люди, несколько мужчин и женщин, ожидающих первый автобус. Они очень живописны под сенью пробуждающегося неба, и горизонт за ними всё ярче воспламеняется. Утро взвешивает на моих плечах страшный груз надежды, и я вынимаю голубой конверт, присланный Жаком, и медленно рву его на мелкие клочки, наблюдая, как они танцуют на ветру, как ветер уносит их вдаль. Но, когда я поворачиваюсь и направляюсь к ожидающим людям, ветер приносит мне некоторые из них обратно.

КОНЕЦ

ПЫЛЬ-СТРЕКОЗА*

* * *

(нынешняя осень откупилась прорвою яблок, и вся церковь в Мичуринце была в порезах сахарно-горчичного запаха, перебившего ладан,.. шло отпевание.., розовая крышка гроба стояла у входа как яблочный гном, управляющий жизнями всех утонувших в его садах)

мой воробей
зачем тебе карамельные пальцы
выкрали сон подожгли телефонную будку
спи в середине немытого яблока
птица журавль
птица удод
пыль-стрекоза

тощее солнце ну сколько порхать
леденцовая осень в чепце
а старуха в маразме
и чиркает птичку за птичкой
соринки налипшие осень
дрожащий приют возле губ
спутанный взгляд в паутине

зверь мой с измученной шкурой
на что тебе эта душа
карточный город – игральная кость
обманувшая ватную память

пыль, паутина

сентябрь 1996

КЛАДБИЩЕ Pere Lachaise

(кольцо позеленевшей меди,
вдогонку обручальное)

По кругу
каштаны плавали

* Из одноименной книги

раскачиваясь как больные псы
считая монотонно вслух надгробья
– и хрипло вдруг выкрикивали имя! –
так нежно лопалась древесная кора.

Апрельской изморосью вдаль оно катилось –
прозрачный шар с разгадкой внутри.

май 1998

ты вдохнул меня – и выдохнешь
стекленеющую – выдешь:
птицею – не птицею
карлицей
змеей
из очей незрячих выдавишь
веселящий гной

помнится:
смертями малыми
да горлицами алыми
пеною да бездною
прикармливала ангелов

а с петлиц слетела дверь –
листьев преющих дремота
распласталась над порогом
ноги моет маята
темноокому
беспокойно в даль глядящему
монотонно говорящему:

– вижу как по дну реки
ходят черные мешки
все бормочут поджидают
по сто раз до ста считают
у них кровь на заплатках
крюки на воротах

пустынно нетленно
блаженно! блаженно!

31.05.99

На выгнувшийся на порог,
себя самой поперек
стволом
и
цвела на

губах моих
дребедень.
День стоял
но мне чудилось –
чудится день.

Отходила кора,
и корил меня
дышащий падалью мох:
– не желай больше двух!
– не бери больше трех!
Но единожды – спрячь,
Но единожды – прочь.

Ночь была
но мне чудилось –
чудится ночь

5 - 11.01.97

Так в рай хотелось,
что в золотой пыльце
и в синей пыли –
не узнала ада.
Но дверь и там захлопнулась,
и здесь.
И два пространства давят,
сильясь слиться,

до красного пергамента,
до сипа
ступни моей.

1998

Сетка-сеточка над Парижем,
дождевая висит сеть.
Ты был близок,
а все же ближе,
надо же, смерть.

Ты водил меня за руку
в Городе Зыбкой Надежды
показать,
где не будет нас вместе
отныне и впередь.

Легких слез –
мой тюлень,
мой олень,

мой лохматый медведь —
не досталось на нашу долю,
лишь чернота и медь.

Лишь пустота и сахар,
и синий на рю Дарю
неприступным осколком
гномик лицом к плечу.
Обвенчавшись
мгновенной тенью
в ладанном мареве,
мы ушли,
позабыв про свечу.

И прожглись, и продлились,
и губами коснулись пепла
возле Улочки Убегающей Кошки,
столь короткой! —
А жизнь короче.

Ты мое дитя.
Я твое дитя.
Смерть все видит.
А жизнь короче.

05.05.1998

где нету смысла ждать,
там смысл вдруг появляется как плесень...

...

С Остужева и до Воротниковки
так зябко дышат легкие подковки,
что кажется, вот-вот умрут
на берегу Трехпрудного,
но до угла доходят,
три апельсина желтых покупают,
роняют в снег и роются в снегу.

Вот два нашлись,
но где бесенок третий?
Наверно, он смеется, в снег нырнув!

Прощай, беглец,
я все на свете знаю
при свете этой утренней зари.

Как ясно все на этом белом свете!
Зима, зима, поставлен крест на лете,
и на России крест,
и все пропало.

А в "Моссовета" снова "Бовари".

зима 1995

Но тот, кто решился
меня разорвать пополам,
совсем не подумал,
куда его деть, этот хлам:

ни мусорной ямы,
ни сна,
ни гнезда,
ни норы.
В крови искупал
но не дал мне уйти из игры.

Мечтатель, старатель,
каратель,
исчезнувший сквозь,
а все же и в этом кругу
переломится ось!
я выйду из круга
и в новый виток попаду,
и ложь «все проходит»
придумаю в этом аду.

1996

Ах, надобно менять, но как менять?
И не на кого больше мне пенять.
Вперед и ввысь, к хрустальным берегам?
Но прошлое привязано к ногам.

Кораблик, зяблик, лучик, где он там?
Бреду как зверь по собственным следам.
Стеклянных снов тревожный лабиринт,
а в голове – веселый ржавый винт.

1996

ДВА РАССКАЗА

БРОНЮС, ДРУГ ГЕДИМИНАСА

Что случилось, что произошло в тот день с человеком по имени Гедиминас, никто толком не знал. Но, несмотря на это, с самого раннего утра по улицам города поползли удивительные слухи о тех странных поступках, которые Гедиминас совершил накануне вечером.

Рассказывали, например, что без пятнадцати минут восемь перед самым закрытием промтоварного магазина туда вошел Гедиминас, бледный, с блеском в глазах. Ничего никому не сказав, он растолкал покупателей и полез в витрину. Он скинул оттуда на пол магазина белозубого неживого мужчину, блондина в черной паре, и сам стал на его место, растопырив руки и обратив к стеклу дикую улыбку. На улице перед витриной сейчас же собралась веселая толпа, а заведующая магазином, ломая руки, обозвала Гедиминаса зlostным хулиганом. Когда же заведующей с помощью хохочущих покупателей удалось наконец вытащить Гедиминаса из витрины, он вырвался от держащих его людей и бегом умчался куда-то по улице в темноту.

Примерно через полчаса член пожарной дружины, дежуривший в этот вечер по городу, обнаружил Гедиминаса взбирающимся вверх по лестнице пожарной вышки. Как сообщил Гедиминас дежурному, ему очень хотелось спрыгнуть с самого верха вниз.

Кое-кто видел потом Гедиминаса стоящим посередине пруда перед костелом. Гедиминас влез в пруд одетым – в пиджаке, брюках и ботинках, желая утопиться. Осуществить же свое мрачное намеренье он, конечно, не мог, потому что в самом глубоком месте пруда вода едва доходила ему до колен.

В одиннадцать часов вечера, когда последние посетители покидали закусочную “Ужкандиня”, они обнаружили на улице против закусочной все того же неугомонного Гедиминаса. На этот раз Гедиминас висел на телеграфном столбе. Он держался на нем, крепко обхватив столб руками и ногами. Голова Гедиминаса была запрокинута, он смотрел вверх, на звезды, и тихо пел протяжную народную песню. Немногочисленные поздние прохожие стояли вокруг столба и в молчании слушали, как поет Гедиминас.

Обо всех этих невероятных происшествиях на другой день толковали на базаре, на почте, на складе овощной базы, в утреннем автобусе, следующем в районный центр, и за столиками закусочной “Ужкандиня”.

Разумеется, происшествия такого рода случались и раньше в нашем городе. Кое-кто, не разувшись, заходил случайно в пруд, кое-кто терял внезапно равновесие, падал в витрину и даже разбивал ее. Но на это даже внимания особенного не обращалось. Ведь именно такое поведение для кое-кого было вполне естественным. Но только не для Гедиминаса!

В том-то и дело, что как раз от него никто ничего подобного не ожидал. С незапамятных времен Гедиминас пользуется в нашем городе репутацией человека

в высшей степени уважаемого – непьющего, серьезного и спокойного. Вот потому-то странные его поступки, совершенные в один вечер, так взбудоражили весь город, вызвали в нем настоящий переполох.

– Хорошо, – можете вы сказать на это, – предположим, что Гедиминас ваш не какой-нибудь пьяница-алкоголик. Но ведь вполне могло случиться, что накануне вечером он все-таки выпил лишнего, а с непривычки хмель так ударил ему в голову, что он тут же эту голову и потерял.

И опять же выясняется в этом деле загадочное обстоятельство: алкогольных напитков в тот день Гедиминас не пил вовсе. Это категорически утверждают все, кто Гедиминаса тогда видел, общался с ним, разговаривал. Например, очевидцы того, как Гедиминас висел на столбе, в один голос заявляют, что в тот момент висящий Гедиминас распространял вокруг себя не запах спиртного, как того можно было ожидать, но от него явственно пахло прудовой тиной и сыростью. И собственная его жена Аушра, когда все это случилось, клялась и божилась, что муж ее и близко к бутылке не подходил.

Все это вместе взятое до того поразило и встревожило наш город, что часам к десяти утра на улице, где живет Гедиминас, собралась небольшая толпа. Из дома, крытого новеньким шифером, доносились громкие крики Аушры, которая на все лады ругала своего мужа, не умолкая ни на минуту. Голоса же самого Гедиминаса слышно не было.

Наконец распахнулась дверь, и на крыльце показалась растрепанная и возбужденная Аушра. Она спустилась во двор, подошла к забору и отсюда поведала пораженным слушателям, что Гедиминас в настоящий момент лежит в комнате на диване, ничего не ест и не произносит ни слова.

Соседи сокрушенно качали головами, смотрели с сочувствием на Аушру и с опаской – на дом, где лежал бессловесный и голодный Гедиминас. Соседи шепотом давали Аушре разнообразные советы и потом расходились, чтобы поскорее сообщить подробности остальной части города.

Жена Гедиминаса Аушра всю первую половину дня кричала и ругалась, не давая себе передышки. Начиная с полудня, она перестала ругаться и принялась плакать. Заплаканная и охрипшая Аушра появилась к половине первого в приемной городской амбулатории, где больные, сидя на окрашенных в белый цвет скамьях, дожидались своей очереди и разговаривали про Гедиминаса. Увидев в приемной Аушру, они все разом замолчали и охотно разрешили ей пройти в кабинет врача без очереди.

Врач Берта Михайловна Капельман уже знала о том, что вчера вечером произошло в городе. Каждый больной, являвшийся в это утро к ней на прием, сразу же после рассказа о своих недугах переходил к рассказу о вчерашних подвигах Гедиминаса. За часы приема история эта пополнялась все новыми и новыми подробностями и оттенками. Поэтому Берта Михайловна ничуть не удивилась, когда плачущая Аушра вошла в ее кабинет без предварительной записи и очереди. Она усадила Аушру на стул, ловко и безошибочно выхватила из стеклянного шкафчика пузырек с валерьянкой, накапала валерьянки в стакан и велела Аушре выпить.

Когда Аушра немного успокоилась, Берта Михайловна задала ей несколько сугубо медицинских вопросов, касающихся Гедиминаса. Она ненадолго задумалась, выслушав Аушрины сбивчивые ответы, потом сказала, что придет и осмотрит заболевшего неизвестной болезнью Гедиминаса, как только закончатся у нее часы приема.

Берта Михайловна Капельман была человеком слова. А в данном конкретном случае сдержать свое слово ей помог и профессиональный, и чисто человеческий интерес к таинственному заболеванию Гедиминаса. Поэтому, как только последний больной покинул ее кабинет, она тотчас же поднялась с места, взяла свой порт-

фель, где лежал стетоскоп, градусник и бланки для рецептов, и направилась через весь город навестить Гедиминаса.

Любопытные, толпившиеся с утра у ворот Гедиминаса, к этому времени разошлись по своим домам на обед. Аушра теперь в одиночестве сидела на верхней ступеньке своего крыльца и, ожидая доктора, в нетерпении поглядывала на дорогу. Аушра повела Берту Михайловну сначала в кухню и угостила ее пельменями собственного изготовления. Сидя в кухне, они еще раз поговорили о несчастье, так неожиданно свалившемся на Аушру, а затем Берта Михайловна прошла со своим портфелем в комнату, где на зеленом диване лежал бессловесный, равнодушный ко всему Гедиминас.

Доктор придвинула один из стульев близко к дивану, села на него и вытащила из портфеля стетоскоп. Несколькими минутами она изучала своим строгим опытным взором бесстрастное лицо Гедиминаса.

– Было бы хорошо, Гедиминас, – мягко сказала Берта Михайловна, – если бы ты показал мне язык.

Гедиминас тотчас же показал свой язык, однако сделал он это не совсем так, как хотелось врачу. В далеко высунутом его красном языке определенно таилось издевательство над окружающими.

Берта Михайловна на своем стуле отпрянула слегка назад, так что стетоскоп закачался на ее высокой, обтянутой белоснежным халатом груди. Издали она еще раз уперлась взглядом в окаменевшие черты Гедиминаса. Наконец, доктор вздохнула, пощупала у Гедиминаса пульс и рассеянным взглядом обвела комнату.

– Не знаю, – с сомнением заметила доктор Капельман, обращаясь к застывшей у дверей Аушре, – полез ли больному запах герани...

Герань в доме Гедиминаса росла в кастрюльках с землей, расставленных у окна на табуретах. Герань пышно цвела багрово-красными и розовыми цветами, отчего комната немного напоминала зимний сад.

– Вообще, Аушра, – добавила Берта Михайловна, – герань в доме – это провинциально. Вы же работник прилавка, культурный человек!

Аушра кивала головой, соглашаясь с доктором, но про себя решила поставить еще один гераневый куст в угол за диван, как только прохудится какая-нибудь из ее кастрюлек.

Берта Михайловна присела к столу и написала для Гедиминаса четыре рецепта на желтой бумаге. Она посоветовала Аушре давать больному как можно больше жидкости и ушла, не слишком довольная Гедиминасом.

После ухода врача Аушра побежала на кухню, налила в голубую миску свекольного хлодника, особенно любимого Гедиминасом, сунула туда ложку и поставила миску на стул у дивана. Но и к любимому хлоднику Гедиминас не проявил никакого интереса...

Когда старые деревянные часы Аушры с натугой проскрипели в кухне пять раз, на крыльцо их дома поднялся товарищ Григас, начальник районной милиции. Товарищ Григас остановился на пороге комнаты, куда провела его Аушра, и быстро оглядел отсюда диван с распростертым на нем Гедиминасом, герань, изразцовую печь и круглый стол, накрытый голубой клеенкой. Твердым шагом товарищ Григас приблизился к столу, взял в руки литровую бутылку из темного стекла и понюхал горлышко. В бутылке находилось подсолнечное масло.

– Так как же ты объяснишь свои поступки, гражданин Гедиминас? – сурово спросил товарищ Григас.

Уже то было страшно, что он называл Гедиминаса “гражданином”. До этого ведь они с Гедиминасом были добрыми знакомыми и не раз вместе отправлялись ловить рыбу на озеро Ряквива.

Тем не менее, Гедиминас, как видно, не очень испугался и объяснять свои поступки не стал. Он лежал на спине и, прищурившись, краем глаза наблюдал за

товарищем Григасом, шагающим взад и вперед по комнате.

– Так, – значительно сказал товарищ Григас. – Понятно!

Он остановился у окна, выглянул во двор и на стекле двумя пальцами – средним и указательным – отбил боевой кавалерийский марш.

Аушра, которой, наоборот, все было непонятно, при звуках этого марша вздрогнула и посмотрела на начальника милиции с тихим ужасом.

Но товарищ Григас больше ничего пояснять не стал. Он попрощался с Аушрой за руку и выразил тем ей свое сочувствие. Он окинул еще раз диван с Гедиминомасом уничтожающим взглядом и, твердо ступая, ушел в свою милицию, где дожидались его другие неотложные дела.

Но не успела еще Аушра закрыть за товарищем Григасом калитку, как у порога ее дома показался новый посетитель. Это был молодой священник, а по здешнему – кунигас, настоятель местного костела, которого звали Ричард. Кипучая энергия и жажда деятельности переполняли кунигаса и выплескивались через край при каждом его движении. К дому Гедиминонаса Ричард примчался на гоночном велосипеде марки “Спорт”. Велосипед свой он оставил на улице возле калитки, однако Аушра вышла из дома и втащила велосипед кунигаса на террасу.

Ричард, одетый не по форме, в брюках и спортивной желтой куртке, торжественно прошествовал в комнату Гедиминонаса и склонился над зеленым диваном.

– Сын мой, – радостно сказал молодой священник. – Не хотел бы ты сейчас помолиться вместе со мной?

По всей видимости, Гедиминонас не хотел и этого. Он вздохнул, выразительно – снизу вверх – посмотрел на Ричарда и отвернулся к стене.

Тогда кунигас Ричард помолился перед диваном один. После этого он прошел в кухню к Аушре, чтобы успокоить ее и поддержать слабеющий Аушрин дух. Еще через несколько минут молодой священник, помахивая полами куртки, как крыльями, уже мчался по городу на гоночном велосипеде, излучая на всем своем пути ту же неукротимую радостную энергию.

Поздно вечером, когда Аушра с опухшим от слез лицом сидела на табурете среди кустов герани и глядела на Гедиминонаса, ничего уже, впрочем, не видя и не различая, в дом к ним зашел еще один гость – старый приятель Гедиминонаса Бронюс.

Бронюс был худым лысым человеком с длинным носом и голубыми, чистыми, как у младенца, глазами. Дня два тому назад, в пятницу, Бронюс уехал в соседний район на именины своей старшей сестры. Но едва только он, вернувшись, переступил порог родного дома, как история, произошедшая с Гедиминонасом, стала ему известна от самого ее начала и до конца.

Пока Бронюс, проголодавшийся в дороге, занимался ужином, его жена, теща и две взрослые дочери в четыре голоса, перебивая и поправляя друг друга, поведали ему об ужасных событиях, случившихся в городе в его отсутствие.

– Пока ты веселился и напивался без памяти на этих глупых именинах, – едко сказала жена Бронюса, которая не любила Бронюсовой сестры и не одобряла ее именин, – тут человек сошел совсем с ума, свел с ума свою жену – женам-то всегда достается, за что только, спрашивается, – а теперь лежит на диване и помирает...

Бронюс, не торопясь, обглодал куриную ножку, поймал на вилку соленый огурчик, похрустел им и встал из-за стола. Не сказав никому ни слова, он вышел из дому и зашагал под горку, туда, где жил его друг Гедиминонас.

Бронюс оттер на крыльце подошвы, распахнул дверь и вошел в дом, где стояла такая удивительная тишина, словно и не жили в нем люди. Бронюс прошел по коридору в комнату и увидел здесь сидящую на табурете под цветами Аушру. Бронюс посмотрел на багровое, опухшее лицо Аушры и велел ей пойти на кухню и немедленно умыться холодной водой.

Когда Аушра ушла, Бронюс присел на диван в ногах Гедиминаса, вытащил из кармана черную свою трубку, аккуратно набил ее табаком и закурил. Сизое облачко выпорхнуло из трубки, развернулось в кольцо, поплыло в сторону раскрытого окна, но по дороге наскочило на розовые цветы и запуталось в них.

Бронюс проводил глазами облачко, потом перевел задумчивый взгляд на выбеленную, но уже заметно засиженную мухами стену над головой Гедиминаса.

– Гедиминас! – сказал негромко Бронюс. – Я ведь знаю, Гедиминас, что с тобой такое. Все это случилось с тобой потому, что тебе вдруг надоела твоя жизнь. Ты просто вдруг догадался, что она у тебя совсем не такая, какую ты хотел. И дом тебе этот перестал нравиться, и Аушра твоя, и хлодники, которые она для тебя готовит. Ты, Гедиминас, спохватился, что тебе другое нужно, другого ты всегда хотел. А когда ты спохватился, то сейчас же понял: поздно уже и ничего поменять нельзя. И от этого на тебя напала тоска чернее сажи, чернее колодца, если туда сунуть в полночь голову. Такая тоска, что сердце человеческое разорваться может.

А я, Гедиминас, потому про тебя все это знаю, что и со мной тоже такое бывает. Только когда меня схватит, я скорее без оглядки бегу в “Ужкандию”, ты знаешь. Но ты, Гедиминас, непьющий, поэтому тебе гораздо хуже, и ты уже совсем не понимаешь, что тебе делать и куда податься. Но и у тебя это тоже пройдет. Ты лучше вставай сейчас, Гедиминас, мы с тобой в шашки сыграем, пока еще совсем ночь не наступила...

Тогда Гедиминас встал со своего дивана, поел немного хлодника, и они сели играть в шашки. Они сыграли четыре партии, две из которых выиграл Бронюс, а две – Гедиминас, так что общим результатом была ничья.

А еще на следующий день к Бронюсу, хотя он этого и не ожидал, пришла слава. На базаре, на почте, на автобусной станции и в закусочной “Ужкандия” только и говорили о том, что он, Бронюс, когда захочет, – может вылечить любую болезнь, даже если от больного, ввиду полной безнадежности, отказались врачи и профессора.

Одна женщина, что живет на горе, за костелом, сунулась было к нему с узелком, в котором был завернут шмат сала и пол-литровая банка липового меда. Она хотела, чтобы Бронюс вылечил ее внучку от плоскостопия.

Но Бронюс только посмотрел на женщину ясными своими голубыми глазами и сказал негромко несколько слов. После чего эта женщина подхватила скорее свой узелок и опрометью выскочила со двора.

У нашего Бронюса выражение лица совершенно простодушное, детское даже что-то есть в его лице. Зато уж сказать веское, выразительное словечко он всегда сумеет.

ЗВЕНЯЩЕЕ МОРЕ

Ранним утром (а им спросонья показалось ночью) зашумел под окнами автобус, и они проснулись. Автобус уже двигался, огибал их корпус, утробно урчал и астматически задыхался. Они обе зашевелились в своих постелях, подняли от подушек головы. Скучный утренний свет проникал в комнату сквозь легонькую ситцевую занавеску, по потолку ерзала бледная тень дерева.

– Безобразие! – охрипшим после сна голосом заговорила ее соседка по комнате. – Дом отдыха называется! А людям отдыхать не дают. Нас в прошлом году в восемь туда возили, и ничего, прекрасно успели.

Услышав эти слова, она вдруг вспомнила, что сегодня суббота и что в столовой уже три дня висело объявление об очередной поездке отдыхающих на городской рынок – «барахолку». Она сонно поинтересовалась, что там есть, на этой барахолке.

– Да ничего там особенного нету! – раздраженно отвечала соседка. – Что у них, то и у нас. Мех, правда, можно достать недорогой, нутрию. Я в прошлом году дочери отсюда на воротник привезла. Вот такую...

Лежа на спине, соседка выпростала из-под одеяла руки, вскинула их над головой, расставив ладони, чтобы показать, какого размера была нутрия.

– А больше ничего интересного там не видела. Не советую вам ехать, время только зря потратите.

– Я не поеду, – сказала она. – Я и денег с собой совсем немного взяла.

– Ну это вы напрасно, – осудила соседка, – в Прибалтику обязательно нужно деньги брать. Тут снабжение хорошее.

Лениво, сквозь дремоту переговаривались они о том о сем до той поры, когда надо было уже подниматься и идти в столовую завтракать. Из столовой же сразу после завтрака отдыхающие один за другим потянулись к пляжу. Стояли самые последние теплые дни, и всем хотелось провести их у моря.

Они тоже собрались было на пляж, надели купальные костюмы и халатики, сложили в купленные уже здесь яркие целлофановые сумочки махровые полотенца. Но тут вдруг соседка дозналась, что в местный сельмаг только что завезли партию арбузов. Она уговорила ее пойти и занять очередь за арбузами, а к морю отправиться попозже. Когда же они наконец купили арбуз и отнесли его к себе в палату, времени уже было немало.

– Ну и что? – сказала на это соседка. – На пляже сейчас все равно долго не просидишь. С моря всегда ветер холодный дует. Поваляешься за дюной с полчаса, и тебя уже домой тянет погреться.

Они взяли свои одинаковые сумочки и направились к дороге, ведущей на пляж.

Прямая, как стрела, залитая асфальтом дорога сначала поднималась вверх, на дюну, откуда открывался прекрасный вид на окрестности, а потом спускалась вниз и до самого моря шла попеременно то хвойным, то лиственным лесом. В воздухе над их головами мелькали облетающие с деревьев сухие листья, с едва слышным шорохом приземлялись они на синеватую полосу асфальта. Среди листвы видны были красные рябиновые гроздья, а сверху за обнажившимися ветками проглядывал слепящий глаз солнца. И хотя время уже близилось к полудню, у солнца, уставшего за лето, не было сил добраться до середины неба. Оно висело низко над лесом и тоже было похоже на спелый осенний плод. Лес кончился внезапно у подножья песчаных холмов, за которыми скрывалось море. Но еще издали, в лесу, она услышала его запах и беспричинно заволновалась...

На пляже в этот день было даже жарко. Слабый ветерок шевелил сухие песчинки, подгонял к берегу невысокую волну. Кое-где на песке видны были распро-стертые тела загорающих, вдоль кромки прибоа, согнувшись, брели собиратели янтаря. В воде, близко от берега, плескался единственный купальщик – белотелый полный человек. С берега поощряли его шутками и смехом приятели.

Они с соседкой отыскивали два полузасыпанных песком ящика, подтащили их поближе к воде и, скинув халатики, уселись загорать в трусиках и лифчиках.

– Я обожаю, – сказала толстая соседка, – загорать без ничего. Для организма это очень полезно. На юге я всегда обнаженная лежу на пляже. А здесь, видите, даже женского пляжа не могли оборудовать. А еще говорят – культурная республика.

Она ничего не отвечала, наслаждаясь ласковым теплом, которое медленно растекалось по коже. У самых ее босых ног то и дело тяжело хлопала по песку тугая волна.

– Вода сейчас, наверное, холодная, – снова заговорила соседка, – а на юге в это время самый бархатный сезон...

Она отвернулась от соседки, подняла голову и прислушалась. Ей показалось, что издалека, из глубины морского простора долетает к ней тонкий, переливчатый, очень мелодичный звон.

– Что это звенит? – спросила она.

Соседка удивилась:

– Звенит? Ничего не звенит. Я не слышу.

Она снова прислушалась к далекому звону и вскочила на ноги.

– Я, пожалуй, выкупаюсь. Такой погоды, наверное, больше не будет. Сентябрь ведь...

– Не советую, – покачала головой ее спутница. – Радикулит можно получить или еще что-нибудь похуже. Смотрите, никто не купается. Мужчина только один плавал и вон бегом побежал из воды. Промерз, видно, до костей, бедняга.

Человек, плескавшийся недавно в море, действительно бежал теперь мимо них по песку к выходу. За ним с хохотом двигалась толпа его приятелей.

– И белый флаг висит, – продолжала соседка, – это означает, что сегодня небольшой шторм ожидается.

Над крышей домика спасательной станции, двери и окна которой были уже заколочены по случаю закрытия сезона, болталась выцветшая до белизны тряпка.

Она засмеялась:

– Да этот флаг здесь все время висит. При любой погоде.

Она натянула на голову белую резиновую шапочку с выпуклым рисунком ромашек и поехала, ступив босой ногой на мокрую холодную гальку.

– Далеко не уплывайте! – крикнула ей вдогонку соседка, когда она, зажмурившись, уже упала ничком в несущуюся навстречу волну.

Она и не собиралась уплывать далеко. Но, подхваченная волной, почувствовала вдруг, как обожгло ее резко холодом, свежестью, пронзительным счастьем, от которого у нее закружилась голова. Волна, оттолкнувшись от берега, зачерпнула в широкую горсть прибрежный песок, камни, ее и, как неводом, потащила следом за собой добычу. В самое лицо ей влажно задышал распахнутый широко простор, а отдаленный мелодичный звон, который она слышала на берегу, сделался отчетливым и близким.

Только на одну секунду вскинула она над водой голову, вдохнула напоенный ароматом моря воздух и, задыхаясь, ликуя, боясь отстать, рванулась вперед к новой летящей к берегу волне. Кинулась в нее, растворилась и потекла куда-то вместе с мерцающей зеленью воды, шипеньем белой пены и тонким свистом ветра в вышине...

Соседка на берегу, потеряв ее из виду, привстала с ящика и в тревоге оглядела волнующееся море. Ничего не увидев в нем, она громко окликнула ее по имени, растерянно посмотрела по сторонам и крикнула еще раз. А потом уже, теряя босоножки, оглядываясь то и дело назад, невнятно что-то выкрикивая и ловя воздух раскрытым ртом, понеслась по песку к видневшимся вдалеке людям.

Еще через несколько минут по пляжу с испуганными лицами бежали уже человек десять.

– Спасателя! – багровея от бега, выкрикивал низенький коротконогий человек в полосатых брюках и белой панамке, которую он на ходу придерживал рукой.

– Надо спасателя искать! Он рядом с домом отдыха живет!

За ним, чуть отстав, трусила группа женщин во главе с соседкой, заламывающей в отчаянии руки. Одна из женщин, помоложе, догадавшись, срезала дорогу и бросилась через дюны к шоссе, чтобы остановить одну из проезжающих машин.

Минут десять спустя пляж стал заполняться неизвестно откуда взявшимся народом. Разбрасывая колесами песок, к воде подкатила синяя машина «жигули», откуда на ходу выскочил спасатель – загорелый беловолосый паренек в плавках с зелеными ластами в руках.

– Где? – крикнул он столпившимся у воды людям. – В каком месте?

Соседка рванулась ему навстречу:

– Там! Вон туда она поплыла, в том направлении надо искать. Я ей говорю: не ходите, не ходите ради бога! Флаг висит запрещающий, это же верная гибель...

Но спасатель, обутый в ласты, уже бежал по мелководью, тяжело шлепая по воде, поднимая фонтаны брызг.

– Потонет еще, – всхлипнула соседка. – Теперь и этот парень утонет.

– Этот не утонет, – успокоил ее человек в белой панамке. – Он же спасатель, специалист...

На пляж въехала еще одна машина, газик защитного цвета. Из нее один за другим выскочили четыре милиционера.

– Как это случилось? – строго спросил расступившуюся толпу молодой лейтенант. – Кто свидетель несчастного случая?

– Я-а-а, – плаксиво отозвалась соседка и торопливо начала влезать в рукава своего халата. – Мы с ней вот здесь сидели, на ящиках. Я ей говорю...

– Подождите, гражданочка, остановил ее лейтенант. – Кажется, спасатель что-то нашел.

Но спасатель, показавшийся в этот момент из воды, только помахал над головой рукой и снова нырнул. Теперь на берегу все молчали и, волнуясь, смотрели на то место, где исчез под водой спасатель.

– Что-то он долго... – задумчиво сказал человек в панамке.

– Да-а... – неопределенно протянул лейтенант.

– Утонул он! – нервно выкрикнула соседка. – Я же говорила – утонет.

Теряя силы, она опустила на ящик.

Тем временем молодой спасатель и в самом деле почувствовал, что тонет. Свинцовой тяжести волна, не дав ему вынырнуть, навалилась сверху перевернула, и он, потеряв ориентацию, беспомощно забарахтался среди мятущихся, терзающих его потоков.

Тогда она тихо скользнула ему наперерез, подплыв сзади, обхватила руками его спину и с силой толкнула сквозь толщу воды вверх. И он, выбравшись наконец на поверхность, жадно глотнул воздух, проплыл саженьками и встал у берега на ослабевшие ноги.

– Никого там нет, – сказал спасатель, откашливаясь и отплевываясь. – Все дно обшарил. Я и сам чуть было не утоп.

Он вышел на берег и прилег на теплый песок отдохнуть.

Лейтенант нагнулся к сидящей на ящике соседке:

– А может быть, она домой пошла? Просто ушла с пляжа, надоело ей загорать, а вы и не заметили. Вам просто почудилось, что она там, в море.

– Как это почудилось?! – почти в истерике закричала соседка. – Куда она ушла?! Вот ее халат лежит, и тапочки вот. Она мне говорит: пойду искупаюсь, а я ей...

Лейтенант отвернулся и сказал несколько слов стоящему рядом милиционеру. Тот быстро стянул с себя форму, скинул сапоги и, когда остался в одних трусах, рысцой побежал к воде. За ним следом пошлепал в своих ластах и отдохнувший спасатель. Отплыв немного от берега, они принялись нырять теперь уже вдвоем.

К пляжу между тем тянулись все новые прослышавшие про несчастье люди. У воды раздавались испуганные восклицанья женщин, возбужденные голоса расспрашивали о подробностях. Соседка, восседавшая в окружении густой толпы на ящике, в который уже раз принималась рассказывать:

– Мы с ней вот здесь сидели. Она – на том ящике, я – на этом. Вдруг она вскакивает и прямо к морю. Я ее прошу, умоляю: не ходите, нельзя сегодня купаться, видите, белый флаг вывешен, волна большая. Зачем же гибель свою искать? А она и слушать ничего не хочет – идет. А меня вдруг..., – понизив голос, вытаращив глаза, врала и верила себе самой соседка, – как током пронзило. Предчувствие какое-то было. Я поняла, что сейчас обязательно что-нибудь страшное случится. Я за ней бегу, кричу ей: «Вернитесь! Не ходите!» А она несется вперед и не оглядывается даже. Слово ее туда тянет что-то...

– Судьба! – многозначительно заметил тут один из новоприбывших, лысый мужчина в голубых шортах.

– Вот именно, вот именно! – обрадованно закивала соседка. – Я в тот момент как раз это и подумала. И представляете, как назло, людей поблизости никого не было, многие уже на обед пошли. А сама я плавать не умею. Да и сердечница я, мне нельзя. Не знаю еще, как я все это переживу, чувствую, что сама не выдержу.

– Лежит она теперь, бедняжка, где-нибудь на дне, – скорбно проговорила одна из женщин, – и не доныряешься до нее...

Она и в самом деле лежала, удобно устроившись на мягком дне, и смотрела большими прозрачными глазами на спящих вокруг нее спасателя и милиционера в черных трусах.

На берегу начальник милиции в это время громко объяснял собравшимся:

– Море, оно само выбросит. Море чужого не берет. Рано или поздно оно все выбрасывает, что ему не нужно. Мы-то знаем...

– Много тонет? – деловито поинтересовались голубые шорты.

Она пошарила по песку руками, отыскала застрявшую среди камней свою резиновую шапочку, подкинула ее над собой.

Начальник милиции встрепнулся и прямо в сапогах побежал по воде, догоняя мелькнувший в волнах белый предмет. Подхватив шапочку, он, торжествуя, закричал:

– Ну что я говорил?! Море все выбросит. Это ее шапочка?

– Ее, ее, – подтвердила соседка. Она глядела на купальную шапочку с ромашками, и на лице ее был написан ужас. С шапочки на песок струйкой стекала вода.

Между тем спасатель и помогавший ему милиционер уже вылезли на берег.

– Товарищ начальник! – бодро доложил мокрый, голубоватый от холода милиционер. – Утопленного тела нами не обнаружено.

– Так, – мрачно буркнул лейтенант и в досаде отшвырнул от себя ногой плоский камешек. – Значит, отнесло ее. Придется докладывать об утоплении в город. Одевайтесь, Сидоров! Одежду ее пока заберем с собой. Вещественные доказательства.

Отдыхающие, которые до этого толпились у воды и разглядывали пустынное море, начали понемногу расходиться. Газик защитного цвета умчал работников милиции вместе с вещественными доказательствами. Вслед за газиком уехала с пляжа и синяя машина спасателя. Соседку с двух сторон подхватили под руки женщины из дома отдыха, за ними, жадно прислушиваясь, двинулись остальные.

– Мы с ней с утра за арбузом стояли, – охотно излагала события соседка. – Купили арбуз и отнесли его в палату. И что бы нам тогда сразу сесть и съесть его, а на пляж не ходить! Я сама и не хотела идти, мне внутри какой-то голос твердил: не ходи, не ходи! А она – ни в какую, пойдём, да и все. Ее туда сила какая-то увлекала. Она даже загорать не стала, чуть присела на ящик, а потом сразу и кинулась... Боже мой, я чувствую, что заболело от всего этого. Уверена, что к вечеру свалюсь с приступом стенокардии.

Позади нее сейчас же отозвался хор сочувствующих и утешающих голосов.

Пляж наконец опустел совершенно. Сделался слышным шорох, с каким ветер перекатывал с места на место сухие песчинки. К глуховатому рокоту волн прибавился теперь усталый шелест увядающего за дюнами леса. Чайки, которые только что с тревожными криками пронеслись над головами людей, опустились на воду и закачались в волнах, похожие издали на белые бумажные кораблики, которые мастерят ранней весной дети.

Она приподнялась, легко оттолкнулась от песчаного дна, вынырнула на поверхность и, не спугнув чаек, понеслась в открытое море. Водяные мутно-зеленые валы вырастали на ее пути, обрушивались с грохотом, разлетались во все стороны сверкающими осколками и выбрасывали высоко в небо россыпи мельчайших, загоравшихся на солнце брызг.

Она догоняла бешено мчащуюся волну, с криком радости неслась вместе с ней, взлетала высоко, к самому гребню, и падала оттуда в облаке пены вниз, в бездну. И тогда, открыв глаза, видела над собой ярко горящую в лучах солнца семицветную радугу...

Через год, в первых числах сентября, она вновь приплыла к знакомому берегу. Привела ее сюда вовсе не тоска по своей прежней жизни, по людям. Она совсем не тосковала по ним. Так же как не тоскует по своему тесному кокону вылетевшая из него на свободу бабочка. Скорее ее привело в эти места простое любопытство. Она добралась до полосы прибоя и огляделась вокруг. Она заметила, что за это время волны успели изменить рельеф берега. Осенние штормы подмыли дюны, отчего полоска прибрежного песка сделалась шире и казалась более плоской. Метрах в трех от воды вдоль берега выстроились новенькие, блестящие от свежей краски лавочки. Но в остальном здесь все оставалось прежним. Окна и двери спасательной станции опять были заколочены широкими досками, а над крышей на длинном шесте дергалась под ветром выцветшая тряпка.

Фанерные стены станции со всех сторон были оклеены цветными плакатами. На одном из них из аквамариновой воды торчали судорожно растопыренные оранжевые руки утопающего и его круглое, похожее на репу лицо с раскрытым в крике ртом. На другом изображена была углая лодочка, поднятая волной на дыбы. Из нее как горох сыпались в воду люди. Силуэты тех, кто еще стоял в накренившемся суденышке, покрашены были в розовый цвет, те же, что падали в воду, были зловеще черными.

Задувал северный ветер и нес с моря туман. Мутные полосы тумана уже нависли над пляжем, ползли в дюны. Отсыревший песок казался теперь не золотисто-желтым, а грязно-серым. По серому песку медленно передвигались редкие человеческие фигуры, неуклюжие из-за окутывающей их теплой одежды. За каждой из таких фигур волочилась по пляжу безобразная скорченная тень.

Она вышла из воды и уселась неподалеку от скамейки на песок, испещренный трехпальными следами чаек. На ярко-зеленой скамейке уже расположились две женщины, укутанные в толстые платки. Перед ними прохаживался взад и вперед высокий человек в плаще-болонье и в маленькой спортивной шапочке на голове. Под его ногами тяжело посапывал мокрый песок.

– В прошлом году, – рассказывал он своим спутницам, – здесь утонула одна женщина. Как раз вот здесь, в этом месте...

Через ее голову он ткнул пальцем в тихо шевелящуюся воду.

– Говорят, тело трое суток искали, так и не нашли. Сразу несколько отрядов водолазов работало, все дно здесь перерыли. А один из водолазов, совсем молодой паренек, сам едва не погиб. Еле его откачали. Тогда шторм был очень сильный, баллов двенадцать. Ну а ее, конечно, отнесло туда, к чужим берегам...

Он опять махнул рукой куда-то вдаль и печально покачал головой.

– И говорят, совсем не старая еще она была и плавать умела.

Женщины на скамейке разом вздохнули, одна из них сердито сказала:

– Вот и купайся после этого.

А вторая припомнила точно такой же случай, происшедший на пляже в городе Сочи.

– Нет, нет, – повторила опять первая женщина, – лучше не купаться вовсе. Можно ли так легкомысленно рисковать собственной жизнью из-за какого-то купанья? Я никогда не купаюсь, только обтираюсь влажным полотенцем. И этого вполне достаточно, уверяю вас.

Мужчина в спортивной шапочке, соглашаясь, покивал головой, поежился под порывом сырого ветра, плотнее запахнул свой ненадежный плащ.

– А нас, представьте, вчера на барахолку на автобусе возили, – сообщила та, что рассказывала про случай в Сочи.

Ее спутники, оживившись, повернулись к ней, и начался разговор о ценах на городском рынке.

Но она уже больше не слушала их. «У них все то же самое...», – подумала она и, отвернувшись, зевнула со скуки. Потом резво вскочила на ноги, отряхнула налипший к коленям песок и, поднявши веером брызги, упала в воду.

Рассекая волну, гоня перед собой султан пены, она неслась стремительно в свободное, звенящее на просторе море. И сама становилась этим звоном, легкой водяной пылью, пепельным туманом, влажным пахучим ветром.

РАССКАЗЫ

ТУРИСТУ О ПЕТЕРБУРГЕ

– Тебе из Штатов звонили, какую-то работу предлагали. Я спросонья не понял, – сказал сын, когда я сидела на кухне в раздумье: почему раз в три дня поджигают мой почтовый ящик.

– Работу в Америке? Какую? Кто звонил?

– Было плохо слышно. Да ты расслабься, еще позвонят.

– Ты не спутал? Может, молочница из Токсова звонила?

Сын не ответил. Его безразличие к любой жизни, включая собственную, с которых пор перестало меня огорчать. Я решила толковать это равнодушие как юношеское богоискательство и временно перешла на автономное плавание по маршруту кухня – ванная – закуток в коридоре.

Всю следующую неделю я первая подбегала к телефону: боялась упустить работу в США. Наконец, в пять утра, Америка позвонила.

– Натуля? Привет, зайчик.

Звонила Валька, с которой мы сто лет назад учились на курсах иностранных языков. Зайчик, так зайчик. Прошлый раз я была пупсик. Валька, ленивая, вульгарная, стала директором турфирмы в Нью-Йорке! А где я с моим красным дипломом? Попрошу, чтобы меня с ним похоронили. Пусть положат диплом с отличием на мою остывшую грудь.

– Натик, есть предложение. Мы выпускаем новый путеводитель по Санкт-Петербургу, вернее, обновляем старый. У вас там каждый день всё меняется. Надо проверить названия улиц, телефоны, как работают музеи. И еще написать что-нибудь новенькое про хобби русского народа. Ну там катание на тройках, перетягивание каната. Придумай позавлекательнее, с экзотикой!

– А на каком языке писать про хобби?

– На китайском. Ты что, еще не проснулась? По-английски, конечно. У тебя в запасе четыре месяца. Плачу тысячу зелеными.

– Ой! Я не настолько знаю английский...

– Не дури. Высылаю тебе старый путеводитель экспресс-почтой. И – за работу, товарищи. Всем комсомольский привет.

Я встала с постели и включилась в работу. Сняла с книжной полки «Книгу о вкусной и здоровой пище». Попробуйте перевести на английский язык «вертуту с тыквой» или «бабку морковную».

Четырех месяцев явно не хватит. Я открыла окно, надеясь, что свежий воздух прогонит остатки сна. Пейзаж за окном не радовал: меховая фабрика, давно закрытая на радость соболям и норкам, и автобаза, где жизнь еще теплилась: тьякала собака, и иногда из ремзоны выходил гражданин в ватнике. Назад он возвращался с бутылкой.

Возбуждение от разговора с Америкой еще не улеглось, а американский путеводитель по Петербургу уже лежал на моем столе. Это была толстая книга,

составленная журналистом-советологом Марком Ахалтекинским. Марк писал путеводитель по принципу: на знакомство с городом у вас есть один, три, пять, десять дней. Кто приехал на один день, тому советолог предлагал следующий маршрут: «После завтрака в гостинице “Астория” отправляйтесь пешком мимо мемориального здания ЧК (впоследствии КГБ) на Дворцовую площадь, где в любую погоду вы ощутите ветры истории, сдувавшие царей и их слуг с насиженных тронов. Подойдите поближе к Александровской колонне, чудом не опрокинутой рабочими и казаками, посланными Троцким штурмовать покои царевен. Ульянов-Ленин, переодетый в женское платье и в парике, скрывался в это время от юнкеров на конспиративной квартире. Вы проголодались? Хороший кофе можно получить в гранд-отеле “Европа”, поэтому поверните направо, под арку Главного штаба, до сих пор занятого военными, землистые лица которых иногда мелькают в окнах, заставляя прохожего ускорить шаги. Политруков в русской армии, кажется, больше нет, но в любой момент они могут снова понадобиться государству. Впечатление от изумительного Невского проспекта бывает омрачено из-за назойливых цыганских женщин, хватающих вас за рукав. Русские гиды советуют не вступать с цыганками ни в какие контакты. Однодневную экскурсию закончите в Никольском соборе, где вы убедитесь, что Россия встретила, наконец, с Богом. Прелестные девушки, украшающие цветами свою любимую икону, останутся в вашей памяти, и вам снова захочется приехать в этот город былого величия, столицу империи».

Туриста, приехавшего в Питер на десять дней, отправляли не только в Пушкин – Павловск – Петергоф, но и в Гатчину, с глаз долой. Стиль изложения оставался тот же: смесь исторической галиматии и лирического журчания. «Думаю, что вы не откажетесь, после забываемой прогулки по набережным, заглянуть в ресторан “Калинка”. Одетые в камзолы официанты угостят вас сперва бутербродом с икрой и осетриной на вертеле. А после огненных щей и ледяной водки пронизывающий ветер с Балтики покажется вам освежающим дуновением».

Первым желанием было пойти на почту и послать господина Ахалтекинского туда, откуда он пришел – в Нью-Йорк. Но жаль было денег на отсылку. В чем, собственно, моя задача? Включить в список новые гостиницы и убрать закрывшиеся рестораны. А исправлять сами тексты меня никто не просил.

Я почувствовала прилив энергии, как бывало всегда перед невыполнимой задачей.

Начать я решила с музеев. Указанные в путеводителе улица Красной связи и Аллея пионеров-юнкеров теперь наверняка называются по-другому. До десяти утра учреждения культуры не отвечали. Я составила список дворцов-музеев и пошла от пригородов к центру, сужая круг.

- Здравствуйте. Это Павловский дворец?
- Это научный отдел музея.
- Скажите, пожалуйста, какой у вас адрес?
- Зачем вам адрес? Нас с вокзала видно.
- Мне нужно точное название улицы.
- Не морочьте мне голову. Любой прохожий вам покажет.

Больше в научные отделы я старалась не звонить. Также бесполезно было спрашивать вахтеров.

- Ой, я не знаю. Я сутки дежурю, два выходной.

– Да вы сделайте пять шагов. У вас на двери должна быть табличка «Время работы».

- Не имею права отлучаться. У нас строго.

Что этот старый хрыч стережет в Музее гигиены? Экспозицию «Здоровый образ жизни»?

- К вечеру первого дня я стала сдавать. Каждый третий звонок – мимо.
- Я звоню в Дом офицеров?

- Вы звоните в буддийский храм.
- Скажите, это консульство?
- Это курсы переподготовки охотников.

Однажды – уж не помню, куда я звонила – взяли трубку и, по-европейски, сами представились: «Клизменная».

В программе пребывания, рассчитанной на три дня, была страничка «Где заняться спортом».

1. Спортивный клуб Армии. (Сейчас, так вас туда и пустили).

2. Ассоциация керлинга. (Первый раз слышу. Нет времени выяснять. По тому же телефону указаны шейпинг и бодибилдинг, поэтому менять ничего не будем. Наверное, американцу без керлинга дня не прожить).

3. Секция спортивного ориентирования «Азимут». (Ну это еще куда ни шло. По крайней мере турист не заблудится в Летнем саду и выберется по компасу из Уткиной заводи).

В путеводителе было написано: «Покатайтесь на коньках в Таврическом саду. Спортивную экипировку вам выдадут тут же за символическую плату». Насколько я помню, Таврический сад весь перекопан...

- Здравствуйте. С кем я говорю?
- С сантехником говорите.
- Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно узнать, работает ли у вас каток.
- Какой, к черту, каток летом?
- Да, вы правы. А зимой каток заработает?
- Зимой мы тут сами коньки отбросим.

Больше всего хамили работники таможи и администраторы оперных театров. То «все справки платные», то «по телефону справок не даем». Но были и добрые голоса. Старушки, которым хочется поговорить, да не с кем. Звоню в солярий «Благовест», проверяю, по-прежнему ли третий четверг каждого месяца – выходной.

– Гуленька моя, у нас заведующая с деньгами сбежала, а у главного бухгалтера опухоль нашли в голове. Прихожу сюда только цветы полить. Я ведь всю блокаду, от звонка до звонка...

Бабушка, миленькая, нет времени слушать твою биографию. Доллар ждать не будет. В график не укладываюсь.

Покончив с музеями, я вздохнула с облегчением: перехожу к ресторанам и гостиницам, а там уж немного останется.

В путеводителе я прочла: «Гигантская гостиница “Прибалтийская“, повернутая своими пятнадцатью ресторанами к Финскому заливу, воспринималась советскими балтийскими республиками как напоминание о том, кто в доме хозяин. Сейчас, после распада СССР, гостиница опустела, но обслуживание, по русским меркам, неплохое. Персонал бегло говорит на том английском языке, на котором разговаривали герои Чарльза Диккенса. Но не будем слишком строги к русским, вдруг открывшим, что существуют другие страны кроме матушки-России... Сообщение с центром города отвратительное. Впрочем, вы можете взять напрокат легковую машину и оставлять ее на гостиничной стоянке».

Так, подумала я, стоянка. Надо проверить. Пусть редактор оценит мою добросовестность.

- Здравствуйте. Это гостиница?
- Бюро обслуживания четырехзвездной гостиницы «Прибалтийская» слушает вас.
- У вас есть автостоянка?
- Есть, пожалуйста. Работает круглосуточно.
- Я надеюсь, что для туристов, живущих в вашем отеле, она бесплатна?
- Почему бесплатна? Очень даже платна.

– Сколько берете за сутки?

– Не знаю. Надо спрашивать прямо на парковке. Телефона там нет. Подъезжайте на стояночку и спросите Валерика. Он вам скажет расценки.

На часах было полпервого ночи. Мне советовали ехать в крошечную тьму по криминальному Васильевскому острову, чтобы узнать у Валерика что почем. Я подумала и написала: «Стоимость парковки вашего автомобиля – десять долларов в сутки». Это было мое первое с начала работы грехопадение.

Прошло три с половиной месяца. Один телефон сломался, и я купила другой. Но ни по старому, ни по новому не могла дозвониться до массажного салона «Стоик». То занято, то трубку не берут. А ведь полный список массажных кабинетов – вынь да положь. Я в сотый раз набрала осточертевший номер «Стоика» и услышала голос, который сказал кому-то:

– Вроде телефон звонит...

– Это массажный салон? – заорала я.

– Да... А как вы до нас дозвонились? У нас уже полгода, как телефон отключен. У нас и телефонного аппарата нет.

– А как же мы с вами разговариваем?

В трубке невесело рассмеялись, и голос пропал. Я встала, открыла холодильник, достала остаток «Синопской», выпила и вырубилась.

Слава тебе, Царица небесная! Техническая часть работы позади. Осталось написать, что мы подельваем в свободное время. Я открыла путеводитель – узнать, что об этом думают в США.

Итак, хобби русских:

1. Баня.

«С незапамятных времен в России любят баню. Перед Пасхой – главным событием года – помещики парились вместе с крепостными в знак примирения в день Светлого праздника. Сейчас в баню ходят, как в клуб: пьют пиво, играют в шахматы, читают газеты. Тут же в магазине можно купить venik - букет, составленный из веточек березы. Им русские выгоняют из организма токсины и шлаки».

2. Водка.

«Если вы идете в русский дом, купите хозяйке в подарок бутылку водки. Водку пьют двумя способами. Вариант первый: сделайте выдох и выпейте водку с ломтиком семги на закуску. Вариант второй: сделайте вдох, затем выпейте водку. У мужчин старшего поколения считается шиком сразу же понюхать корочку черного хлеба, не используя ее в дальнейшем в качестве закуски».

3. Культпоходы.

«Откройте субботний номер любой газеты. Городских жителей приглашают в культпоход, причем место сборов назначают у памятников бывшим коммунистическим вождям. Горожане организуются в группы, выбирают руководителя, и начинается коллективный поход вокруг озера или по местам кровопролитных сражений Второй мировой войны, или просто по сказочному русскому лесу, иногда с ночевкой. Культпоходы – это всё, что осталось от идеологии коммуны в современной России».

4. Семейный отдых.

«На уик-энд петербуржцы любят выезжать с семьей в загородные отели. Воскресным утром компания отправляется в лес и возвращается с корзинами, полными шампиньонов. На ужин повара отеля приготовят русской семье барбекю с только что собранными грибами, и всю ночь напролет будут слышны то шутки и смех, то раздольные русские песни. Воскресным вечером семья возвращается в город, чтобы на следующее утро влиться в людские колонны, шагающие на фабрики и заводы».

Мне понравилось, как мы отдыхаем. У нас тоже свободная страна: один идет в культпоход вокруг озера, а другой, попарившись в бане, выпивает сто грамм

водки после глубокого вдоха. Зачем писать заново, подумала я. Пусть всё останется как есть.

1998

ДОМ ХРОНИКОВ НА ЧЕКИСТОВ, 5

Выступить в каком-нибудь доме инвалидов шведский любительский хор хотел давно. Подыскать интернат должна была я, а репертуар и подарки хористы брали на себя. За месяц до приезда они позвонили из Швеции: «Мы хотим спеть старым людям, прожившим большую, тяжелую жизнь. Сейчас мы обсуждаем костюмы. Что будет уместнее: майки с Ельциным или строгие длинные платья, а на погончиках – двуглавые орлы?»

Найти интернат оказалось непросто.

– Ой, к нам нельзя. Мы только-только ремонт начали.

– Эдуард Эдуардович сейчас в отпуске, а без него ничего не решаем.

– Нет, спасибо; принять не можем. Мы тут сами артисты – и поем, и пляшем.

Если бы вкусенького чего привезли, а так...

– Швейцария хочет приехать? А почему к нам? А не испугаетесь? У нас пол-интерната – дауны. Они в основном и придут, в зал-то.

Наконец интернат был найден на улице Чекистов, дом 5. Директор, Роберт Сергеевич, мне понравился: дурака не валял и подарки не вымогал.

– Сделаем, сделаем. Привозите. Народ соберем. Ходячих у нас сто, лежачих – двести двадцать. Комнаты показывать не будем – дух очень тяжелый. Покажем зимний сад и комнату с поделками. У нас художница жила, из зерен картины делала. Иностранцам нравятся, даже купить хотели. Так что приезжайте, примем.

В назначенный день тридцать хористов вошли в интернат. Торжественные, благоухающие, в ослепительных блузках и рубашках с маленькими трехцветными флажками на груди. Каждый нес сумку с подарками: сухие супы из шиповника (чтобы старым людям долго не возиться с готовкой), пакетики чая на нитках (вкус тропических фруктов), ментоловые пастилки (уменьшают сухость во рту) и много бальзама для волос (втирается в голову сразу после мытья шампунем).

Милые, милые шведы. «Надо привезти простые в употреблении и практичные вещи», – так, наверное, решили они, обсуждая, что везти «старым людям в России». Бальзам для волос – лежачим годами хроникам...

Держа в руках непостижимые, ненужные заграничные чудеса, интернатские вежливо слушали объяснения, как пользоваться подарками. На лицах стариков не было радости. Они будто чего-то стыдились: то ли собственной бестолковости, то ли своей убогой одежды.

Когда мы вошли в зал, там было всего пятнадцать человек. Роберт Сергеевич успокоил: «Вышли. Двадцать минут уже как вышли. Они из своих комнат полчаса до зала идут. Уже на подходе».

Те, что уже пришли, сидели в третьем ряду. Это были очень старые женщины с палочками. На многих были байковые кофты с карманами. При виде этих кофт сжималось сердце: последний раз я видела такие кофты сорок лет назад – бабушки бедных девочек носили такие бесполое кофты-балахоны. Время не властно над синей байковой кофтой. Ее носят в домах хроников. В зале обнаружилось несколько мужчин, почему-то в шляпах. Они заняли места за женщинами и время от времени трогали их за спину или плечи, не меняя выражения лица. Это были тихие дауны, и женщины никак не отвечали на их прикосновения, как будто кошка прошла и задела край юбки.

Хор поднялся на сцену. Зрители хлопали, но было видно, что их мысли далеко.

- Люди-то какие хорошие. Вот, и о нас вспомнили.
- Немцы это. У них в Германии голоса хорошие, я знаю.
- Дай Бог им здоровья. А нам-то уж чего, помирать пора. Печенье, и то давать перестали, с перестройкой-то.

Хватит про еду! Мешаете слушать.

После концерта артисты спустились в зал и сели в первые ряды: директор подготовил беседу об инвалидах СНГ. Старухи, наделенные мелкой властью, сгоняли пытавшихся сесть поближе к сцене.

Роберт Сергеевич не разрешил занимать первые два ряда.

– Я инвалид первой группы, имею право!

– Вы нахальная женщина. Я сама инвалид труда, тридцать лет проработала на одном предприятии, а не сажусь туда, где запрещено!

Когда мы уходили из интерната, нам навстречу попалась маленькая бабушка в шлепанцах. Она только сейчас добралась до концертного зала, хотя «вышла» вовремя. Шведы окружили ее, умиленные ее уютным видом и словоохотливостью.

– Только сейчас дошла, родные вы мои, ноги не идут. Спасибо, что навестили нас, приезжайте еще, не забывайте. А? Чего говорят-то, доченька! Одна я, совсем одна. Сын утонул, а мне Бог смерти не дает. Жизнь-то совсем худая пошла...

– Что ты мелешь? – перебил ее мужчина на инвалидной коляске. – Переведите зарубежным гостям: у нас все есть. Парк вокруг интерната, газеты получаем. В цирк возят. Государство нас всем обеспечивает. Главное, чтоб мир был. Ленинские места гостям показывали? Нет? На «Аврору» обязательно съездите. Ну передавайте привет шведскому народу.

– Лиходеев, анализы сдавать, – сказала медсестра, проходя мимо. Мужчина повернулся, и тяжелая коляска покатила по коридору, в конце которого угадывался обшарпанный автобус и санитар, увозящий дешевый гроб.

1993

ИНОСТРАНЕЦ БЕЗ ПИТАНИЯ

Поступить на Восточный факультет было трудно, а учиться – еще трудней. Лера попала на кафедру, где студентов набирали раз в три года, по пять человек, кафедру истории Таиланда. Да, да. Тайский массаж и сиамские близнецы. Лерина специальность не сулила командировки в столицы мира. Реально было рассчитывать на место младшего научного сотрудника в Институте востоковедения, окнами на Неву.

Лера как раз заканчивала дипломную работу – «Экономические отношения в средневековом Сиаме» – когда советская власть, почти родная, ушла не попрощавшись. Ни инструкции не оставила, ни тезисов. «Живите как хотите. Няnek больше нет: рынок».

Институт востоковедения задышал на ладан, и сектор Юго-Восточной Азии предупредили: научные темы закрываются... Сушите сухари. Лера устроилась в детский центр «Живулька» – вести исторический кружок. Дети были маленькие, кружок платный. Чтобы сохранить контингент, Лера рассказывала детям сказки. Занятия проходили так: Лера садилась на ковер, открывала книгу, принесенную из дому, дети ложились рядом, замирали.

«Аладдина отвели в баню. Там его вымыли и размяли ему суставы, потом ему обрили голову, надушили и напоили розовой водой с сахаром».

Некоторые куски, знакомые с детства, поражали Леру новым смыслом.

«– Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло, юноша? – спросил старик.

– Я знаю счет, письмо, читаю по звездам. Я знаю все науки, – ответил принц.

– На твое ремесло нет спроса в наших землях. Жители нашего города не знают ничего кроме торговли. Возьми топор и веревку, иди в лес и руби дрова. Продавай их и кормись этим. В день ты можешь заработать полдинара».

Дети со здоровой психикой засыпали, не дослушав сюжета. А самые впечатлительные слушали, затаив дыхание: «Я Дахнаш, сын Кашкаша, – вскричал старший джинн...»

Через два месяца «Живульку» закрыли. Некоторые педагоги устроились в школу раннего развития «Взмах», а Лера замешкалась. Потом немного подождала, не позовут ли ее. Никто не позвал. «Ну и черт с вами и вашим ранним развитием, – подумала она. – Посижу дома, займусь своими детьми».

С мужем Лера разъехалась. Почему – никому не рассказывала. Жила с дочкой и мамой. Выйти снова замуж хотелось, хоть за эллина, хоть за иудея. Были бы общие интересы и немного чувств. Много чувств не надо, плохо кончается. Но где Его взять-то? Раньше знакомились на конференциях, симпозиумах. Делаешь доклад. «Есть ли вопросы к докладчику?» Встает мужчина во втором ряду. «Вы разделяете гипотезу Сингл-Дуббеля, что славяне позаимствовали хомут и дугу у китайцев?» Отвечаешь, а потом он, задавший вопрос, подходит в перерыве, хочет продолжить дискуссию. Ты ему о межплеменных распрях домонгольского периода, а он приглашает в ресторан. Оказывается, это была судьба. В общем, теперь оба живут зимой в Принстоне, летом на Гавайях.

Лере попало на глаза объявление: «Набираем внештатных экскурсоводов в Эрмитаж. Сдавшие экзамены получают право водить обзорные экскурсии». Три миллиона экспонатов, двадцать два километра по наборным паркетам. А на подготовку остается две недели. Теперь по утрам Лера бежала в Эрмитаж, увязывалась за экскурсионной группой, слушала, записывала. Потом проходила по маршруту еще раз, с другой группой. У женщин-экскурсоводов Лера обнаружила единый стиль: гладко зачесанные волосы, клетчатая юбка, шаль. От ежедневного общения с шедеврами в них появилось элегическое достоинство и кастовая мудрость: вы придете и уйдете, а Лиможские эмали и камеи Гонзага останутся здесь навеки. После Эрмитажа Лера, на чугунных ногах, топала в Публичку, обкладывалась справочниками. И чем больше читала, тем больше ей хотелось выдержать экзамен, накинуть шаль и заскользить, опустив голову, по прохладному полу Двадцатиколонного зала.

Наступил день экзамена. Комиссия сидела в помещении дирекции, за двойными дверьми. Желающие получить работу, молодые и пожилые, шелестели путеводителями. Народу было много, но первым идти на расправу никто не хотел.

– «Старушка за чтением» – это Рембрандт или ученики?

– Люди, кто такой Полифем? Скульптор или архитектор?

Лера вздохнула и шагнула через порог. Что знаю, то знаю. Чего бояться? И директора Эрмитажа завалить можно.

– Садитесь, пожалуйста.

Вокруг стола красного дерева сидели четыре женщины-экзаменаторши. В одной из них Лера узнала экскурсоводку, к которой примазывалась на экскурсиях. Та тоже узнала ее и шепнула что-то на ухо соседке.

– Вы окончили Восточный факультет? Ну тогда расскажите нам про историю комплектования у нас в музее сасанидского серебра.

Лера посмотрела в окно. На Неве покачивался «метеор», началась посадка на Петергоф. Не получив ответа, экзаменаторы задали второй вопрос: техника бальзамирования у кочевников Алтая. Не жди третьего вопроса, прощайся, сказала себе Лера. Экзаменаторы смотрели на нее с участливым сожалением. Полупустой «метеор» отчалил от пристани.

– Между прочим, существуют двухлетние подготовительные курсы. Платные, – сказала ей в спину знакомая экскурсоводка.

Деньги кончились, и Лера перешла на овес и тушеные овощи. Стало ясно: амбиции в сторону, надо что-то решать. Лера стала читать объявления. Все хотели что-нибудь продать. Желающих купить было меньше, и им нужно было то, чего у Леры не было: «Всегда купим крахмал набухающий кукурузный».

Работу тоже предлагали: ночная уборщица в метро, контролер в автобусный парк (обращаться на Глиноземную улицу). От названия «Глиноземная» гасли все желания. В Доме книги Лера полистала перечень профессий: сортировщик немытой шерсти, древопар, варщик шубного лоскута. Представила их себе немолодыми благообразными пролетариями. Учились, овладевали специальностью. Сортировщик немытой шерсти выпивал, конечно. Их фабрики теперь закрыты, люди разбрелись в разные стороны.

Знакомые, окончившие естественные или, как Лера, противоестественные факультеты, советовали: маму и дочку отправь в деревню, а комнату сдай иностранцу.

– А сколько брать за комнату?

– По обстоятельствам. Сто – сто двадцать в месяц. Долларов. Некоторые хотят, чтобы был завтрак и ужин, но связываться с едой не советуем. Не угодишь.

Лере повезло. Первый же иностранец, англичанин, не только хотел снять комнату на три недели, но и желал заниматься русским языком, за отдельную плату. Два часа ежедневно, с учителем. Она же хозяйка квартиры.

Голос по телефону был молодой, говорил почти без акцента.

– Сколько вы хотите за вашу комнату?

– Семьдесят пять за три недели.

– Круто.

– Вы считаете, что это дорого?

– О'кей. Приезжаю через три дня. Диктуйте адрес.

Он появился в шесть утра. Долговязый, в лыжных ботинках. Очень прыщавый. За спиной рюкзак. Майкл приехал из Омска, где год работал в банке консультантом.

– Ну как, Майкл, было в Омске?

– Кошмар.

– А где вы учились русскому языку?

– Год в Англии, а потом на курсах при МГУ.

– Ну и как вам понравилось в Москве?

– Кошмарно.

– Куда вы дальше поедете – в Омск или в Англию?

– Много будете знать, скоро состаритесь.

Ну и ну, подумала Лера, где это он такого нахватался. И ведь обо мне скажет потом: кошмар.

– Вот ваша комната, вот ванная. Чувствуйте себя как дома.

– А горячая вода есть?

– Есть.

– Пока есть, – Майкл сверкнул очками. – Потом ее отключат.

Опытный, решила Лера.

В восемь утра англичанин заходил в ванную и пускал воду. Вода лилась и лилась, и не было этому конца. В девять он переходил в кухню и ел там что-то свое. В кухне он не включал воду вообще. Наверное, питался сухим кормом. После завтрака англичанин готовился к уроку: читал газету «Ваши финансы» и выписывал все незнакомые слова и выражения. В полдень начинался урок. Майкл читал вслух газетную статью, останавливаясь на непонятном.

– «Этот бытийный контекст, к сожалению, не артикулируется в нашем социуме».

Про что это?

– Журналист имеет в виду, что народ не хочет обсуждать эту проблему.

Англичанин почесал грудь, вздохнул и перешел к спортивной странице.

– «Нападающий Колотовкин фрагментарно подрастерял голевое чутье». Давайте разберем по слову.

Жилец заучивал выражения, ненужные ни на работе, ни в быту. Чем они ему понравились, объяснить не мог. «Забор воды», рыба «голый прямун», «Продается девочка-боксер от злобных родителей». Иногда у него было игривое настроение, и он спрашивал Леру: «В каком слове семь “о”? Не знаете? *Обороноспособность!* А три “щ”?»

– Дайте подумать.

– Не надо думать. *Защищающий!*

Последние полчаса Лера занималась с учеником устной практикой. Вопрос – ответ.

– Майкл, где живут ваши родители?

– Отец в Египте, мама в Испании.

– А в Англии у вас есть родственники?

– Нет.

– Вы женаты?

– Я свободный.

– Что вам нравится в России?

– Русский язык и женщины.

После урока Майкл уходил из дома. Возвращался непоздно, проходил в свою комнату и затихал. Вечером, когда Лера уже лежала в постели, жилец шел на кухню, жарил мороженный шпинат. Кровать англичанин не убирал. Одеяло клал на стул, на подушку – плеер с наушниками, под кровать – англо-русский словарь. Лампу он вообще не выключал. Так она и полыхала весь долгий июльский день. Работает под милого чудака, решила Лера.

Урок окончен. Входная дверь хлопнула, англичанин ушел. Лера выглянула в окно. Он понуро брел по пустынной летней улице, один в целом мире. Остановился у ларька, подошла молодая попрошайка и показала ему что-то. Англичанин покачал головой, обогнул ее и двинулся дальше, и оба скрылись за поворотом.

Бедный ты мой, ну и хозяйка тебе попалась. Ни на балет, ни на концерт не пригласит. Зациклилась на домашних заданиях: составьте диалог покупателя и продавца, опишите дом с привидениями.

На выставку Лера отправилась только ради ученика, из чувства долга. «Алина Крюгер. Персональная выставка. Жизнь как утрата. Вход свободный». В пустом зале бродил бородач с дамой. На некоторые работы он смотрел через дырку в кулаке, чувствовался профессионал. Лера тоже посмотрела через кулак, но разницы не заметила: все те же обнаженные мужчины на курьих ножках, а на заднем плане пагоды в огне. В буклете про Алину было сказано: «Художница проецирует притчевый мир на пространство бесконечного». Интересно, где и как учат писать искусствоведческие тексты? Наверное, с этим рождаются. Бывая в гостях, Лера любила листать художественные альбомы и, посмотрев репродукцию, прочесть, что об этом пишет специалист. Видишь: мальчик накрыл насекомое сачком, по бокам ангелы трубят в пионерские горны, в небе самолет со знаками зодиака на борту. Читаешь: «Художник рассматривает холст как культ мгновения, где упрямство деталей взаимодействует с попыткой осмысления будней». Думаешь: автор текста мало бывает на воздухе, держится на кофе и сигаретах, интимная жизнь чем-нибудь осложнена...

– Ну как, Майкл, понравилась выставка?

– Интересно. Я думаю, что художница – национал-патриотка.

– Почему?

– По кочану.

Так, подумала Лера. Приехали. Русский язык начинаем учить сначала.

На субботу и воскресенье Лера поехала за город, к своим. Просила Майкла дверь никому не открывать и написать сочинение «Как я провел выходные». Сейчас поьем вместе чаю, думала Лера, подходя к дому вечером воскресенья, надо ученику больше внимания уделить, последняя неделя пошла. Еще в передней Лера почувствовала: жарили мясо, со специями. Вошла на кухню. Пол вымыт, от помойного ведра тянет освежителем воздуха «Рогнеда». Открыла холодильник. Так и есть: на полке, отведенной англичанину, домашняя снедь. Женщина! На два дня оставить нельзя, бабу привел. Причем она сейчас здесь, в квартире.

Майкл вышел в коридор.

– Добрый вечер, Лера. Вы не против, если у меня в гостях друг?

Друг тоже вышел из комнаты. Короткая юбка, кривоватые ноги на высоких каблуках. Смирненное личико без косметики. Такие берут мертвой хваткой.

– Снежана. – Девушка протянула мягкую, как тряпочку, руку. – Мы с Майклом английским языком занимаемся.

Лера молча ушла в свою комнату и закрыла дверь. Неужели на ночь останется? Мы так не договаривались. С другой стороны, сдала комнату – и не возникай. Уплачено.

Из комнаты англичанина доносился смех. Чем она его так рассмешила? В коридоре зажегся свет. И опять послышался смех. Пошел провожать, слава Аллаху, вздохнула Лера, засыпая.

Майкл вернулся домой только утром. Веселый. Уже не одинокий.

– Я теперь буду жить не здесь. Изменились обстоятельства, извините.

Он протянул конверт.

– Плачу, как договаривались, за весь срок.

Лера так растерялась, что спросила:

– И русский язык вам больше не нужен?

– Не беспокойтесь. Нет проблем.

Больше вопросов Лера не задавала. В опустевшей квартире ничего не хотелось делать. Стыдно было вспоминать, как спешила с дачи, от плачущей дочки – завтра урок! – в электричке, в тамбуре, зажатая между рюкзаками, придумывала упражнение на числительные: пятьюстами шестьюдесятью четырьмя мальчиками, о девятистах сорока девяти девочках...

– Нельзя привязываться к жильцам, – возмутилась Лерина подруга, та, которая работала в квартирном бюро. – Ты бы еще в них влюблялась. Не переживай. Бери карандаш и записывай: первое, супружеская пара из Новой Зеландии, миссионеры. Лечат вензаболевания словом Божьим. Им нужна комната на месяц и чулан для миссионерской литературы. Второе, чемпионка Кракова по армреслингу, с подругой. Просят комнату на всё лето без мебели, и чтоб на полу два тюфяка. Думай, только быстренько. Ответ - завтра.

1997

ДЕРЕВНЯ

Из Москвы в деревню ехали в общем вагоне. Оля еще на вокзале настроилась: народ люблю, всем социальным слоям сочувствую. Опытная Татьяна штурмом взяла две верхние полки, и Оля быстро залезла наверх и затихла, обдумывая: надо ли угощать попутчиков печеньем после того, как в борьбе за спальное место ты двинула их рюкзаком.

Было только девять часов вечера. Спать рано, читать темно. Удобно было только думать. Да, вот так живут люди, так они ездят в поездах. Простой человек брезглив, вот он и писает в тамбуре, чтобы не заходить в грязный туалет.

Татьяна еще при Горбачеве первая купила избу в деревне. Теперь в соседнем Княжеве живет балерина с кинокритиком, в Воробьевке – пара историков-медиевистов. «Кругом московская мафия», – говорили местные. Татьяна каждое лето звала: приезжай, поживи в настоящей деревне. Лес, тишина...

Оля помнила зимние городские сумерки. Учительница читает из «Русской речи»: «Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село...» Оля окончила школу с золотой медалью, но все пятерки и похвальные листы не удержали забрезжившего было жениха. И умение чертить втулку в трех проекциях не помогло отличить зло от добра, а от Некрасова осталась печаль, вещь в жизни необходимая.

– В Загорье женщина есть, пьесы пишет, – сказала Татьяна. – В Москве о ней все уши прожужжали, а она в четырех километрах от меня живет. Ее за границей ставят. В гости сходим.

Ночью в вагон села тетка с мешком, который ходил ходуном. Как только поезд тронулся, поросенок завизжал и визжал до самого утра. Пенсионерка с боковой полки посочувствовала: «Устал, наверно, в мешке лежать, вот и нервничает». Тезис о долготерпении народа подтверждался. Спали не раздеваясь. На третьей полке лежали мужчины в обуви, лицом к стенке. Мужчины поехали дальше, а Оля с Татьяной, помятые, сошли в Осташкове в пять утра.

Страшно открывать дверь избы, где год никто не жил. В сенях – ведра с прошлогодней водой. На диване мертвая мышь. И начатый пасьянс «косынка» на столе.

День приезда не регистрируется в книге жизни, и Оля ходила туда-сюда, ожидая наступления гармонии. Когда ложилась спать, ей показалось, что она стала естественней и проще.

Утром Оля взяла ведро и пошла к колодцу в конец деревни. Из соседних ворот вышла корова, выпачканная свежим навозом. Три курицы собрались было проводить подругу, но передумали и повернули назад.

– Посрет, посыт и лягит, – сказала хозяйка, снисходительно глядя на корову. – Скажите Татьяне, сегодня хлеб привезут.

О прежней деревне Оля знала от домработницы Дуси. Дуся рассказывала охотно, с тайным уважением к тирану.

– Косить не давал. Ну не давал косить, и всё тут. Ложки отбирали, доча. Зеркальце отобрали. Перед Троицей мать увидела, что опять из сельсовета к нам, идут, два раза чохнула кровью и померла.

В полдень Татьяна с Олей лежали на одеяле в саду. Мимо проехал мужик на велосипеде, тактично не глядя на праздных женщин. Больше в этот день Оля никого не встретила на улице. Деревня отдыхала: нет больше ни кнута, ни пряника. Тишина.

Перед ужином Татьяна посмотрела в окно.

– Анята идет. Жива еще. Мужа в прошлом году похоронила.

Во двор вошла маленькая женщина с темным лицом, одетая в детское.

– С приездом. Мне Валька в магазине сказала, что вы приехали.

Татьяна разговор не поддержала. Аня подождала, не будет ли проявлен интерес к ее приходу. Интересы не было.

– Дай, Татьяна, чего прошу. Я тебе отработаю. Грибов принесу.

– Аня, тебе раз дашь, ты каждый день таскаться будешь. Ты меня прошлым летом достала. Я с подругой приехала, хочу пожить спокойно.

– А я бы вам баню протопила, воды принесла.

– Аня, иди домой. И сюда больше не приходи.

Из окна было видно, как Аня, гонимая жаждой, бежала через луг в другую деревню.

– К Вайскопфу почесала, к переводчику, – сказала Татьяна. – И зря. Вайскопфы ей не нальют.

Деревня ждет от москвича, чтобы он посадил-выкопал, собрал-насушил и в августе уволок неподъемное в Москву. И долго тянется деревенский день, если ты приехала полежать под яблоней, надеясь, что смятение и тоска остались там, в столице.

– Завтра пойдем к Яковлевым, – объявила Татьяна. – Посмотришь, как люди живут.

До Яковлевых было часа два ходу. Дорога шла через три деревни. Огороды вспаханы, дрова наколоты, но ни одной живой души не видно ни в окнах изб, ни в поле. Только кошки на каждом крыльце, и те в глубоком оцепенении. Прошли мимо церкви, так давно разоренной, что неинтересно было говорить на эту тему.

Яковлевы, муж и жена, рано вышли на пенсию, продали квартиру на Севере и переселились в деревню навсегда. Всё построили своими руками.

Посреди уютного двора стояло кресло-качалка. Под навесом – «москвич» с открытыми дверцами. В окне сарая виднелся профиль белоснежной козы.

– Заходите в дом, – пригласила хозяйка Вера.

Клетчатая скатерть на столе, книги от пола до потолка, краски и кисти в высоком стакане: знакомый уют московской семьи.

– Даже не хочу вспоминать городскую жизнь. Зимой ходим только за хлебом, в остальном живем автономно. Овощи, мясо – всё свое. Не можем доесть прошлогоднее варенье.

Качалка во дворе была уже занята: молодая загорелая девушка в белом сарафане уютно ела малину из глубокой тарелки. На земле лежали исписанные листы бумаги.

– Леночка, как выкупалась? – спросила Вера, вынося из дома стулья для гостей.

– Ленка так быстро пишет, прямо феноменально. Две пьесы уже опубликованы, и в Польше сейчас ставят одноактную. Критика очень хорошая. Лена, прочти что-нибудь. Про Шешая, например.

Леночка, не ломаясь, нашла страницу и стала читать:

«ШЕШАЙ сидит на русской печи в космическом скафандре. Входит МАЛЬЧИК.

МАЛЬЧИК: Шешай, мама учит мертвые языки. Скажи ей!

ШЕШАЙ: В Японии мох символизирует старость.

МАЛЬЧИК: Красноперая рыба опять вышла на сушу. Зачем, Шешай?

ШЕШАЙ: Я видел из космоса, как учительницы воровали еду в детских домах. Я видел мир без грима. Попроси мать принести земляных груш, я перехожу в другое измерение.

Из сеней появляется ДЕВУШКА с большим треугольником в руках. Напевая финал шестой симфонии Малера, она скрывается в подполе. ШЕШАЙ слезает с печи и начинает кружиться по избе. Потом подходит к окну и влезает на подоконник. С криком «Конец цитаты» прыгает из окна».

Леночка кончила читать. Оля сидела, не шелохнувшись, боясь встретиться с ней глазами.

– Очень интересно, Лена. – Татьяна достала пачку сигарет, и все молча ждали, пока она найдет зажигалку и закурит. – У меня только одно замечание: не совсем убедительна девушка с треугольником, мотивация ее появления.

Леночка улыбнулась.

– Татьяна Ивановна, ну что вы... Девушка – это совесть Шешая.

Когда во двор Яковлевых вошла корова, Татьяна с Олей стали прощаться. Перед уходом они получили рюкзак с огурцами и бидон с малиной.

– Между прочим, Мичурин никто не отменял, – напутствовал их Яковлев-отец. – В следующий раз угощу фейхоа.

– Ну что? – спросила Татьяна, когда дом Яковлевых скрылся за поворотом.
 – Новые люди, – ответила Ольга. – Об этом мечтал поэт: утром дойка, вечером беседы у рояля.

Всю обратную дорогу она вспоминала пьесу и от приступов дикого хохота то и дело останавливалась. Татьяна улыбалась, но обсуждать пьесу не захотела.

Дома, на крыльце их ждала Аня. Рядом лежал гостинец: авоська с недозрелыми яблоками. Татьяна молча отперла избу, достала из буфета «Русскую», налила стакан и вынесла на крыльцо. Аня взяла стакан маленькой коричневой рукой и выпила залпом.

– Вылечила ты меня. Завтра приду, полы вам помою.

Татьяна прилегла на диван и провалилась в сон. Оля поняла, что не заснет. Захотелось поговорить с маленькой Аней. Ведь была же у нее и другая жизнь, была и она молода. Оля вышла на крыльцо. Аня лежала на боку, прежнее страдание ушло из ее лица. Вокруг головы рассыпались зеленые яблоки. И будить ее не было никакого смысла.

1995

НЕ НАЗЫВАЯ ФАМИЛИЙ

Всю жизнь меня спрашивали: вы из каких Толстых? Лев Толстой вам кем приходится? На военной кафедре университета, где из нас, филологов, готовили медсестер запаса, полковник обращался ко мне так:

– Студентка Тулстая, расскажите о гигиене ног в походе.

Однокурсницы, отсмеявшись, ерничали:

– Товарищ полковник, зачем вы девушку оскорбляете?

Полковник надевал очки:

– Тут неразборчиво написано... Студентка Толстых, отвечайте на вопрос!

Много интересного узнавала я о нашей семье:

– Я читал, что “Приключения Буратино” написал Бунин, а Алексей Толстой у него выкрал и напечатал под своим именем.

– Говорят, что еще до войны Толстому оставили латифундию с крестьянами, а Ворошилов подарил ему самолет.

– Правда, что Алексей Николаевич завещал каждому внуку по миллиону?

– У вашей бабушки есть прелестная вещь: «Средь шумного бала, случайно...»

Когда Алексей Толстой умер, мне было два года. Бабушка, Наталия Васильевна Крандиевская, прожившая с Толстым больше двадцати лет, написала книгу воспоминаний. В них есть всё: и любовь, вспыхнувшая накануне мировой войны, и эмиграция, и возвращение в Россию. Жизнь в Ленинграде и Детском Селе. Война и блокада.

Смотрю на фотографию. Бабушке шестнадцать лет, рядом брат, сестра, родители. Их прекрасные лица спокойны. Они жили в необыкновенной, неповторимой стране, где было много, очень много людей с прекрасными лицами.

Из чужого альбома выпали снимки – юный кадет с товарищами, пожилой офицер с маленькими дочками, полный достоинства пролетарий с красавицей-женой. От них не оторвать взгляда. Я не хочу думать о том, что с ними стало, когда пришли новые времена.

К дворянским титулам бабушка Наташа относилась с юмором. В четырнадцатом году, выйдя замуж за гр. А.Н.Толстого, она стала вашим сиятельством.

– Три года посияла, – говорила она. – В семнадцатом году сияние погасили.

Бабушка любила вспоминать, как однажды после войны, закутанная в платок, она садилась в трамвай. Сердитый дядька прикрикнул на нее:

– Куда прешь, колхоз?

В родильном доме я лежала рядом с заведующей баней. Услышав мою фамилию, она сказала:

– А меня из-за тебя в школу не приняли.

– Не придумывай!

– Бабушка привела меня записывать в первый класс, а ей сказали: девочке нет полных семи лет, приходите на следующий год. В этом году у нас будет спецкласс – внучка Алексея Толстого поступает.

Я так громко смеялась, что пришли мамы из послеродового отделения, посмотреть, в чем дело. Знала бы эта женщина, в какой семье я росла. Нас было семеро братьев и сестер – веселых, плохо одетых дворовых детей. Мы сами себя развлекали и были близки к народу – к няне и домработнице.

Набегавшись во дворе, мы вваливались в квартиру, куда вскоре приходили учительницы французского и музыки. Дети учиться не хотели, ленились, а я была особо неспособна к музыке и долго не понимала, зачем нужно учить иностранные языки.

Пятнадцать синих томов стоят на полке, и во всех томах – фотографии писателя, сделанные в разные годы. Я всматривалась в черты лица то хмурого, то просто усталого человека, пытаюсь вызвать в себе родственные чувства. А когда прочла в первый раз рассказ «Ибикус», то ощутила преступную семейственную связь с автором: это написала я. Вернее, я хотела бы так написать.

И сегодня людям не дает покоя наша фамилия.

Сдаю белье в прачечную.

– Как фамилия? – спрашивает приемщица.

– Я же написала в квитанции – Толстая.

Женщина перестает считать наволочки.

– Толстой – это кто, Горький?

Ее начитанная напарница выходит ко мне из-за перегородки.

– Скажите, а правда, что Алексей Толстой – это псевдоним? Как его на самом деле звали?

Мне хочется ответить: «Настоящая фамилия Чехов, а по матери – Достоевский». Я расплачиваюсь и ухожу, потому что больше не могу отвечать на такие вопросы.

В той комнате в Елабуге, где я, не к месту родившаяся в сорок третьем году, лежала в корзине, дедушка Михаил Леонидович Лозинский заканчивал перевод дантовского «Рая». Комната была проходная, освещалась коптилкой, на стенах проступал лед.

Копировальной бумаги в Елабуге было не достать, и сын Лозинского, с трудом раздобыв копируку, прислал телеграмму с радостным известием. На телеграфном бланке стояло: «Жопировальную бумагу выслал». Ниже была пометка почтового отделения: «Жопировальная. Так». С тех пор копировальную бумагу в нашей семье иначе не называли. Из эвакуации Михаил Леонидович и Татьяна Борисовна вернулись в свою прежнюю квартиру на Кировском проспекте. У Татьяны Борисовны были любимцы: Герцен, Чернышевский и Добролюбов. Потом я обнаружила, что Александр Иванович замечательный писатель, а Николай Гаврилович – наоборот, но бабушка любила их одинаково и жила по их заветам: долг гражданина – помочь товарищу в беде. А в беду в те чудесные послевоенные годы попадали почти все, кто уцелел в тридцатые. В квартире на Кировском было тихо: дедушка работал. Бабушка Лозинская с укором смотрела на вольную, безмятежную жизнь толстовских детей. Лучше бы сели за книгу или помогли неимущим.

Летом мы вместе с Лозинскими жили на даче в Кавголове. Дедушка появлялся к обеду и общался с внуками, как с друзьями: с уважением и интересом. Вечерами мы играли в буриме, писали рассказы или повторяли за дедушкой скороговорки

из его детства: «Вы не видели ли, Лили, лили ли лилипуты воду?» «Ну-ка, детка», – дед кадетику сказал“. Мне было одиннадцать лет, когда Михаил Леонидович спросил меня: «Как ты думаешь, можно ли написать: “Она взяла себя в руки и села за стол“»? Перед ним лежала книга одной ленинградской писательницы. Я не знала, как ответить, чтобы дедушка остался мной доволен, и надолго задумалась. Он улыбнулся и погладил меня по голове.

Почти полвека прошло с тех пор, как Михаил Леонидович любовался через дачное окно озером Хеппо-ярви. Теперь из-за разросшихся деревьев и кустов озера больше не видно. А плакат, нарисованный внучкой Катей ко дню рождения дедушки, так и висит на веранде. На нем изображен дедушка с палкой. Он смотрит вверх на дерево. Внуки гроздьями свисают с веток. Сбоку написано:

Дедушке, лучшему в мире,
Мы поздравление шлем.
Носится радость в эфире,
Дедушку любит весь дом.

Михаил Леонидович стихи похвалил, он всегда поощрял литературные устремления внуков.

После дедушки осталось много шуточных стихов. На новый сорок шестой год он посвятил своей дочери, моей маме, такое стихотворение:

Прекрасной дочерью своей
Гордился старый Кочубей,
Сошедший с плахи в ров могильный.
Будь он свидетель наших дней,
Он умер бы еще страшней:
От корчей зависти бессильной.

Жизнь Лозинских в советской России шла по краю пропасти. Несколько раз они уже скользили по кромке, но чудом удерживались.

Мне повезло: я их застала, я их помню. Не знаю, с кем их сравнить: с первыми христианами, с греческими стойками или с энциклопедистами эпохи Просвещения.

Умершие в один год и день, они вечно едут в поднебесье на золотой колеснице – небожители, почему-то оказавшиеся моими дедушкой и бабушкой.

1998

ДИЕЗ

* * *

Глухо падает семя. Пустой человек,
наблюдая привычно свои огороды,
не заметит смещения света на век
и сгущения звука во впадинах дек,
и струения страха в извилинах рек,
повторяющих вяло извивы природы.

Эта музыка в теле – в прибытке и в воле –
в силе счёт по складам довести до дести.
Но глагол, будто облак, бесчувственный к боли,
неспособен рассеянный облик нести.

Тихо падает время. Глухой человек,
в столбняке наблюдая клубничные битвы,
из струящихся дек, из вертящихся рек
извлекает тяжёлые звенья молитвы.

1 янв. 2002

* * *

Ужели музыка права,
калеча походя мембраны,
загромождавая снедью странной
(где различаются дрова

скрипичных, хворост тростевых),
всем этим топливом, созвучным
барочным вензелям и сучьям,
евстахьевы пещеры. Тих

клавичембáл, фагот неярок,
а зычен матерный баян.
Куплеты пахарей, доярок,
в хмельной смыкаясь акиян,

впрягаются в оглобли, плуги
влача по сорным пустырям.
Туги чепрачные подпруги,
и хлыст припадошный упрямя!

Здоров и честен зов навоза
в ошмётах давешних сонат.
Нежна и терпка наша роза –
парфюм, низложенный в салат.

17 февраля 2003

* * *

И вот я перевёлся на Руси.
Взлетел – и нет. Лишь только пятки босы
сверкнули. Только (Господи, спаси!)

вот-вот закусит ротор на оси,
и мой мотор с возвышенного си
всей массой канет в ступор безголосый.

И вот тогда – звенеть в голубизне
останутся лишь ласточки одне.
Одне оне.
Да ангелы белёсы.

21 февраля 2002

* * *

Исай Абрамыч Гуркентопф,
из Малороссии приехав,
расскажет нам про Конотоп,
где резонанс его успехов
доселе ранит сонмы душ
конотопчанок безутешных,
которым был он свет и муж...

Конешно, – скажем мы, – *конешно*...

Семён Семёныч Блюменколь
приехал из Биробиджана.
И он, избрав иную роль,
не вспомнит путного романа.
Но он готов открыть секрет
изобретённой им взбивалки
для туч. (Вот жаль – патента нет...)

Как жалко, – скажем мы, – *как жалко*...

Лишь я, приехав из Москвы,
багаж имею самый скудный.
Чем мне-то хвастаться, увы,
в тупой бездарности подспудной?
И впрямь я духом слабоват.
Вотще я морщу лоб свой бледный,
и, глядя в зеркала квадрат,

всё повторяю,

– бедный, бедный...

6 февраля 2002

* * *

В пряничном домике, где продаются
недорогие летучие блюда,
звёздная пудра, спирали галактик,
может найти незадумчивый практик

мятную радость в отдельной коробке,
сдобный мотив про маньчжурские сопки,
вялый пергамент со знаком надежды...
Тише, мой друг! Не слышали б невежды –

грубый философ да злой теоретик,
чтущие степень, бегущие этик
принципов стройных, лихие рассказы!
Пряничный домик – чумнее проказы

для погружённого в сумрак нейрона.
Редкостный умник пройдёт без урона
мимо соблазна рефлексов открытых.
Пусть уж сидят при разбитых корытах

злой теоретик да хмурый философ,
не разрешая сермяжных вопросов.
Практик же лёгкий из лавочки сладкой
выйдет, блистая посконной повадкой.

Выйдет, колыша титановы мышцы
(вот вам модель, господа живописцы!).
Вынесет в город за хвостик простецкий
пару вселенных для радости детской.

27 декабря 2002

* * *

Приснилось мне... да не приснилось...
(неужто было наяву?),
что я в сарай кидаю силос,
поскольку якобы живу

в деревне где-то под Рязанью
(а я там сроду не бывал).
Что вот рассветной влажной ранью
залажу я на сеновал...

(Ведь сплошь и рядом поражаюсь –
какая снится ерунда!..)

Но чем я в сене занимаюсь –
не ваше дело, господа!

4 мая 2002

* * *

Работа над стихом? Да нет – игра в слова.
Сложение из них лабазов и скворешен.
О чём ещё гудит ночами голова?
А днём о чём? К грамматике привешен
закостеневший в правилах глагол
и жжётся с неких пор не слишком интенсивно.
И двигается стих, как двигается вол,
как будто двигаться неловко и противно
по вязкой колее родного языка
(родного ли – уже? чужого ли – пока?)

21 января 2002

* * *

Назидательный звон среднерусских осин,
ностальгических кухонь густой керосин,
заземлённая аура чутких полей,
неизбывных церквей заунывный елей,

шепелявый псалом с перекосом на О,
альдегид в пузыре да в углу помело...
Помело по Руси, покатило шаром.
Ой вы, гои, еси... Из кремлёвских хором

выползая в природу, что зрите окрест?
Поп Россию не выдаст, чиновник не съест.
Не отторгнет сивуху слепой чернозём.
Кто там скачет козлом? Кто там бродит ферзём?

Кто там правит веслом, чтоб фарватер святой
не похерить во мгле... Ой ты... Ай ты... постой!
Дай народу на берег тревожный сойти.
Чтоб надежда забрезжила – мать ети!

18 октября 2002

ДИЕЗ

И хор был так себе, и регент – идиот –
пускал в замену плотному минору
пустой мажор. Скользя меж зыбких нот,
сопрано вёрткие карабкались на гору

огромной квинты. Грузные басы,
набычив шеи, хрюкали октавой.

Цедя словесный творог сквозь усы,
весь круг певцов, подобно многоглавой

громоздкой гидре, колыхался в такт
опасно накрённому канону.
Увы, наш опыт – божий артефакт.
Наш ареал, преображённый в зону,

в террариум, в общепланетный зо-
осад, не выдержал приматова нахрапа.
Нам свет – оскомина. Нам родина – шизо.
Прощайтесь, граждане, гудящие у трапа

в летальный космос. Кто их разберёт,
фортуны бешеной развёрнутые строки...
На взлёт ли мы пойдём, или под лёд,
едва на спину рухнет кособокий

канон церковный? Это ли печаль,
когда диез выклёвывает печень...
Кольцо планет нам вечно обручаль-
но. Каждый путь – исконно поперечен.

25 декабря 2002

* * *

Пропев полвека под кустом
как разновидность Божьей дичи,
я между нимбом и хвостом
не вижу значимых отличий.

Я весь – душой и телом тут –
хирею в гуще мысли нищей –
как кандидат на высший суд,
как претендент на карцер высший.

16 апреля 2002

РЕАЛИСТАМ

Вот я дошёл до края смысла,
до грани, за которой – бред;
где дымка алая повисла,
из-за которой ходу нет
обратно в мелкие просторы
самоосознанных стихов;
я различил за нею горы
звучаний стройных, и таков
я за завесой был бредовой,
найдя за нею образ новый,
неузнаваемый в стекле.

...Вот малый Я на помеле.
 Вот Я большой – задрапирован
 мантийным саваном – лежу
 и, блеском чудным очарован,
 на ваши игры не гляжу
 из сумасшедшего прорыва,
 в который вам заказан путь,
 поскольку вязнет в правде грива,
 и слишком затвердела грудь
 в шаблонном контуре рассудка,

и не способны вы, как утка,
 рассечь осмысленный камыш;
 и не способны вы, как мышь
 в шизофренную юркнуть щёлку;
 и вы не можете наколку
 благоразумия содрать
 о рёбра острые припадка,
 в котором чувственность так сладко
 за горло тонкое берёт
 (а это-то и значит – взлёт).

Вы стелетесь прогорклой массой,
 в содружестве с больничной кассой
 держась за мысленную твердь
 (а это-то и значит – смерть).

6 апреля 2002

* * *

когда на каждом языке
 создам я свой шедевр бессмертный
 чтоб в знаке, звуке, и строке
 свой стержень виделся инертный,
 свой неопровержимый взрыв,
 своё клеймо, свой строй особый,

и, мой весомый том открыв,
 воскликнет критик твердолобый:
 – гав-гав, кря-кря, кукареку!

я подойду, хвостом виляя,
 и, взяв за горло негодяя,
 тихонько прошепчу: – ку-ку!

10 марта 2002

* * *

центрист, зелёный, белый, красный,
 подьячий, подданный, причастный,
 француз, китаец, эфиоп,
 подвижник, подпоручик, поп...

из вод, из нор, из гнёзд, из дупел
глядят окрест и видят жупел
моих безнравственных стихов.

я ж сочинил и был таков...

24 апреля 2002

* * *

чтоб чувству светлу быть и сыту
чтоб жить в любви да совете
утехою космополиту
звени гармонь на минарете

3 мая 2002

* * *

Только слово может достичь души,
проникая под все оболочки тела.
Но она – мерзавка – плевать хотела
на призывы – типа – не согреси,
не желай чужого – как тó: жены,
полотенца, кошки, собаки, тёщи...

Что ей слово? – мрак – особливо к нощи...

Вот и я – рассудок, мораль, штаны
регулярно роняю к босым ногам
неуёмной, пошлой, развязной страсти.
И библейским песням, стихам, слогам
внемлю лишь во сне, да и то – отчасти.

27 июля 2002

* * *

Пока фанфары не достигли слуха,
позволь себе блаженный оптимизм.
Чтоб кожный зуд, понос да золотуха,
построенный в боях социализм

и прочие постылые хворобы –
на задний двор, за кадр, в сливную слизь.
Чтоб стёрся в генах отголосок Кобы...
Да не успеть! Фанфары раздались...

17 сентября 2002

....ЯКОВ ЛАНДА....

АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ

РАССКАЗ

ЯковЛанда родился в 1948 г. в Одессе. По образованию физик. Работал преподавателем, инженером на Украине, заведующим сектором ВНИИ в Ленинграде. С 1991 г. жил в Германии, работал инженером в машиностроительной фирме. Автор репортажей и эссе для "Радио свобода" (с 1992 г. по 1994 г.). Публиковался в "Русской мысли" (Париж), "Гранях" (Франкфурт), "22" (Иерусалим), "XXI век" (Гельзенкирхен) и др. изданиях. Скончался 18 апреля 2005 г. в Ганновере.

В последние годы мы не виделись – беседовали по телефону. Особенно много – в последние месяцы. Он, как принято говорить, все знал и не цеплялся за жизнь. И потому, что считал это недостойным, и потому, что был напоен жизнью – как мало кто. Зная, что смерть неизбежна, он, как и все, верил в собственное бессмертие. Но в его случае эта вера, отвергающая знание, вовсе не казалась наивной. Чуть только в ходе беседы выяснялось, что наши взгляды на какой-то предмет расходятся, он принимался спорить с таким азартом, что нельзя было поверить в возможность его ухода.

Что прибавить? Что он стоял на пороге большого литературного успеха. Ясным это стало больше года назад, после того как петербургская «Звезда» опубликовала его ослепительную повесть «Последний звонок». Автора поминают цитатой – приведу финал этой публикации: «И счастье было неизбежно, а жизни, да что там жизни – дню, мгновению этому, теплomu дождю и бурлящему потоку вдоль прекрасной извилистой улочки – не было конца».

Михаил Безродный

Где же он ее впервые увидел? Ну да, сразу же после приезда, но где? Не на вокзале же – конечно, в штабе дивизии, но не в самом здании, а во дворе. Она сидела за столиком под деревом, в курилке. Оазис такой на краю бетонного поля: три дерева, стол, две скамьи, урна. Главное – тень. Он подошел и сел рядом, чтобы перевести дух. Все-таки два с половиной километра над уровнем моря, непривычно.

Она курила, глубоко затягиваясь, откинувшись на спинку скамьи, нога на ногу, свободно и расслабленно. На столе рядом с сумочкой сигареты и зажигалка. И все это никак не вязалось с казённой праздничностью размалеванного чудовищной наглядной агитацией гигантского плаца, так что он на мгновение даже усомнился в подлинности увиденного.

Нет, не видение: подошли два прапорщика, оживленно обмениваясь репликами, в которых нецензурным было все, за исключением разве что междометий, и вдруг, разом проглотив языки, обошли курилку и удалились, пряча на ходу уже приготовленные пачки папирос. Кто она?

Один раз она на него посмотрела. С любопытством. Штатский мальчик, приехал, наверное, только. Ну-ну. Глаза серо-зеленые, глубокие-глубокие, никогда таких не видел. Никогда? Ну то давно было...

Докурила, поднялась и, не взглянув на него, ушла. Он не рискнул посмотреть ей вслед. Подошли и уселись прапорщики. Он спросил их, где отдел кадров. Выходя из оазиса, увидел ее уже входящей в здание, и еще раз окатило его серо-зеленым. Надо идти представляться, получать назначение. Интересно, куда попадешь. Только бы не в мотострелковый полк... ПВО там отдельно, но, говорят, тоска зеленая... Толстый седой подполковник оказался земляком и говорил с теми же знакомыми украинизмами, от которых он сам отвык уже, кажется... Куда же тебя, парень... Ну давай, в отдельный... Хлопец ты грамотный... О ней он тут же забыл.

Когда потом? Да, в кинотеатре. Когда командующий нагрязнул. Вот было время... У них в дивизии давно, видимо, не все было ладно. Потом ЧП. Совершенно секретно, но все знали. Капитан один поехал охотиться, в горы. С женой. Капитан такой, что ему можно. Из контрразведки. Вдруг вертолет сел. «Оттуда». И забрал их. Красиво... Вот почему с женой вместе пошел. Скандал страшный.

Ну и всякие другие дела: одному новобранцу челюсть сломали, а в другом полку еще похуже. А у соседей-мотострелков два автомата исчезли. Практически, все, что случается, там же и разбирается, но вот о ЧП положено докладывать наверх, а что есть ЧП – расписано подробно: гибель личного состава, пропажа оружия... В общем, накопились грехи, и гроза грянула. Утром на тот самый плац у штаба впавшей в немилость дивизии неожиданно приземлился вертолет командующего округом. Подоспела приехавшая ночным поездом многочисленная свита. И завертелось... Невероятно, но он сам, лейтенант-воробышек, казалось бы, этому дракону страшному совершенно незаметный и неинтересный, удостоился персонального внимания. Вышли втроем из части и пошли обедать. Вдруг голос сзади: «Товарищи офицеры...». Оглянулись и застыли в оцепенении: командующий. Седой, погоны – такие только в кино видели: генерал-полковник. В трех шагах от них, а чуть сзади целый взвод просто полковников. У них и командир части-то майор...

– Молодые люди, я за вами уже три минуты иду. Вы, лейтенант руку в карман опустили, я думал, что-то достать... А вы так и идете по городу – рука в кармане, как штатская курица... Что, студент? Командующий посмотрел на университетский ромб на его кителе. Не научили? Пять суток ареста. Не «есть», а «есть – пять суток ареста»... Свободны...

Самое интересное, что на «губе» он так тогда и не побывал. Явился, конечно. Но начальник гауптвахты, пожилой армянин, выслушав, сказал неожиданно: ладно, иди, лейтенант, трудись, тебя мне тут не хватало... Тут без тебя сейчас начнется... Проверяющие уже едут...

– А как же...

– Иди, иди, не бойся, он забыл уже...

И, пыхтя, отвернулся к каким-то спискам. Так и не отсидел. Командующего увидел уже на грандиозном общем разное, в гарнизонном Доме офицеров. Вообще-то по Уставу разбирать и наказывать старших офицеров при младших запрещалось. У них в части ритуал этот соблюдался неукоснительно. Сначала отпускали прапорщиков и втык получали лейтенанты. Потом и они выходили, и свое огребали офицеры постарше. Разумеется, все всё знали. Но – «не положено».

В округе – все три республики, гигантская вотчина – командующий обладал абсолютной властью. Абсолютная власть развращает абсолютно, так что ему законы были не писаны. И он собрал вместе всю дивизию, всех офицеров. Лейтенанты с любопытством, а порой и долей злорадства наблюдали за тем, как разом рушились судьбы, годами тщательно выстраиваемые карьеры. Это было, как в Древнем Риме, так почему-то казалось. Читая подготовленный свитой доклад о положении дел в дивизии, командующий после каждой фамилии какого-нибудь упомянутого в докладе начальника приговаривал меланхолически: «Рассмотреть вопрос о снятии с должности.... Ах, он в академии, на сессии... Отозвать...».

Их, призванных на два года, буря эта не касалась совершенно. После совещания остались в Доме офицеров. Шел французский кинофильм с Жаком Брелем.

Они сели рядом с ним в кинозале, когда в зале уже было темно. «Рот бледный и немного грубый. Зато, как ровный жемчуг, зубы. И молчаливая душа в ее зрачках жила стыдливо. Она не то чтобы красива была, но просто хороша...» Нет, это он прочел позже. Он смотрел на нее, чуть повернув голову, не отрываясь. Однажды и она скользнула равнодушным неузнающим взглядом по его лицу. Внезапно из рук ее на пол упала маленькая черная сумочка. Он наклонился и у своего лица увидел широкую физиономию ее спутника, узнав ее и в темноте. Замкомандира дивизии полковник Сырцов. Ничего себе...

В гостинице – так громко называлось общежитие для несемейных офицеров, где вчетвером в комнате жили лейтенанты-«двухгодичники» и юные «кадровики», – навел справки. Ирина Сергеевна работала там же, в Доме офицеров. Худрук-методист. В субботу он пришел к ней в кабинет и предложил помочь организовать драматический коллектив. И поставить для начала можно было бы, например, «Четвертый» Симонова. Ей было очень интересно. Разговор начался в десять утра и закончился с окончанием ее рабочего дня. В воскресенье продолжили, но успели только закончить с МХАТ и перейти к Вахтангову. В следующий раз остановились на Таирове и продолжили через несколько дней. Мейерхольд занял всю следующую неделю. Впереди были БДТ, Современник и Таганка. Вахтанговский театр он охарактеризовал как придворный и проследил за ее легкой улыбкой в ответ. Обедали в кафе напротив. За соседними столами сидели сослуживцы, но жена Цезаря была вне подозрений. Тем более, что о его театральных планах знали все, а восторженный монолог был, наверное, слышен повсюду в зале. Она сразу загорелась его идеей, предложив себя для роли «Той, которую он любил», что заставило его вздрогнуть. Оставалось подобрать участников драмколлектива. Вывесили объявление. Не пришел ни один мужчина, зато немедленно явилось два десятка женщин. Одна из них была рыженькой засушенной библиотечаршей, остальные – знойные дамы, страстно вздыхавшие подобно знаменитой тогда актрисе: «Ой, я так люблю театр!...». С таким составом поставить можно было бы разве что сценический вариант «двенадцати женщин и одного мужчины». Но они были уже неразлучны.

Она была старше его на девять лет. Их отношения с самого начала облегчались полным отсутствием даже намека на возможность какого-то иного их толкования. С драмколлективом не сложилось, но «начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряли имя действия». Вернее, место. О театре в Паневежисе он рассказывал уже за городом. В городском парке здесь гулять было невозможно: для местных это было немыслимо, а за парой «нездешней» немедленно увязывалась стайка мальчишек с горящими любопытством глазами. Они как раз свернули с тенистой аллеи на окруженную густым кустарником лужайку, и тут она достала из «Зарубежные записки» №3/2005

объемистой сумки на плече принесенное из дома одеяло. Потом он приходил в себя две недели, обходя Дом офицеров десятой дорогой.

И все-таки пришел снова. Лето кончалось, а о гостинице в этом городе не могло быть и речи. Других вариантов просто не существовало. Роман со все удлинявшимися перерывами продолжился у нее в кабинете.

Однажды вчерашние студенты в лейтенантских мундирах исполнили давнюю мечту и ночью написали огромными буквами на выходящем в город ограждении полка: «Забор №1. Ответственный – майор Нестеренко». Протест против мании командира части заставлять их снабжать все и вся бирками с указанием лица, за данный объект ответственного, так что шутники предлагали уже и каждую мышь в складе снабдить биркой с надписью «мышь номер такой-то. Ответственный – прапорщик Погосян». Все эти развлечения были слабым противоводием от повседневного и совершенно швейковского идиотизма их будней и породили особый фольклор, например, дополнения к Уставу внутренней службы, кроме прочего регламентировавшие уставные взгляд в глаза начальнику, скрип сапог, смех в ответ на шутку командира и даже головную боль наутро после вчерашней пьянки.

Например, эталонные обертоны уставного скрипа сапог хранились в Минобороны, а уставной головной болью считались ощущения, испытываемые офицером, специально назначаемым командиром части и наутро делящимся ощущениями с сослуживцами.

Эти развлечения, зафиксированные, кстати, на бумаге именно его рукой, неизвестно каким образом попали в руки начальства, а надпись на заборе окончательно переполнила чашу терпения. Однажды утром его вызвали в штаб полка.

Вытянувшись в струнку, он доложил о себе не командиру полка, майору Нестеренко, а сидевшему рядом грозному полковнику Сырцову, в пристальном взгляде которого проглядывали искорки любопытства.

– Ты это писал, лейтенант? – показывая на рукопись, спросил полковник басом, от которого гулко заняли стекла в окнах помещения.

– Переписывал, товарищ полковник.

– Хитер, лейтенант. Ну а на заборе тоже ты писал?

– Никак нет.

– А почерк-то твой... Так кто писал?

– Не могу знать, товарищ полковник.

– А ты подумай, вспомни. На учениях поговорим... Иди, иди...

К Ирине Сергеевне он решил больше не приходиться, с тайным облегчением определив уважительной причиной этому опасный прецедент личной встречи с грозным ее мужем. Но история сия имела продолжение.

Весной начались большие учения, проводившиеся в крайне неприятном горном районе, где гуляли разносившие тучи песка холодные весенние ветры, флора была представлена лишь редкой травой да колючками, а фауна скорпионами, фалангами и змеями, реже – черепахами. И трудно было поверить, что отсюда – если спуститься в долину – рукой подать до прекраснейшего города на свете, столицы одной из закавказских республик, где самая красивая улица была названа именем одного из отставленных от истории основоположников, где в метро замечательно гортанный голос, сказочно грассируя, отечески предупреждал об опасности, исходящей от закрывающихся дверей, где по-русски говорили с доставлявшим наслаждение акцентом, давно уже, по выражению одного остроумца, ставшим неотъемлемой частью русской культуры.

Учения блистательно провалились. Две дивизии, запутавшись на рокадных подходах к ристалищу, смешали свои боевые порядки, и это скопище представляло собой лакомую цель для ядерного удара противника – хорошо, что только воображаемого, а прикрывавшие мотострелков зенитчики не успели за своими выданными на растерзание вражеской авиации подзащитными. Разгневанный командующий округом решил резко поднять боеготовность проштрафившихся войск, оставив их в этой малосимпатичной и лишенной элементарных условий существования местности – вода здесь водилась лишь во флягах – еще на месяц. Да заодно именно тут и провести очередную весеннюю проверку. Обычно к таким проверкам готовились на «зимних квартирах» основательно и задолго. То, что поддавалось обновлению, обновлялось, недостающее умудрялись одолжить у только что проверенных товарищей по оружию. Но здесь, оторванные от всего, войска действительно могли быть экзаменованы жестко, беспощадно и объективно. На всех выездах из района поставили блок-посты, так что сюда смогли бы пролететь лишь почтовые голуби, увы, не способные принести в своих клювах ни бочки с горючим, ни запчасти к технике. Отцы-командиры яростно чесали в затылках. Вечером майор Нестеренко вызвал его к себе.

Нестеренко был воякой до мозга костей. Никто никогда не видел его в отчасти расслабляющих офицерских брюках навыпуск, только в галифе и сапогах, даже в выходные дни. Втихомолку утверждалось, что на сон грядущий он поверх этих сапог для вящего служебного кайфа надевает еще одну пару. Высших женских курсов майор явно не кончал, и речь его витиеватой была только в смысле многэтажности брани. Справедливости ради надо признать, что без этих обязательных приправ ни один приказ все равно толком не был бы исполнен, просто майор Нестеренко соединял здесь виртуозность с гомеричностью. Его сумрачный, хотя и отнюдь не германский, гений самостоятельно додумался до образования характерных для немецкого языка сложных словосочетаний, придававших его построениям поистине барочное великолепие. Кроме того, эти выражения соединяли образность с замечательной доходчивостью. Например, когда посланный им за прибором зенитного контроля лейтенант простодушно переспросил: «С кабелем?» – майор, не отрываясь от бинокля, терпеливо уточнил, что ведь и известный орган применим лишь в комплекте с двумя к нему придатками, и спрашивающий был более чем удовлетворен.

Зато Нестеренко никогда не говорил обиняками и приступал прямо к делу, даже если оно касалось вопросов весьма щекотливых. В данном случае лейтенанту поручалось нарушить все строжайшие предписания и пригнать с ремонтного завода в близлежащей столице гусеничный тягач, так и не возвращенный из ремонта до учений, а сейчас позарез необходимый.

Выкручиваться в случае чего командир рекомендовал – по обстоятельствам. Последнее определение, столь же расплывчатое, сколь и емкое, живо напомнило последние слова из напутствия Екатерины Второй Алексею Орлову, которому было поручено любой ценой привезти из Италии княжну Тараканову: «А будет задерживать, граф, – пали...».

Но Нестеренко был далеко не столь всемогущ и ограничился советом быть крайне осторожным и осмотрительным.

Спрятанный за задним сиденьем командирского «газика», он был вывезен из блокированной зоны. Попав в столицу, поначалу просто опьянел – от удивительного весеннего воздуха, от пестроты улиц, от того трудно передаваемого и все же

знаменитым режиссером в авлабарских сценах прославленной комедии переданного аромата этого города.

На ремонтном заводе его уже ждал водитель грузовика с прицепленной к нему сзади платформой, на которой и был укреплен искомый тягач. Это был чудный грузин, подобно герою популярной кинокомедии на все отвечавший лаконичным «канешно». Все проверил и закрепил? Канешно. Думаешь, доедем засветло? Канешно. А посты объедем? Канешно.

Выезжать должны были вечером, чтобы проскользнуть в оцепленный район незамеченными. Надышавшись городом вволю, он присел перекусить в просторной и нарядной таверне, где две компании за соседними столами, не конфликтуя, а ласково – от стола к столу – улыбаясь, замечательно слаженно распевали мелодичные песни.

Неожиданно в дверях появилась Ирина Сергеевна и подседа к нему, удивленная встречей до крайности. Оказалось, она с начала учений живет здесь в служебной гостинице, куда изредка приезжает отдохнуть душой и телом после ратных подвигов ее супруг, и обедает она обычно здесь же.

Он попросил удвоить заказ, но официант принес не только блюда. Через пять минут на столе выросла гигантская батарея винных бутылок, стволов в двадцать, чье происхождение прояснялось обращенными к ним нежными взорами и гостеприимными улыбками всех сидевших вокруг посетителей. Он понимал, что все эти взоры были адресованы только ей, ему же его армейская форма гарантировала лишь вежливость и уважительную сдержанность.

Эти люди были ему весьма симпатичны, даже на первый взгляд. Поблагодарив двумя кивками обе компании, он открыл одну из бутылок. Выпить, однако, не пришлось. Когда он точно так же приподнял бокал, приветствуя угощавших, от одного из столов донеслось предложение выпить за усатого вождя. Подумав, он поставил бокал на стол, не пригубив, и от обоих столов к ним немедленно подсели разгоряченные парламентарии с ребром поставленным вопросом «пачиму?».

Он проникновенно объяснил, что просто не может поддержать тост за человека, по вине которого погибли его родственники, не ограничивая таким образом общности и посчитав взятый на душу грех не особенно тяжким: в его семье таковых все же не было. Парламентарии, подумав, согласились с аргументацией, после чего он компромиссно предложил выпить за прекрасных женщин. Этот тост был поддержан с одним уточнением: выпили за всех прекрасных женщин вообще и, в частности, за полномочную их представительницу за этим столом.

Все это порядочно задержало их, и в гостиницу к ней они пришли поздно. В постели она вдруг начала оправдываться за то, что было тут у нее с собственным мужем: супружеский долг, не больше, и это его смутило, а потом разрыдалась, что повергло его уже в полное смятение: она относилась ко всему куда серьезнее, чем он, не знавший теперь, как из этого затянувшегося романа выбраться.

И все, что она говорила, было – не то, все казалось фальшивым, притом, что он хорошо понимал: она в этом совершенно неповинна и, напротив, по-своему естественна, а его раздражение – только от сравнения, для нее заведомо безнадежного. От этого хотелось поскорее уйти. И он ушел, тем более, что давно было пора. Ушел, раздираемый смесью раздражения и нежности, угрызений

совести и каких-то непонятных предчувствий, почти оттолкнув ее у самого порога, когда она с плачем охватила его руками – нехорошо все это сложилось, некрасиво, совсем не так, как надо.

В конце она стала уговаривать его не возвращаться в горы. Ты с ума сошел. Попадешь под суд. Что Нестеренко? Он тебе письменно приказал? Останься... Да что ты, как я могу.

Назад, в горы, ехали неправдоподобно долго. Уже стемнело, и вокруг не было ни огонька, только за лобовым стеклом неслась на них выхватываемая из черноты светом фар колея, из тьмы впереди появлявшаяся и пропадавшая под колесами. Неожиданно они увидели справа от дороги освещенную палатку, три силуэта у нее. Затем стал виден и шлагбаум. Блок-пост.

Шлагбаум был открыт, и это было самое главное. Он велел водителю подъезжать, но – помедленнее, а потом – рвануть, сам же открыл дверцу кабины и встал, держась за нее, на подножке машины, как бы собираясь соскочить на землю. Все получилось, как он и предполагал. Сидевший ближе всех к шлагбауму, видя готовность предъявить документы, поленился идти закрывать его и лишь медленно поднялся, разминая ноги и ожидая полной остановки машины. Но за несколько метров до шлагбаума он кивнул все понявшему водителю и запрыгнул в кабину резко рванувшегося вперед грузовика. Блок-пост был пройден. В боковом зеркале он увидел три фигуры, растерянно торчащие на фоне светящейся палатки далеко позади. Конечно, они не успели заметить номер машины. И ведь он не ломал шлагбаум – получалось, что они пропустили его... Получалось также, что он поступил, мягко говоря, не совсем красиво по отношению к этим трем служивым, возложив, таким образом, и на них часть ответственности за свои действия. Но... на войне – как на войне, да он ведь и сам рисковал; не думай об этом, забудь.

Навстречу потянулась колонна из нескольких грузовиков, укрытых брезентом. Брезентовый полог сзади у них был распахнут, и сонные лица умаявшихся за день солдат были задраны к усыпанному звездами небу.

Потом начался крутой и длинный подъем, который грузовик с тяжким грузом за плечами преодолевал с жалобным ревом. Неожиданно ему стало полегче, но тут водитель резко остановил машину. Товарищ лейтенант, посмотрите там, сзади, что-то мы легко поехали...

Он спрыгнул из кабины в темноту и обошел грузовик. Идти пришлось недалеко: от громоздкого сооружения оставалась одна их кабина. Сразу за ней, над задними колесами – рама, к которой прикреплялся трак – огромная платформа с укрепленным на ней тягачом. Но этой платформы с тягачом не было. Он посмотрел вниз, под гору, и ему показалось, что там вдали еще мигают огоньки прошедших мимо него машин. Представил себе, как эта многотонная махина с нарастающей скоростью догоняет колонну и бесшумно возникает перед сонными глазами сидящих в кузове ребят, а потом... Охватив руками голову, он сел на траву и поднялся, услышав растерянный голос водителя. Что делать, товарищ лейтенант?

Ответить он не успел. Со стороны развилки дороги подъехал «газик», и из него выбралась знакомая грузная фигура. Полковник Сырцов подошел к нему и устало выдохнул:

– Я за тобой, засранцем, пять часов гоняюсь и не догнал, а ты уже успел... Пойдешь под суд. Сиди пока в машине и жди.

Газик укатил вниз, под гору, в темноту. Он опять сел на траву и опустил голову на сложенные на коленях руки. Водитель сидел в кабине.

Периодически он задирает голову к небу, словно пытаясь за равнодушно мерцавшими звездами разглядеть нечто другое, куда адресовалась его мольба. Ну вот, клюнул петушок, и куда девался твой, с молоком матери, атеизм? Господи, только бы люди там не погибли, а уж железо это – будь оно проклято, и суд – ладно, хотя тех, на блок-посту, тоже ведь тогда – под суд... А те, другие – он сидел вместе с ними в кузове и вместе с ними видел эту вынырнувшую вдруг из тьмы и неумолимо несущуюся на них махину. При этом он изо всех сил пытался остановить ее перед крепко зажмуренными глазами, остановить... Так прошло часов пять-шесть.

Машина Сырцова снова подъехала уже на рассвете. Полковник приоткрыл дверцу. «Садись, лейтенант, поедем. Посмотришь». Лицо его странным образом было спокойно. Они покатали вниз по склону. Платформа с тягачом даже не перевернулась. Промажнув ночью в метре от грузовиков с солдатами, она, пропахав волочащимся по земле лишенным колес задним своим концом глубокую борозду, проехала вниз несколько километров до ближайшего подъема и замерла в точности у обочины дороги, не мешая движению по ней, словно ее тут специально остановили.

– Да, лейтенант, ты в рубашке родился, – протянул полковник, внимательно и с любопытством разглядывая его. Ты кончай свои приключения, понял? Считай, что это тебе – первый звонок, а остальных лучше не жди.

Пока подъехавшие ремонтники закрепляли трак на раме подъехавшего грузовика, Сырцов молчал. Молчал и он, ошалело глядя по сторонам и все еще не веря своему счастью. Потом Сырцов подвез его в расположение части, где поговорил с глазу на глаз с командиром. Потом позвали его, и Нестеренко, покрутив сначала ему пальцем у виска, пожал руку, поблагодарил за тягач и отправил спать. Выйдя, он оглянулся. Сырцов, уже захлопывавший дверцу машины, снова приоткрыл ее:

– Так ты меня понял? Уймись, лейтенант. Не порть жизнь себе и другим.

И только засыпая, он вдруг сообразил: о его поездке знали лишь трое – майор Нестеренко, он сам и Ирина Сергеевна, которой он все рассказал в гостинице. До конца службы оставалось еще полгода, но с ней он уже никогда больше не увиделся.

2004

УРОКИ РАВНОВЕСИЯ

1

Как далеко в начало собственного существования может проникнуть память? Когда сгущается непроницаемая темнота, в которой уже ничего не удаётся рассмотреть? Напрасны усилия. Закрываю глаза, вглядываюсь до головной боли в эту темноту, но ничего не вижу. Иногда вдруг выплывает освещенный светом коридора стеклянный верх двери. Четыре ровных квадрата матового стекла. Меня уложили спать и свет в комнате выключили, а в коридоре зажгли. Уложила мама – значит, мне нет еще двух лет. А когда было почти два года, перед войной, меня отправили к бабушке в Днепропетровск (Екатеринослав – говорила бабушка).

Платформа. Стоит поезд. Нас провожают. Кто-то меня держит на руках. На мне зеленое бархатное пальтишко, в руке я держу обглоданную красную пластмассовую ложечку – это вместо соски. Именно запомнившиеся цвета убеждали маму, что этого никто не мог мне рассказать. Эту пустячную картинку я сама извлекла на свет и долго рассматривала в надежде пробраться дальше в глухую загадочную тьму, но нет...не получается, плохо получается. Последующее знание выскакивает на помощь с непрошеными подсказками. Память хочет быть честной, трясёт головой, отталкивает подсказки, не хочет обманываться, но...тоже получается плохо и, наконец, сдаётся, вздыхает и жалеет, что не расспросила тех, кто совсем недавно еще был жив.

Дедушка в белом свитере крупной вязки, с высоким воротом, отчаянный и безумный, мечется по квартире, крушит топором всё, что ни попадет под руку. «Чтоб не досталось ненавистным ляхам». Бабушка плачет. Это сколько же лет накапливалось добро. Ляхи – это никакие не поляки, это просто враги – они уже входят в город. И мы бежим. Дед нас всех и спас, спас и упал, и пробежали по нему оружие беженцы, прижимая к себе детей. Но это потом. А сейчас он грубо выталкивает нас, плачущих, из дома, прощай дом, прощай. «О, Берта...», – на секунду останавливается дед и обнимает бабушку.

Бежим из города, везем на тележке жалкое барахло. Горячая, выжженная степь. Воды нет. Я пью из лужи, потом страшная дизентерия.

Над степью опускается немецкий десант. Это огромные, усталые солдаты, им безразлично – евреи мы или не евреи. Один из них, подволакивая морщинистый парашют, подходит к нам и спрашивает почти по-русски: «Где селёный пункт?»

Долго едем в каких-то грязных, холодных и душных вагонах. Или между вагонами. На грохочущих буферах. Тетка напротив нас трясётся на своих узлах, качает головой и говорит бабушке: «Ой, не довезешь...». У меня уже кровавый понос и судороги. «Заткнись», – говорит бабушка противной толстой тётке и насильно вливает мне в рот горький раствор чаги. Не вырваться – ноги мои крепко сжаты её коленями, дедушка держит мои руки. Извиваюсь и бессильно плачу, но остаюсь жить. А вот дедушку мы не довезли – он ушел за кипятком и навсегда

исчез в грохоте налета. Очень быстро по звуку научились дети узнавать немецкие самолеты. И я научилась.

Не может бабушка спокойно слышать песню: «Эх, дороги – пыль да туман...», плачет и злится, видится ей пыльная трава и рука расслабленная, и чайник наш валяется рядом. «Выстрел грянет, ворон кружит – твой дружок в бурьяне неживой лежит». Так все и было. Наверное, так. Мертвый Лев остался на сырой земле под грохочущим небом. Мой дед – Лев, это его имя, но моя бабушка Берта – настоящая львица. Львицы живут дольше львов и почти никогда не плачут.

Поезд наш остановился надолго у каких-то домов. Впереди разбомбили пути. Вечер. Или сумерки, или просто темно в глазах от слабости. Бабушка уже не может нести меня на руках, я покорно плетусь за ней, иногда просто сажусь в теплую пыль, пушистую и нежную, как пепел.

Какие-то у бабушки надежды на эти деревенские дома.

Но нас никуда не пускают. Всемирная отзывчивость русской души из этих домов слегка повыветрилась. Одна баба, правда, вынесла нам поллитровую банку воды и тут же замахала руками:

«Прочь идите, прочь...»

Спасибо доброй женщине. Мы не только напились, но бабушка даже ловко и быстро умыла меня. До сих пор чувствую её шершавую, согнутую ковшиком ладошь, в которую всё моё лицо и поместилось.

(Когда и где появляется мама, не помню и спросить уже не у кого. Каким чудом она нашла нас с бабушкой среди бегущих и гибнущих людей – непонятно. Знаю только, что в сорок втором году, в феврале она сошла внезапно с поезда, идущего на Восток, в ту самую Елабугу, куда везли из Ленинграда уцелевших университетских блокадников, счастливо миновавших разломы ладожского льда, в которых на их глазах тонули грузовики с товарищами, сошла, повинувшись неясному душевному толчку, в городе Горьком, где жила моя вторая бабушка, своеволью не поехала в страшную Елабугу, и нас нашла.)

И дальше мы были уже все вместе и долго жили в теплом и волшебном городе. А в городе было два города – новый город и старый город. Мы жили в новом, но старый мне нравился больше. В старом городе всё было или жёлтое, или чёрное. И под жёлтыми дувалами в чёрной тени стояли сосредоточенные ишаки, а над ишаками в горячем воздухе струились вверх жёлтые мечети.

Когда мы приходили в старый город, я радушно вертела головой и всем говорила: «рахмат, рахмат». Какая-то путаница была в моей голове, это единственное узбекское слово, которое я знала, означало «спасибо».

Меня обступали молчаливые девочки со множеством тугих косичек и сочувственно смотрели на мою стриженую голову.

Я была похожа на мальчика, и ничего из того, что любят девочки, я не любила. Никаких кукол, никаких зайчиков и домашних игрушек – любила я игры шумные и азартные. Жажда побед обуревала меня и завораживал риск поражений. Целые дни я носилась по улице с оголтелой компанией, с пронзительными воплями взлетала на низенькие дувалы, разбивая в кровь коленки и шокируя маминых знакомых. Апа-молочница отодвигала занавеску, смотрела на нас изумленно, цокала языком.

Но среди тихих девочек в старом городе я и сама затихала и смущенно начинала объяснять, что стригут меня так потому, что часто болею, девочки, по-видимому, не понимали ни слова, радостно кивали и трясли косичками.

Вечером приходил Валерьян Брониславович – «Валерьянка с Бромом». Он тоже приехал из Ленинграда. С Медицинским институтом. В Ленинграде у него умерла

жена, а по дороге в Самарканд умер сын, и теперь он жил с матерью, которая ходить не могла и ездила по нашему Телефонному переулку в самодельном кресле на колесиках, отталкиваясь двумя палками. Меня она не любила, хотя разговаривала со мной всегда ласково, но я знала, что ужасно ей не нравлюсь. Ну кому могло понравиться тощее, мелкое, беззубое и буйное существо? Кому, кроме собственной бабушки? О, моя бабушка Берта...

Валерьянка всегда приносил что-нибудь вкусное и отдавал мне. Мама смотрела строго. Перед мамой он оправдывался, говорил, что к ней это не имеет ни малейшего отношения – просто ребёнок страшно худеет.

Я почему-то при нём вела себя совсем уж «разнузданно» (так говорила бабушка) – ходила пузом вперед, нарочно ступнями внутрь, шумно пила воду прямо из чайника и приказания бабушкиных глаз не хотела понимать.

Наконец разъярённая бабушка выдергивала меня за руку из комнаты и выволакивала во двор. Здесь я стихала и спокойненько сидела на скамеечке под нашими распахнутыми окнами, и мне было бы все отлично слышно, если бы только они о чем-нибудь разговаривали.

Но они не разговаривали, потому что нельзя сказать – они разговаривали, если время от времени он произносил что-нибудь вроде:

– Ну что же ты молчишь? – а мама ему всё равно не отвечала.

– Хорошо, хорошо, я уеду куда-нибудь. – Никуда он не мог уехать, он был врач, и была война.

Иногда мама очень тихо говорила:

– Как хочешь.

Теперь она вообще молчала, может быть, пожимала плечами, но мне этого было не видно. Зато пришёптывала рядом бабушка, что мама ведет себя так, как будто нас с ней, то есть меня и бабушки, вовсе нет, а есть для неё, для мамы то есть – один лишь папа, которого, может быть, уже и нет.

Мой отец пропал без вести, и поэтому мама не думала, что он пропал или, тем более, что его убили. А бабушка думала и говорила, что отец был почти слепой, а очки он потерял, наверное, еще до того, как ополчение вышло из Ленинграда. И что всё это было с его стороны, конечно, очень благородно, но совершенно бесполезно, раз он был практически слепой и не обучен стрелять. *(Отец защитил диссертацию тридцатого июня сорок первого года, а недели через две ушел добровольцем на фронт. Через много лет я узнаю, что у отца была «бронь», то есть в армию его не должны были призвать, он ушел воевать по доброй воле, тайне от своего учителя академика Тарле, который «воспринял гибель своего талантливого ученика как личное горе» – так написано в книге «Из литературного наследия академика Е.В.Тарле»)*

Однажды Валерьянка принес что-то невероятное – буханку белого хлеба. Он ухнул её мне на руки, и от тяжести я присела до самого пола.

Весь вечер я расхаживала по комнате, укачивая этот белый, румяный, хрустящий, неизвестно где выросший хлеб, прижималась к нему щекой. А когда меня укладывали спать, рядом на стул Валерьянка положил зацелованную мной буханку, подстелив газету.

Потом сквозь ресницы я видела, как подошла мама, заслонив свет, постояла надо мной, едва коснулась губами моей щеки и унесла этот не испробованный мной, никогда не виданный раньше хлеб. И там, за ширмочкой, отдала его Валерьянке, потому что он тотчас же зашептал:

– Нет, нет, нет, прошу тебя...

Он, вероятно, махал руками и отступал к двери, но он всё-таки взял этот свой несчастный хлеб. Взял и унёс. И я не закричала, не завопила во всё горло, вообще

ничего не сказала, не пошевелилась даже, только зажмурила глаза, потому что слёзы уже стекали по обеим сторонам лица прямо в уши.

Мама считала, что я очень похожа на папу, хотя никто – из тех, конечно, кто знал отца или видел его фотографии, – не находил во мне особого с ним сходства. Она часто разглядывала меня и удивлялась, что я становлюсь всё больше на него похожа.

– Как ты похожа на папу, – говорила мама, и взгляд её внезапно застывал, только руки продолжали гладить меня.

– Папа правда был слепой?

– Ну что ты, – изумлялась она, – нет, конечно. Нет, нет.

И снова:

– Нет, нет, – покачиваясь и прижимая меня к себе, – он просто плохо видит.

– Он всегда носил очки, да?

– Да, да...

Несколько раз: «Нет, нет». Несколько раз: «Да, да».

И как будто не слыша меня, как будто совсем по другому поводу.

В арыках текла желтая вода, и уезжали из Самарканда ленинградцы. Только мы никуда не ехали, потому что маму не отпускали. А все кругом уезжали. Уезжали из нового города и из старого, с Телефонного переулка и с улицы Ленина, уезжал завод «Кинап» и Медицинский институт, а с Медицинским институтом уезжал Валерьян Брониславович, Валерьянка с Бромом. Я первая узнала об этом, потому что он мне первой об этом сказал.

К нашему дому можно было пройти по Телефонному переулку, вдоль скользкого берега размытого арыка, встречая у каждого ворот хитрые расспросы соседей, глупые их советы или нудные замечания. А можно было идти по заброшенной железной дороге, заросшей колючей травой и засыпанной песком. За день под безжалостным солнцем рельсы накалялись и держали ровный, сухой жар до самого вечера.

Я шла по одному рельсу, изгибаясь и раскинув руки для равновесия. И там, где дорога заворачивала в наш Телефонный переулок, я увидела Валерьянку – он сидел на рельсе, подбородком на коленях, и не смотрел в мою сторону.

Я тоже не стала кричать ему издали, а, стараясь не сорваться, подошла и остановилась над ним.

Он взглянул, как будто и не ждал меня вовсе на этом горячем рельсе, но рад случайной встрече:

– Ну как жизнь?

Я вздохнула и села рядом:

– Меня снова укусила собака.

– Бешеная?

– Ага, бабушка теперь меня водит на уколы.

– А мы завтра уезжаем...

И я сразу поняла, что едут они в Ленинград. Иначе зачем бы он здесь сидел.

Мы немного посидели рядом, помолчали, посмотрели вдаль, а потом Валерьянка сказал:

– Ну приходи провозать.

И мы пришли на следующий день провозать его в Ленинград, о котором мама проплакала всю ночь. А о Ленинграде – это значит о папе. Уже кончилась война, а он был всё еще пропавшим без вести.

Я несла Валерьянке виноград в сетке – крупные виноградины высывались наружу, и я их потихоньку отщипывала.

Когда все бросились по вагонам, мама снова заплакала. А Валерьянка стоял в окне за темным стеклом – еще с нами и уже почти в Ленинграде, но не было ему от этого никакой радости, и он грустно поводил подбородком.

А поезд уже шел, еще совсем медленно, но все-таки шел в Ленинград. Я немного пробежала рядом, я махала ему рукой, но Валерьянка не видел меня – недоуменно и растерянно он смотрел куда-то вкось, где осталась стоять мама.

Никогда с тех пор я не была в том городе, в том золотом, жарком городе, грязном и пыльном, в том чистом и горестном городе моего детства. И никогда уже не буду.

Но порой я так ясно вижу наш двор, наш неряшливый дом, нашу комнату с жалким уютом, крошащиеся, разваливающиеся ступеньки нашего крыльца, на котором стоял Игорь.

– А я уже живу на свете девять лет, – с грустью сказал он.

– А я живу на свете сто лет, – радостно закричала я и подпрыгнула на месте. Тоскливое презрение появилось на лице мальчика.

– Как же ты можешь жить на свете сто лет, когда тебе всего шесть. Ты шесть лет всего и живешь.

Это была невероятная новость – я была уверена, что существую вечно.

Я застыла в онемении посреди пыльного самаркандского двора, под пронзительно синим, безоблачным самаркандским небом.

Я оглядела этот нищий самаркандский двор, неказистые домики, набитые эвакуированными, я увидела мою бабушку, прислонившуюся к теплой глиняной стене, маму, стоящую перед ней – они о чем-то разговаривали.

Начало моей жизни терялось во мгле и потому, казалось, она была всегда.

И никогда она не была более вечной, чем в то время, когда могла кончиться, будто и не начиналась, от совершенного пустяка. Например, на пирсе карантинного Баку, где холера доедала истощенных ленинградцев. Или от дифтерита в огромной дифтеритной палате, где каждую ночь кто-нибудь умирал. Рядом со мной долго умирал узбекский мальчик, из тоненькой шейки его торчала металлическая трубка, в которой булькала и хрипела его кончающаяся жизнь.

Я лежала на спине, повернув голову в его сторону, в сердце моем был темный страх.

Или от укуса бешеной собаки в день моего четырехлетия. Одета в прекрасное голубое платье из парашютного шелка, я сидела в тот день на низеньком заборе, отделявшем наш двор от собачьего питомника Медицинского института, когда вылетело на меня безумное животное и, застыв на мгновение в диком оскале, крепко вцепилось в мою четырехлетнюю ногу.

На следующий день, кстати, голубое платье мне надеть не разрешили. Оказывается, следующий день, к моему удивлению, уже не был днем моего рождения. Так мне дали понять, что всё проходит.

Но почему же так быстро?

Особенно то, что радует нас и составляет наше счастье.

Этого я не знаю и сейчас.

Да мало ли от чего можно было перестать жить в то время, даже если не вспомнить про блокаду, бомбежки и голод в Ленинграде.

И вот хрупкая, но неистребимая жизнь моя продолжилась, как продолжились и другие везучие жизни, часто кошунственно прошедшие мимо многих смертей, редкая из которых была особо отмечена в то время.

Может быть, поэтому меня поразили чьи-то мирные похороны в Самарканде.

Была у меня коробка для сокровищ.

Там лежали цветные бусины, шарики от никелированной кровати, стекло для наблюдений затмений Солнца, сломанная брошка, золотое медное кольцо, маленький фарфоровый носорог с отбитыми ногами, а также блестящая серебряная ложечка.

Однажды после долгих выпрашиваний мне разрешили взять серебряную ложечку в детский сад, и с напутственными словами бабушки – «все равно по-

теряешь» – я понесла свое сокровище в кармане, придерживая карман ладонью. А во время кормления песком страшного, облитого марганцовкой зайца ложечка просто провалилась в песок. Только что она была здесь, но вот блеснула скользкой рыбкой между пальцев, канула в песок – и нет её нигде.

Отчаяние моё было безмерно. До вечера я просидела в этой огромной песочнице, безнадежно разрывая и просеивая серый песок, и лицо моё, мокрое от слёз и труда, было всё в этом колючем и душном песке, как в панировочных сухарях.

Когда же совсем наступил вечер, я была взята за руку и выведена за ворота на тёплую и пыльную улицу старого города, где, тихо постанывая, осталась стоять, упруго упершись лбом в нагретую жарой стену.

И вдруг в конце этой улицы послышалась фантастическая горькая музыка, в закатном свете засияли золотые трубы, и темная река торжественного плача пронесла мимо меня красивый коричневый гроб.

Я побежала вдоль этой реки, зачарованная сиянием и музыкой труб, уханьем барабана, воплями плакальщиц и жуткой загадкой смерти, так рано начинающей терзать живые души.

На моё залитое слезами лицо глянули, перешептываясь, какие-то тощие женщины в черных платках. Ко мне протянулись руки, обняли и повели, глядя по голове, потом подняли над толпой, и я снова увидела покачивающийся впереди гроб.

– Подумать только, такая крошка... всё понимает...

Людские сердца потряслись выразительностью и глубиной детского страдания. На расспросы, жалко ли мне бедного дедушку, я отвечала длинным стоном, закидывала голову и опять вдохновенно заливалась слезами.

Словно кристалл плача в насыщенном, но слегка уставшем слезном растворе, блуждала я среди толпы, вызывая на своём пути новые приступы шумной скорби.

Карманы мои быстро наполнялись конфетами, печеньем, блестящими узбекскими лепёшками, грецкими орехами, урюком.

Поразительно, сколько еды несли с собой люди, провожающие в последний путь неизвестного мне старого человека, чья смерть была так непонятно выделена, так мирно и вызывающе отмечена длинной дорогой через весь город на кладбище, сверкающим оркестром, траурными одеждами, моим плачем, памятью и улыбкой через многие годы.

Домой я вернулась, когда было уже совсем темно, и ничего не могла объяснить перепуганной бабушке, непрерывно повторявшей надо мной одну и ту же загадочную фразу:

– Не доводи меня до белого колена.

Кстати, эта странная фраза еще долго была мне совершенно непонятна и вызывала лишь смутное представление о сильном побелении колена, появляющемся у взрослых в минуты крайнего раздражения.

– Я, между прочим, помню, когда война началась, а ты этого помнить не можешь, – сказал Игорь.

– Могу, почему это не могу, – закривлялась я, перескакивая с ноги на ногу.

Этого он уже не выдержал и пошел от меня прочь, нарочно пыля босыми ногами.

Я догнала его, забежала вперед и протянула слегка уже облизанный кусок хлеба с вареньем, который давно держала в отставленной руке, как держат узбеки пиалу с чаем.

– Хочешь, кусни.

Он скривил губы, пожал плечами, хотел отказаться, но я уже разломил кусок и протянула ему, не без некоторого усилия, большую часть.

Отказаться от еды в то время, тем более от хлеба, можно было только обладая сверхъестественным упрямством, как, например, моя мама, потерявшая разум горячка, вернувшая своему верному поклоннику Валерьяну Брониславовичу незабвенную буханку белого хлеба, которую принес-то он именно мне; или в тяжком бреде во время болезни – не съеденного в скарлатину печенья мне было жаль всю последующую жизнь.

– Только мне поменьше, – сказал Игорь, уставившись на свои пыльные ноги, – тебе поправляться надо.

Я, по-видимому, только что вышла из очередной больницы.

Количество и разнообразие моих болезней было столь чудовищно, что вызывало не жалость, а, напротив, даже некоторое почтение.

Никто из соседей и случайных знакомых не избежал бабушкиного рассказа о том, как мне удалось заболеть самой странной корью, не виданной в Самарканде со времен Авиценны.

А история о моем необыкновенном дифтерите превращалась в небольшой спектакль, лично для меня, правда, несколько однообразный. Бабушка по очереди изображала различных медицинских знаменитостей, тоскливо гундосивших надо мной что-то о «крупозном воспалении легких», когда же рассказ доходил, наконец, до старичка-профессора, «из местных, вылитый Улугбек», она вскакивала, на несколько метров отбегала от зрителей, вскидывала свои худые руки, показывая, какая была у профессора папаха и какой завиток каракуля на воротнике, и как одной рукой профессор схватился за узенькую бородку, а другую выбросил вот так – вперед и вверх – и с порога, не раздеваясь, закричал:

– Дифтерит! Она уже хрипит у вас!

Далее шла сцена скандального выдворения бабушки из той самой дифтеритной палаты, из которой она ушла всё-таки лишь через месяц (главный врач плюнул и махнул на неё рукой – пусть), но уже вместе со мной, выхаживая весь этот месяц не только меня, но и всех прочих тощих и хрипящих детей.

Ничто не могло устроить мою бабушку, если мне нужна была её помощь, даже суровая карантинная охрана в Баку, сквозь которую она непостижимым образом проникала в город и возвращалась обратно с молоком, хлебом и лекарствами. Если бы она могла сохранить мне отца, она ушла бы вместо него в ополчение.

Моего отца мама не хотела называть «пропавшим без вести», просто от него давно уже не приходили письма, но и похоронок тоже не было, «похоронок ведь не было, не было», – твердила она многие годы, пересказывая удивительные истории спасений и чудесных встреч, и действительно, такие истории случались, и надежда жила еще очень долго.

Самой большой надеждой остался так и не встреченный ею высокий военный человек, который пришел к нам ранним утром, когда она еще не вернулась с дежурства, а бабушка уже ушла за хлебом.

На загорелом лице этого человека были белые морщины и добрая улыбка.

Он присел передо мной, привлёк меня к себе, оцарапал колючей щекой и вдруг протянул коробку цветных карандашей. Откуда он знал про карандаши? Я задыхнулась, взяла его огромную руку, потянула к столу.

– Хотите, я вам покажу свои рисунки?

И кажется, в этот момент он поцеловал меня, и я очень близко увидела его глаза, полные слёз.

Отчего были эти слезы?

Тень горького предчувствия легла мне на сердце.

Он так и не дождался взрослых и, грустный, ушел, оставив на столе сахар, несколько банок тушенки, шоколад, галеты и что-то еще такое же необыкновенное.

От меня он принял в подарок только один рисунок, на котором дом, дерево и девочка ростом с дом стояли в ряд под бледно-желтым солнцем в густой синей траве, и девочка была похожа на песочные часы.

Давным-давно кончилась война, с которой не вернулся мой отец, давно умерла моя бабушка-львица, и мамы нет уже давно на этом свете, но иногда я все еще стою там, посреди нищего и пыльного самаркандского двора.

В руке у меня кусок хлеба с вареньем. Мы уже не голодаем, мы верим в победу и ждем конца войны. Передо мной девятилетний мальчик, рука его взметнулась в поучающем жесте, и весь он застыл в моей памяти, как в детской игре «замри».

Я слышу восторженный визг моих друзей, строящих плотину через наш мутный арык, и прерывистое стрекотанье швейной машинки из окон апы-молочницы, плач младенца, перебранку женщин, лай собак.

Справа от меня за глиняным дувалом стоит такая же глиняная непонятного мне назначения башня, а за ней растет дряхлое, морщинистое тутовое дерево, а еще дальше, среди песка и колючек лежат ржавые, горячие рельсы старой железной дороги.

Скоро я побегу туда, простившись со своим умным девятилетним другом, чтобы побыть там одной и потренироваться на раскаленном рельсе в столь необходимом мне чувстве равновесия.

А пока я всё еще стою в пыли под солнцем, посреди шумного самаркандского двора, посреди моего бедного детства, не подозревая еще, что расстанусь в этот момент со своим жизнерадостным бессмертием.

2

Из Самарканда мы с бабушкой едем очень долго. Первая пересадка в Ташкенте. Ночуем на вокзале, на полу. Среди ночи всех будят и выгоняют на привокзальную площадь. Землетрясение. «Дальше от стен, ближе к центру», – кричит пожилой милиционер. Мы стоим в толпе, в центре площади. Я пытаюсь вырваться от бабушки и протиснуться в первые ряды – мне интересно, как будет разваливаться вокзал. То, что там остались все наши вещи, не особенно меня печалит. Мне хочется всё видеть своими глазами.

Пустой вокзал дрогнул, но устоял.

Потом мы бесконечно пересаживаемся с поезда на поезд. Кроме своих узлов, тащим еще ящик винограда. Бабушка время от времени озабоченно перебирает виноград, пересыпает его какими-то стружками, выбрасывает сгнившие ягоды. «Пустая затея», – думаю я, но помалкиваю. Этот ящик мне давно надоел. Но бабушка во что бы то ни стало хочет его довести – мы ведь едем в Ленинград, некоторые родственники и знакомые ухитрились выжить в блокаду – надо их порадовать виноградом. В Ленинграде нас уже ждет мама, какими-то неправдами вырвавшаяся из Самарканда.

В пути я совершаю нечто ужасное. Бабушка так и повторяла: «Ужас, ужас...», – пересказывая маме. Пытаясь забраться на верхнюю полку, я вцепляюсь в рукоятку «стоп-крана» и останавливаю поезд. Что-то шипит, женщины кричат, вещи падают. Через некоторое время появляются не улыбочивые люди в форме и говорят бабушке такие слова, от которых лицо её заливают мгновенная бледность, а руки охватывают меня крепко-крепко – мне больно. Но народ после войны осмелел, и вагон бурно защищает меня и бабушку. «Тоже мне диверсионный акт, – говорит презрительно людям в форме какой-то военный, – это же ребенок». «Ваши документы, товарищ капитан», – зло поворачивается к нему один из них.

Поезд потихоньку набирает ход. Капитана увели. О нас забыли.

Первый адрес в Ленинграде у нас такой: Невский проспект, дом номер один – угловой, красивый, серый дом, пять этажей, есть намёк на шестой – то ли мансарды, то ли чердак с окнами. Мы живем у маминой подруги. Потом, много позже из этого дома всех жильцов выселили, получили, должно быть, счастливицы отдельные маленькие квартиры, без сожаления оставив свои комнаты в шесть метров высотой, с обильными алебастровыми плодами и листьями по потолкам, а в доме этом устроили тогдашние отцы города какое-то строительное управление.

Бабушке тяжело подниматься, но на некоторых площадках стоят мраморные скамеечки для отдыха. Бабушка подолгу сидит на них, тяжело дышит, у ног её – вязанка дров (стоит три рубля, это очень немалые деньги, все детство прошло в мечтаниях, что я сделаю, если найду сто рублей). Я недолго сижу с ней рядом – невозможно уже слышать, что мы живем в чужом доме, (наш-то дом на Мытнинской набережной разбомбили, и вещей никаких не осталось), и поэтому нужно стараться быть полезными, помогать по хозяйству, не шуметь, вести себя хорошо. И я срываюсь с места, несусь наверх до следующей площадки и, сильно перегнувшись через перила, пугаю её, гукаю в пролет, зову её и тороплю (маленькая кретинка), хотя вижу, что она всё еще не пришла в себя, еще держится за сердце.

Мама вместе с подругой (обе уже преподают в университете) начинают учить меня английскому, хвалят. Лингвистические возможности семилетнего человека почему-то их изумляют. Студенты-фронтовики учат язык без всякого желания и успеха.

Потом мы живем на Каменном острове, гуляем у «Дуба Пушкина», рыщем среди развалин и дразним пленных немцев, которые эти развалины разбирают, немцы довольно добродушно огрызаются. Мальчишки иногда приносят им курево. Я ничем похвастаться не могу, ничего доброго я этим немцам не сделала. Это Аделина кормила пленных немцев своими школьными завтраками – два кусочка хлеба – просовывала их через щель в заборе на обратном пути из школы. То есть девочка на перемене не съела свой завтрак. Я представляю, как трудно было не съесть эти жалкие кусочки, которые ей мама заворачивала в газету. Я не понимаю, как можно было не съесть завтрак. Я бы не смогла. И немцы уже ждали её за забором – грязные, оборванные, голодные – они работали на какой-то фабрике. Не знаю уж, надо ли упомянуть, что Аделина была из еврейской семьи. И ее родители знали, что делали немцы с евреями. Может быть, маленькая девочка и не знала. Но это неважно, не правда ли? Сострадание ведь тоже не имеет национальности.

Мы, наконец-то, получили постоянное жильё. Во дворе филологического факультета. Стены в комнате невероятной толщины. Мама поднимает руку к низкому потолку: «Петровские своды...» Но этаж первый, всегда сыро, по этим сводам сползают вниз медленные капли. Это тот флигель филфака, который долгие годы назывался «школа» – и действительно, до нашего приезда там была 21-я школа (а еще раньше – филологическая гимназия при Императорском историко-филологическом институте).

Замечательное место для игр – Филологический переулочек, пустынный, тихий тупик, булыжники окружены пучками пыльной травы, это для больших, толстых взрослых тупик, но не для нас, отсюда легко можно было протиснуться между железными прутьями и выйти к ботаническому саду университета. О, там были таинственные гроты, изогнутые мостики, колючие заросли, солнце, отраженное стеклянной крышей оранжереи, слепило глаза, а дальше – (может быть, мне приснилось) – огромный аэродром, но там сквозь щели в ограде мы видели настоящие самолеты. Теперь Филологического переулочка нет. Сначала его перегородили решеткой предприимчивые люди, поставили рядом с решеткой уродливую будку, устроили в нашем переулочке платную автостоянку, но и автостоянка просуществовала недолго, и сменил её вскоре пошлый пивной павильон. Но зато

рядом засияли бывшие конюшни Кваренги, отторгнутые от Академии тыла и транспорта и восстановленные загадочным богатеем.

Мы живем все в одной комнате, потом переезжаем, совсем рядом, в том же дворе, и тоже в «школу», над входом висит вывеска: «Кино-фото-лаборатория». (Вечность спустя, когда я уже училась в университете, в небольшом зальчике этой «лаборатории» мы смотрели разные хорошие фильмы, которые в кинотеатрах не показывали – «Чайки умирают в гавани», например).

У нас теперь почти отдельная квартира – комната и большая кухня с огромной плитой. Из кухни фанерной перегородкой выделили даже отдельную комнатку для бабушки. Окна выходят во двор Главного здания, чуть левее Ректорского флигеля, если смотреть изнутри в этот двор.

И я вижу, как по аллее мимо наших окон медленно идет довольно высокий и грузный человек в темном костюме, руки заложил за спину – гуляет, так я думаю. И мама перекидывает ногу через подоконник, бежит по аллее и кидается к этому человеку. Он обнимает её, и они вместе прогуливаются и о чем-то беседуют. Этот человек – ректор университета Вознесенский. Я знаю, что мы многим ему обязаны. Мама практически убежала из Самарканда и приехала в Ленинград самовольно, без вызова, а это тогда делать было нельзя, но Вознесенский всё уладил, взял маму на работу, оформил вызов мне и бабушке.

Отношение мамы к имени Вознесенского и к университету было невероятно трепетное. Когда через много лет университет праздновал своё 150-летие, ей на торжественном вечере вручили памятную медаль. Она к этому событию отнеслась серьёзно и медалью этой очень дорожила. Точно такую же медаль получил Володя Конашенок, как бы между прочим, то есть просто на бегу, из рук своего руководителя и тогдашнего ректора Кирилла Яковлевича Кондратьева – они вместе летели в какую-то командировку, и почему-то прямо на лётном поле Кирилл Яковлевич, порывшись в карманах, достал плоскую коробочку и сказал: «Да, кстати, пока не забыл. Вот вам медаль, Володя». История эта в пересказе Конашенка всегда вызывала страшное возмущение моей мамы, как, впрочем, и весь наш образ жизни. Медаль свою Конашенок очень быстро и легкомысленно кому-то подарил, вернее всего, что по пьяному делу. А мамина медаль досталась мне и хранится, я надеюсь, среди прочих оставленных вещей и писем в родном Питере. Но вот что удивляет меня – когда Вознесенского расстреляли, мама об этом ни словом не обмолвилась, просто не помню никаких разговоров про «ленинградское дело». Что это – замкнутость, отчужденность в собственной семье, страх или привычно спрятанное страдание? Вернее всего, инстинкт молчания, «в молчанье счастье твое, в молчанье...».

Бабушка ведет меня в школу за руку, хотя мне восемь лет. Я учусь в первом классе, а могла бы во втором. Но так уж вышло. Мама почему-то не хотела отдавать меня в школу в Самарканде.

Мы проходим филологический двор, в центре которого на долгие годы распахнул свои неряшливые внутренности знаменитый университетский гараж, сейчас там, правда, никакого гаража нет, а разбит новенький садик – старые толстые тополя спилили давно, их никто кроме меня и не помнит, на скамейках сидят новенькие мальчики и девочки с сигаретками. В углу двора стоит теперь маленький чугунный Блок.

По выщербленной лестнице мы поднимаемся в вестибюль филфака – я успеваю глянуть на себя в огромное, замечательное зеркало в белой раме – открываем тяжелую старую дверь и оказываемся на Университетской набережной. Осень, ноябрь, темное утро – холодно. Трамвая долго нет. По Университетской набережной тогда ходил трамвай. Пятый номер. С двумя красными огнями.

Я оглядываюсь. Над зданием Филологического факультета, прямо над входом, на крыше ярко горят три вытянутых косых креста – ХХХ. «А что это – ха, ха, ха?» – интересуюсь я и получаю от бабушки легонький подзатыльник, при этом она бросает быстрый взгляд через плечо – не слышит ли кто-нибудь мои глупые вопросы. «Это цифры, бестолочь, римские цифры». Оказывается, скоро праздник, тридцатилетие Октябрьской революции, последние предпраздничные дни.

Годы спустя я еду в такси с моим другом мимо дома на набережной Карповки – серый дом важных людей, вогнутый фасад, конструктивизм, в доме первый в городе мусоропровод. И друг мой, указывая на мелкие светящиеся лампочки, которыми выложена на крыше дома всем известная и никем не замечаемая надпись, спрашивает таксиста:

«Не знаете, случайно, кто это такой Слава Капеев?»». «А хрен его знает», – также игриво отвечает таксист. Все смеются. Шутка такая. «СЛАВА КПСС» остается позади. Тотальная серьёзность и единая вера давно кончились. Недосмотренная ирония, как вездесущий губительный газ, проникает во все пустоты и поры, кислотные медленные испарения разъедают бедные глиняные ноги обреченного колосса.

Школа далеко – на Второй линии, между Средним и Малым, ближе к Среднему. Тридцать вторая школа. Учительница – Ольга Дмитриевна, совсем старая дама в темном, длинном и бесформенном платье. Прическа гладкая, ни завитка, волосы седые, тусклые. Я бы давно забыла её имя и отчество, если бы на протяжении многих лет мама не повторяла: «Ольга Дмитриевна предсказывала...», – желая уколоть меня предвидением моих пороков опытным педагогом в те давние времена.

В третьем классе принимают в пионеры, я сижу у печки – читаю по бумажке: «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь». Красиво звучит. Ничего не скажешь.

Ольга Дмитриевна учит нас писать стихи. Лицей – да и только. Оказалось, что многие девочки давно стихи пишут и имеют даже специальные для этого тетрадки.

Урок поэзии. Было задано сочинить – ну или прочесть то, что раньше сочинили. Стихи должны были быть про Родину, про красный галстук, про Сталина и про всё такое. «Можно про природу», – сделала уступку Ольга Дмитриевна.

Стихи были приблизительно такие: «В тяжелые дни для Отчизны родной,/ В суровые годы войны,/ Как знамя поднялся Олег Кошевой,/ Как мститель любимой страны». Ольга Дмитриевна предложила даже похлопать этой девочке, но тихонько. Потом еще одна, закатывая глазки, пропищала на пионерскую тему: «Мой красный галстук светит, как звездочка в ночи/ Мне сердце согревают его волшебные лучи».

Когда очередь дошла до меня, я решила для разнообразия прочесть вот такое: «Кто был в Испании чудесной,/ Кто видел этот край небесный,/ Тот никогда не позабудет дыханье южной ночи,/ Тот вечно в жизни помнить будет испанки страстной очи».

«Боже!» – вырвалось у Ольги Дмитриевны, и она поднесла пальцы к вискам. Сорок три девочки с интересом уставились на неё. Бедная учительница взяла себя в руки и почти спокойно спросила: «Ну и про что твои стихи?»

«Про испанскую природу», – бойко ответила я.

«Ну вот что. Пусть мама зайдет ко мне в четверг, после уроков».

«С мамой ничего, к сожалению, не получится. Она работает».

«Хорошо, – сдерживаясь, говорит Ольга Дмитриевна, – пусть будет бабушка».

По-видимому, Ольга Дмитриевна заранее знает, на чьей стороне будет бабушка. Но моя бабушка непредсказуема.

Ольга Дмитриевна ведёт бабушку в пустой класс и плотно закрывает дверь. Мне велено сидеть у раздевалки и ждать. Но я на цыпочках подбираюсь к закрытой

двери и прикладываю к ней ухо. Подслушивать неприлично – мне это уже вдобавили, но ведь так интересно.

Бабушкиного голоса вначале почти не слышно, иногда прорываются её поддакивания, я думаю, она там непрерывно кивает головой – и вдруг начинает меня возмущенно ругать: «Ужасный ребенок, просто ужасный. Вы совершенно правы. Я ей слово, она мне десять. Если бы не вы, Ольга Дмитриевна... Вы знаете, Вы ведь для неё единственный авторитет. Только и слышишь: Ольга Дмитриевна то, Ольга Дмитриевна это...» («Ну-ну», – говорю я себе за дверью). Учительница первая моя смягчается и начинает меня защищать. «А всё-таки, откуда эти страстные очи, откуда эта Испания?» – уже вполне миролюбиво любопытствует она. Бабушка, как это водится, отвечает вопросом на вопрос: «А откуда у парня испанская грусть?» Ольга Дмитриевна не очень понимает мою бабушку. «Ну это, возможно, на девочку так повлияла гражданская война в Испании, так преломилась в детском сознании», – поясняет бабушка.

На углу Первой линии и Среднего бабушка покупает мне эскимо на палочке – и себе тоже. Мы медленно идем по Съездовской, и бабушка даёт мне первые уроки безвредного, с её точки зрения, бытового конформизма. «Ну зачем же дразнить гусей. У тебя же были стихи, что-то там такое: "...только он один в Кремле не спит, / он над картой Родины стоит"... Очень бы подошло». «Ну всё, всё...», – я взмахиваю примирительно портфелем и слизываю с руки сладкий ручеек. И мы идём дальше, наслаждаясь мороженым, жизнью и обществом друг друга.

Бабушка придерживалась того мнения, что если существует двойная мораль, то пусть правильная будет дома. А что касается «не дразнить гусей», то она сама этим изощренно занималась. Когда у бездетной Софьи Николаевны исчез муж, известно, куда, бабушка, вынося на блюде рыбки огрызки их любимому коту, причитала над ним на глазах у мрачно молчащей коммунальной кухни: «Ешь, сиротинушка, ешь...», – а мне было приказано выносить теперь Софьино мусорное ведро и ходить для неё, разбитой радикулитом, неизвестно с каких радостей, в булочную. А что делать. Бабушкины приказы не обсуждались.

Когда умер Сталин, я училась в шестом классе. За несколько дней до пятого марта бюллетени о его здоровье вывешивали на углу Среднего и Восьмой линии, на стене того дома, где на втором этаже была жуткая столовая, настоящая тошнеловка, потом в просторечьи – «Лондон», ударение на последнем слоге. Народ толпился, высказывал соображения. Немолодая тетка в мужской шапке трясла кулачком: «Я – врач. Если бы меня пустили, я бы его вылечила». – «Тебя там только не хватало. Знаем мы вас, врачей...»

Утром пятого плач стоял повсеместный. От коридора коммунальной квартиры до актового зала школы.

Первый урок, естественно, отменили. Взволнованная классная руководительница поминутно выбегала из класса, оставляя нас одних. Девочки сидели тихо, заливаясь слезами. Что будет дальше – никто не знал.

Меня же волновала не будущая жизнь, а второй урок. Система у меня была такая: я готовила всегда только первый урок, а второй урок делался на первом, третий на втором и так далее. Вторым уроком в этот день должна была быть география. Новая тема. «Животный мир Африки». И вот, на всякий случай, я учу географию, и крупные слезы каплют на карту Африки – Сталин, конечно, умер, но «пару» получать не хочется. Но слезы каплют – общий плач заразителен, как кашель на концерте старинной музыки.

Второго урока тоже не было. Можно было не учить африканских животных. Всех повели в актовЫй зал. Там быстро уже был сооружен траурный уголок – бюст вождя, черно-красные ленты, почетный караул из лучших пионерок. Завуч Юлия Борисовна взобралась на трибуну, говорить не смогла, задохнулась в ры-

даниях, махнула рукой. Кто-то другой, покрепче, сменил её, и все, что положено, нам было сказано. Девочки стояли с опущенными головами. Потоки слез. В прямом смысле. На паркете долго высыхали лужицы, оставляя соляные разводы. А сверху лилась тревожная музыка скорби.

Некоторые безумные мамы студенты устремились в Москву, на похороны Сталина – без билетов, на подножках, на товарняках. Вернулись, к счастью, живые. Только позже стало известно, как много погибших, раздавленных толпой было в Москве. В Дом Советов, конечно, они не попали. Помню, перебивая друг друга, рассказывали у нас за столом, уже со смехом, что самый из них пронирыливый был замечен издали в составе коммунистической арабской делегации, шел к заветному входу со спокойным торжественным лицом вдоль узкого коридора оцепления, на голове его была накручена чалма.

Бабушка собирала для будущего журналы и газеты. Люда Силенко плакала, рассматривая черно-красый журнал. «Я его теперь никогда не увижу». Такая у неё была мечта – увидеть его и умереть от восторга на месте. (Совсем немного прошло с тех пор времени, мы купили на всю компанию замечательные куртки, двусторонние, одна сторона – черная с красными полосами на плечах, вывернешь на другую сторону – красная с черными полосами, называли мы эти куртки «смерть вождя»).

«Как жить дальше?» – по-видимому, этот вопрос действительно все задавали друг другу. Учителя, родители, соседи, вообще – взрослые. Хорошим тоном, должно быть, считалось бурно отчаиваться, хвататься за голову и всячески сокрушаться. Одна лишь домработница профессора Тихомирова, невозмутимо снимая пену с медленно кипящего бульона, ответствовала: «Да хуже уж не будет», – и с некоторым даже презрением зыркнула на всех стонущих в коммунальной кухне и снова отвела глаза. В общем, она оказалась права (хотя...есть ведь еще и такое соображение – никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже). А домработница Аня знала то, что эти университетские люди не знали. Одна из всей семьи спаслась Аня, убежала, мать сказала: «Беги, Нюточка», – она и убежала, послушная была, мать и отец и братья маленькие все сгнули. «Какие они кулаки! Неленивые просто, умели работать, дружно жили и деток любили, приданое мне собирали. У меня коса – во какая была». Никакой косы у Ани к тому времени, конечно, не было. Я с сомнением поглядывала на ее реденький серый пучок на затылке и вежливо кивала.

Не думаю, чтобы этот вопрос возникал в головах моих одноклассников – сила молодости в неумолимом поступательном стремлении все дальше и дальше в жизнь, несмотря ни на что, в биологическом всепобеждающем эгоизме.

Году, кажется, в семидесятом я вернулась с Соловков, где в монастыре и на острове Муксалма еще видны были лагерные следы – камеры, «глазки» в железных дверях, «колючка», нары, какой-то ужасный мусор, гнусный запах неволи и запустения – и рассказывала об этом на веранде, на даче у друзей. Незнакомая мне интеллигентная старушка, сидящая в уголке, вдруг встrepенулась и призналась, что провела на Соловках шесть лет. Я почувствовала неловкость и начала извиняться, что заставила её вспомнить это неприятное время. «Что вы, деточка, это были лучшие годы моей жизни. Я там встретила своего будущего мужа. У нас была любовь. Замечательное, замечательное было время». Вот так. Пойми этих людей.

А Татьяна Гнедич на семинаре Виктора Андронниковича Мануйлова поведала нам, что если бы не благословенные два года тюрьмы, она никогда бы не перевела «Дон Жуана» Байрона. А следователь заслужил особую благодарность переводчицы. Восхищенный её памятью – сознание его с трудом вмещало, что она знает «Дон Жуана» наизусть, да еще и по-аглички, – этот странный чекист приказал дать ей бумагу в камеру и следить, чтобы она действительно работала, а не отлынивала (точно так и жена какого-то известного писателя поступала – закрывала мужа на

ключ, чтобы писал, и с ключом в кармане отправлялась на базар за покупками к обеду). Может быть, именно следователю нужно было бы этот перевод и посвятить, хотелось мне спросить Татьяну Гнедич, но я сдержалась.

Палачи и жертвы легко менялись местами, это уж нам потом объяснили, известно, «по какой дорожке ушел нарком», но даже, и не меняясь местами, они оставались в странных, непостижимых стороннему уму отношениях. Моя подруга была еще школьницей. В дверь позвонили, девочка, наученная взрослыми и, не расслышав ответ на «кто там?», навесила цепочку, осторожно приоткрыла дверь и увидела на площадке крупного мужика с рюкзаком у ног. Мужик довольно искренне представился охранником из лагеря, откуда недавно вернулась мать. Девочка в ужасе захлопнула дверь, но мужик не уходил, зудел за дверью, просил позвонить матери на работу и сказать, что приехал такой-то. И девочка позвонила, и мать ахнула и приказала: «Впусти немедленно, если бы не он, меня бы не было».

К весне в Эрмитаже открылась выставка китайского искусства.

Фарфор «селадон», красные чешуйчатые драконы, резные деревянные шкатулки, дивные акварели с нежными цветами и бабочками и такие же изысканные иероглифы. Надо всем в вышине – два огромных портрета Сталина и Мао Цзе-дуна – это выставка невообразимо мелким китайским крестиком. «Сталин и Мао слушают нас...»

Наш класс ведут на выставку, называется культпоход, на выходе каждой девочке торжественно вручают красивый каталог, в отдалении стоят посольские люди – сладко, по-китайски улыбаются. Дома я рассматриваю каталог и замечаю, что портрет Мао есть, а портрета Сталина нет, на его месте едва заметная узкая полоска бумаги, то есть он был, но... его вырезали. Я соображаю, что оригинал не выставить, а тем более уничтожить невозможно. А вот подправить каталог, который напечатан до смерти Сталина, да еще и по-русски, это в нашей власти. «Некрасиво подозревать, когда совершенно уверен». До двадцатого съезда еще далеко. И я садистически пристаю к учителям и взрослым, показываю узенькую полоску на месте вырезанного портрета Сталина и прошу пояснить. Каждый отбивается как может. Убедительнее всего звучит ответ: «Много будешь знать, Агеева, скоро состаришься.» Но, видимо, и старостью меня не испугать. Сосед наш, профессор Тихомиров, посмотрел на меня с любопытством и серьезно сказал: «Знаешь, что? Давай подождем».

В школе появляются университетские студенты-филологи, у них педагогическая практика. Несколько уроков литературы ведет тощий, остроносый Эрлен Киян и так в нашей школе и остается – устраивает драмкружок. Мечта у него не литературу преподавать, а стать режиссером. И вот теперь почти каждый вечер мы мчимся в школу и проводим время не столько в репетициях «Старых друзей», сколько в доверительных разговорах. Это были первые такие «круглые столы», мы действительно кружились вокруг Эрлена (непонятно, что означало его имя, может быть, «эра Ленина», классом старше училась девочка по имени Марксена, т.е. «Маркс-Энгельс», красавица, между прочим), настораживая этим кружением подозрительных родителей. Он мог, например, сказать: «Ну что это такое? На призыв партии и правительства рабочие Кировского завода откликнулись... труженики села откликнулись... творческая интеллигенция откликнулась... Откликушество какое-то гуляет по стране». Но и мы удивляли его, мы были уже свободнее, чем школьники, которых он помнил. Ревнивая учительница Елена Адольфовна, которая ставила с нами на английском языке пьесу собственного сочинения – «Том Сойер» называлась пьеса – поджимала губы и про наш кружок говорила так: «Mutual admiration society» – *общество взаимного восхищения*. Но это были не политические разногласия с Эрленом, а грусть обиженного женского сердца. Он тайно проводит нас на филфаковский диспут – обсуждают «Не хлебом единым» Дудинцева – какое кипение страстей, какая злость и порыв по поводу вещей еще таких отвлеченных и для нас странных.

Постепенно в школе появляются новые учителя, одного за другим представляя нам их тоже довольно новый директор, человек загадочный и хромым, очень хотел, чтобы они нам понравились. Все эти новенькие были, как правило, бывшие сидельцы. По-видимому, слух был верный, что с нашим директором связывало их арестантское братство. Истории их откуда-то стали всем известны. Физик, говорили, заремел с четвертого курса физического факультета за рукописный журнал, учительница литературы за верность мужу. Математик...не помню уже за что..., но по тому, как он вел уроки, как был ироничен и остроумен, понятно было, что не для этих школярских стен он предназначен, и это только временное пристанище для него. Так оно и вышло. Очень скоро стал профессором и преподавал уже на матмехе. Но и для нас кое-что успел сделать, первые места на городских олимпиадах по математике долго еще были наши, а в голове моей мелькала время от времени даже безумная мысль поступить на матмех, что объяснялось, впрочем, не математическими способностями и не склонностью к математике, а обыкновенной ленью, то есть возможностью ходить на лекции, не надевая пальто, не выходя на улицу: дверь из квартиры напротив, где жила моя подруга Галя и дружественная семья Платуновых, вела прямо на третий этаж матмеха. Мы жили в доме 31 по Десятой линии, переехали туда, покинули «петровские своды», когда начали постепенно расселять университетские дворы. Матмех был – как раз соседний, дом номер 33. И школа у меня была тоже уже другая – тридцать третья школа на Двенадцатой линии, между Средним и Большим.

«Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро...», «В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы...», «Мне на плечи кидается век-волкодав...». В учебнике этих стихов не было, мы запоминали их моментально с голоса Александры Алексеевны, кое-кто приносил из дома старые книжечки с пожелтевшими ломкими страницами, на перемене показывали Александре, хвастались. «О! – восхищалась она, – я бы не разрешила такие книжки из дому выносить...». Александру любили – мы не были для неё временным пристанищем, она пришла в школу ради нас и тех, кто придет после нас. Ну и что, что программа и «Мать» Горького – между прочим, тоже люди... справедливости хотели... Декабристы, «Русские женщины».

Вечер посвящен декабристам. Играем отрывок. Александра Алексеевна в первом ряду в страшном волнении непрерывно поправляет у горла свою белозубую камею.

Губернатор (Дима Барков, наш красавец, наше «национальное достояние», стал, кстати, актером, играл у Игоря Владимирова) не пускает княгиню Трубецкую к мужу, в Сибирь: *Подумайте, дитя: О ком тоска? К кому любовь?*

Княгиня (это я, на плечах роскошная, с кистями, чуть изъеденная молью шаль соседки Софьи Николаовны) с гневным достоинством: *Молчите, генерал!*

Губернатор: *Когда б не доблестная кровь текла в вас – я б молчал. Но если рвётесь вы вперед, Не веря ничему, Быть может, гордость вас спасёт... Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой (зал почему-то хихикает), А он, не думая о том, Что станется с женой, Увлёкся призраком пустым...И вот его судьба! И что ж?...бежите вы за ним, как жалкая раба!*

Княгиня: *Нет! Я не жалкая раба, Я женщина, жена!* (в зале снова звуки придушенного смеха и повизгивания) *Пускай горька моя судьба – Я буду ей верна!*

Александра Алексеевна сама была вроде этой княгини – не отказалась от мужа. Это мы понимали. Сорные семена абстрактных гуманистических ценностей прорастали под слабым солнцем оттепели..

Нежданно старый генерал, Закрыв руку глаза, – это высунулся из складок занавеса автор. «Как я вас мучил...Боже мой!», – это всхлипывает Барков. И снова

автор комментирует: *Из-под руки на ус седой скатилась слеза.* Старый генерал, верный служака, но вот ведь человек, оказывается. Дима непрошеную слезу снимает с уса и показывает публике. В зале смеются, но потом хлопают нам яростно и от души. Александра и сама могла смеяться ни с того ни с сего. Проходим Блока, не знаю уж, был ли он так подробно обозначен в программе. К доске выходит Домнин, читает, слегка набычившись:

Я послал тебе черную розу в *стакане*
Золотого, как небо, аи.

И от этого *стакана* наша Александра, зная, что такое холодный карцер, схватилась сначала за сердце, потом закрыла глаза и вдруг начала хохотать как ненормальная.

Мальчик Петя Домнин, безукоризненный отличник, зная уже, что аи – сорт шампанского, все-таки полагал, что это вино, а из чего пьют вино – ну из стаканов, конечно, какие еще бокалы, такая устойчивая ассоциация, тем более, он был из детского дома.

Англичанка, кроме пьес, придумала еще и азартную игру «на деньги» (о ужас!). Раз в неделю мы должны были на переменах говорить только по-английски, если не выдержишь и вырвется русское слово – плати штраф. Назначались специальные дежурные, изверги, не знающие пощады, которые очень рьяно эти копейки собирали. На собранные деньги весной отправлялись всем классом в поход, снисходительно прихватив кой-кого из учителей, помирившегося с англичанкой Эрлена, иногда и математика с неприлично молодым биологом, который свой первый урок в нашем классе начал коротким выкриком – «а ну, закрыть рты» – такой мощной громкости, что мы остолбенели и затихли надолго. В походе, естественно, пылали нормальные юношеские страсти. Однажды мальчик по имени Рудик, один из трех немецких мальчиков из детского дома, выскочил передо мной на скользкой тропинке – я несла к озеру стопку алюминиевых мисок, – прошипел: «Если я тебе не нужен, ты мне тоже не нужна», толкнул в грудь, выбил из рук моих миски, рассыпавшиеся с колокольным звоном, и скрылся в буреломной чаще. Стыдно признаться, но я прокричала ему в спину «фашист» и принялась собирать эти миски без всякой обиды, но с некоторым непониманием, поскольку с этим Рудиком – Рудольф было его имя – я вообще никогда и словом не перемолвилась.

А у костров велись такие разговоры, узнав о которых родители еще долго перезванивались и с ужасом пересказывали друг другу идеи Эрлена о простой двухпартийной системе в нашем незыблемом государстве. Очень хорошо помню, идея была удивительно проста и понятна: ту партию, которая есть, разделить на две по четным и нечетным номерам партийных билетов, и чтобы они друг за другом наблюдали, и проверяли, и контролировали. Вообще говоря, разговор этот был из подслушанных – после отбоя, когда у костра остались биолог, Эрлен, неистовая англичанка и кто-то еще из взрослых.

Биолог вообще не был похож на учителя, слишком уж молод, переступив порог нашего класса и прорывав «а ну, закрыть рты», уставился на вечный лозунг, висевший над доской в кабинете биологии, – в школе были кабинеты: кабинет физики, кабинет химии.... Нормальный лозунг, никто и не замечал его давно, якобы фраза Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Как бы сам с собой разговаривая, биолог задумчиво произнес: «...Странно, как это милость можно взять. Какая же это милость тогда...». (*Сожаление новых времен – «мы не можем ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали» – звучит, во всяком случае, более логично, чем этот памятный нашему поколению лозунг.*)

Потом биолог велел открыть тетради на чистой странице и написать крупными буквами: *ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ*, что мы, ничего не понимая, и сделали. «Имейте в виду – в учебнике этой темы нет, но сдавать будете мне». В новый, таинственный

мир вошли мы вслед за этим молодым человеком, и некоторые так и не вышли из него и поступили на биологический, на ту самую кафедру, где в самые темные годы продолжал висеть на стене портрет Николая Ивановича Вавилова.

Физик Анатолий, красавец с печальными глазами, напротив, тихим голосом убеждал, что прекраснее и главнее физики нет ничего на свете, однако обожал живопись, и часто вместо лабораторных часов, на которых по программе мы должны были с помощью стареньких проводочков, амперметра и вольтметра бесконечно проверять закон Ома, водил нас регулярно в Эрмитаж, решив, по-видимому, что закон Ома уже достаточно надежно проверен. Это было явным нарушением, и все мы вместе, Анатолий больше всех, боялись попасться на глаза завучу Щуке в момент выскальзывания из школы, и никому в голову не приходило отказаться идти в Эрмитаж. А там как раз открылась первая скандальная выставка Пабло Пикассо, и случилась известная драка, которую мы, к сожалению, не застали.

Странные у нас были учителя, просто какие-то подвижники, парили в облаках и задыхались от свободы, чего только не придумывали. «Времена были хуже, а люди лучше, ей- богу...» Кто-нибудь, возможно, кинет в советскую школу справедливый камень. Я – не кину. В мою школу – не кину. Кто-то, может быть, в другой школе учился. Я их понимаю.

В результате, по окончании экзаменов на аттестат зрелости, нам полагалось слишком много золотых медалей. В РОНО ахнули и побежали в ГОРОНО. В общем, подсчитали – прослезились. «Вы что – хотите забрать всё золото?» И вышел такой устный, тихий приказ. Золотые – по обстоятельствам исключительным, а всех остальных переделать, так и быть, в серебряные, а лучше всего что-нибудь придумать и обойтись вообще без медалей.

В кабинете директора мне предложили выбрать предмет, по которому оценка шла в аттестат из прошлых лет, чтобы не давать золотую – результаты экзаменов переделать-то было уже затруднительно, все-таки какие-то протоколы имелись, наверное. Я согласилась на четверку по черчению и получила серебряную. Как-то даже по-человечески пытался действовать директор. Но в коридоре рыдали лишенцы и их родители. Медаль давала право поступить в институт без экзаменов, вне конкурса. А золотая медаль досталась мальчику из детского дома – Пете Домнину, что, в общем-то, справедливо, ему – нужнее.

«Не расстраивайся», – сказал мне директор и, сильно хромя, даже вышел из-за стола, чего обычно не делал, – хромяе, как известно, стараются поскорее сесть – погладил меня по плечу: «Эта история мне самому неприятна (я догадалась – его тоже унизили), но видишь, я сохраняю равновесие», – и кивнул головой в сторону двери. За дверью слышались довольно громкие стоны и всхлипы обиженных. Завуч по прозвищу «Щука», несменяемый парторг, сидела у торца директорского стола, шевелила какими-то бумажками и позой своей и подрагиванием вечно мокрого щучьего носика выражала явное неодобрение. Непонятно, кому оно предназначалось – директору с его «китайскими церемониями» или мне, которую, будь её воля, она выпустила бы из школы не с медалью, пусть даже и серебряной, а с «волчьим билетом» (так она говорила) за дерзость и наплевательское отношение к этому самому страшному и непонятному билету, символу её жалкой власти.

«Уроки только начинаются, девочка», – сказал мне хромой директор. Всё, что он мог мне сказать на прощание под взглядом Щуки, мутные глазки которой в этот момент испустили быстрое злорадное свечение, а безгубый ротик растянулся в мстительной гримаске. И я ответила ей самой спокойной из своих улыбок – за спиной были уже кой-какие тренировки в столь необходимом, как оказалось, чувстве равновесия.

FRIEDRICH VON SCHILLER

DIE KRANICHE DES IBYKUS

Zum Kampf der Wagen und Gesänge,
Der auf Korinthus Landesenge
Der Griechen Stämme froh vereint,
Zog Ibykus, der Götterfreund.
Ihm schenkte des Gesanges Gabe,
Der Lieder süßen Mund Apoll,
So wandert' er, an leichtem Stabe,
Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken
Akrokorinth des Wandrers Blicken,
Und in Poseidons Fichtenhain
Tritt er mit frommem Schauder ein.
Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme
Von Kranichen begleiten ihn,
Die fernhin nach des Südens Wärme
In graulichem Geschwader ziehn.

«Seid mir begrüßt, befreundte Scharen!
Die mir zur See Begleiter waren,
Zum guten Zeichen nehm ich euch,
Mein Los, es ist dem euren gleich.
Von fernher kommen wir gezogen
Und flehen um ein wirtlich Dach.
Sei uns der Gastliche gewogen,
Der von dem Fremdling wehrt die Schmach!»

Und munter fördert er die Schritte
Und sieht sich in des Waldes Mitte,
Da sperren, auf gedrangem Steg,
Zwei Mörder plötzlich seinen Weg.
Zum Kampfe muß er sich bereiten,
Doch bald ermattet sinkt die Hand,
Sie hat der Leier zarte Saiten,
Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter,
Sein Flehen dringt zu keinem Retter,
Wie weit er auch die Stimme schickt,
Nichts Lebendes wird hier erblickt.
«So muß ich hier verlassen sterben,
Auf fremdem Boden, unbeweint,
Durch böser Buben Hand verderben,
Wo auch kein Rächer mir erscheint!»

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИКИ РУССКОЙ

Фридрих ШИЛЛЕР

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

На Посидонов пир веселый,
Куда стекались чада Гелы
Зреть бег коней и бой певцов,
Шел Ивик, скромный друг богов.
Ему с крылатою мечтою
Послал дар песней Аполлон;
И с лирой, с легкою клюкою
Шел, вдохновенный, к Истму он.

Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринф и горы,
Слиянны с синевою небес.
Он входит в Посидонов лес...
Всё тихо; лист не колыхнется;
Лишь журавлей по вышине
Шумящая станица вьется
В страны полуденны к весне.

«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верный провожатый,
Будь добрым знамением мне.
Сказав: прости! родной стране,
Чужого брега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от странничьей главы».

И с твердой верою в Зевеса
Он в глубину вступает леса;
Идет заглохшею тропой...
И зрит убийц перед собой.
Готов сразиться он с врагами;
Но час судьбы его приспел:
Знакомый с лирными струнами,
Напрячь он лука не умел.

К богам и к людям он взывает...
Лишь эхо стоны повторяет —
В ужасном лесе жизни нет.
«И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщенья
Ни от богов, ни от людей».

Und schwer getroffen sinkt er nieder,
 Da rauscht der Kraniche Gefieder,
 Er hört, schon kann er nicht mehr sehn,
 Die nahen Stimmen furchtbar krähn.
 «Von euch, ihr Kraniche dort oben!
 Wenn keine andre Stimme spricht,
 Sei meines Mordes Klag erhoben!»
 Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden,
 Und bald, obgleich entstellt von Wunden,
 Erkennt der Gastfreund in Korinth
 Die Züge, die ihm teuer sind.
 «Und muß ich so dich wiederfinden,
 Und hoffte mit der Fichte Kranz
 Des Sängers Schläfe zu umwinden,
 Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!»

Und jammernd hören's alle Gäste,
 Versammelt bei Poseidons Feste,
 Ganz Griechenland ergreift der Schmerz,
 Verloren hat ihn jedes Herz.
 Und stürmend drängt sich zum Prytanen
 Das Volk, es fodert seine Wut,
 Zu rächen des Erschlagenen Manen,
 Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge,
 Der Völker flutendem Gedränge,
 Gelocket von der Spiele Pracht,
 Den schwarzen Täter kenntlich macht?
 Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen?
 Tat's neidisch ein verborgner Feind?
 Nur Helios vermag's zu sagen,
 Der alles Irdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte
 Jetzt eben durch der Griechen Mitte,
 Und während ihn die Rache sucht,
 Genießt er seines Frevels Frucht.
 Auf ihres eignen Tempels Schwelle
 Trotz er vielleicht den Göttern, mengt
 Sich dreist in jene Menschenwelle,
 Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bank an Bank gedrängt sitzen,
 Es brechen fast der Bühne Stützen,
 Herbeigeströmt von fern und nah,
 Der Griechen Völker wartend da,
 Dampfbrausend wie des Meeres Wogen;
 Von Menschen wimmelnd, wächst der Bau
 In weiter stets geschweiftem Bogen
 Hinauf bis in des Himmels Blau.

И он боролся уж с кончиной...
 Вдруг... шум от стаи журавлиной;
 Он слышит (взор уже угас)
 Их жалобно-стелящий глас.
 «Вы, журавли под небесами,
 Я вас в свидетели зову!
 Да грянет, привлеченный вами,
 Зевесов гром на их главу».

И труп узрели обнаженный;
 Рукой убийцы искаженны
 Черты прекрасного лица.
 Коринфский друг узнал певца.
 «И ты ль недвижим предо мною?
 И на главу твою, певец,
 Я мнил торжественной рукою
 Сосновый положить венец».

И внемлют гости Посидона,
 Что пал наперсник Аполлона...
 Вся Греция поражена;
 Для всех сердец печаль одна.
 И с диким ревом исступленья
 Пританов окружил народ
 И вопит: «Старцы, мщенья, мщенья!
 Злодеям казнь, их сгибни род!»

Но где их след? Кому приметно
 Лицо врага в толпе несметной
 Притекших в Посидонов храм?
 Они ругаются богам.
 И кто ж – разбойник ли презренный,
 Иль тайный враг удар нанес?
 Лишь Гелиос то зрел священный,
 Всё озаряющий с небес.

С подъятой, может быть, главою,
 Между шумящею толпою,
 Злодей сокрыт в сей самый час
 И хладно внемлет скорби глас;
 Иль в капище, склонив колени,
 Жжет ладан гнусною рукою;
 Или теснится на ступени
 Амфитеатра за толпой,

Где, устремив на сцену взоры
 (Чуть могут их сдержать подпоры),
 Пришед из ближних, дальних стран,
 Шумя, как смутный океан,
 Над рядом ряд, сидят народы;
 И движутся, как в бурю лес,
 Людьми кипящи переходы,
 Входя до синевы небес.

Wer zählt die Völker, nennt die Namen,
 Die gastlich hier zusammenkamen?
 Von Theseus' Stadt, von Aulis' Strand,
 Von Phokis, vom Spartanerland,
 Von Asiens entlegner Küste,
 Von allen Inseln kamen sie
 Und horchen von dem Schaugerüste
 Des Chores grauser Melodie,

Der streng und ernst, nach alter Sitte,
 Mit langsam abgemeßnem Schritte,
 Hervortritt aus dem Hintergrund,
 Umwandelnd des Theaters Rund.
 So schreiten keine irdschen Weiber,
 Die zeugete kein sterblich Haus!
 Es steigt das Riesenmaß der Leiber
 Hoch über menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden,
 Sie schwingen in entfleischten Händen
 Der Fackel düsterrote Glut,
 In ihren Wangen fließt kein Blut.
 Und wo die Haare lieblich flattern,
 Um Menschenstirnen freundlich wehn,
 Da sieht man Schlangen hier und Nattern
 Die giftgeschwollnen Bäuche blähn.

Und schauerlich gedreht im Kreise
 Beginnen sie des Hymnus Weise,
 Der durch das Herz zerreißend dringt,
 Die Bande um den Sünder schlingt.
 Besinnungraubend, herzbetörend
 Schallt der Erinnyen Gesang,
 Er schallt, des Hörers Mark verzehrend,
 Und duldet nicht der Leier Klang:

«Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle
 Bewahrt die kindlich reine Seele!
 Ihm dürfen wir nicht rächend nahn,
 Er wandelt frei des Lebens Bahn.
 Doch wehe, wehe, wer verstohlen
 Des Mordes schwere Tat vollbracht,
 Wir heften uns an seine Sohlen,
 Das furchtbare Geschlecht der Nacht!

Und glaubt er fliehend zu entspringen,
 Geflügelt sind wir da, die Schlingen
 Ihm werfend um den flüchtgen Fuß,
 Daß er zu Boden fallen muß.
 So jagen wir ihn, ohn' Ermatten,
 Versöhnen kann uns keine Reu,
 Ihn fort und fort bis zu den Schatten,
 Und geben ihn auch dort nicht frei.»

И кто сочтет разноплеменных,
Сим торжеством соединенных?
Пришли отсюду: от Афин,
От древней Спарты, от Микин,
С пределов Азии далекой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор...
И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.

По древнему обряду, важно,
Походкой мерной и протяжной,
Священным страхом окружен,
Обходит вокруг театра он.
Не шествуют так персти чада;
Не здесь их колыбель была.
Их стана дивная громада
Предел земного перешла.

Идут с поникшими главами
И движут тощими руками
Свечи, от коих темный свет;
И в их ланитах крови нет;
Их мертвы лица, очи впалы;
И, свитые меж их власов,
Ехидны движут с свистом жалы,
Являя страшный ряд зубов.

И стали вокруг, сверкая взором;
И гимн запели диким хором,
В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: *казнь!*
Гроза души, ума смутитель,
Эринний страшный хор гремит;
И, цепenea, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:

«Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед...
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень, за вами всюду мы,
С грозой мщенья во взоре,
Ужасные созданья тьмы.

Не мните скрыться – мы с крылами;
Вы в лес, вы в бездну –мы за вами;
И, спутав вас в своих сетях,
Растерзанных бросаем в прах.
Вам покаянье не защита;
Ваш стон, ваш плач – веселье нам;
Терзать вас будем до Коцита,
Но не покинем вас и там».

So singend, tanzen sie den Reigen,
 Und Stille wie des Todes Schweigen
 Liegt überm ganzen Hause schwer,
 Als ob die Gottheit nahe wär.
 Und feierlich, nach alter Sitte
 Umwandelnd des Theaters Rund
 Mit langsam abgemeßnem Schritte,
 Verschwinden sie im Hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet
 Noch zweifelnd jede Brust und bebet
 Und huldiget der furchtbarn Macht,
 Die richtend im Verborgnen wacht,
 Die unerforschlich, unergründet
 Des Schicksals dunkeln Knäuel flicht,
 Dem tiefen Herzen sich verkündet,
 Doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchsten Stufen
 Auf einmal eine Stimme rufen:
 «Sieh da! Sieh da, Timotheus,
 Die Kraniche des Ibykus!» -
 Und finster plötzlich wird der Himmel,
 Und über dem Theater hin
 Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel
 Ein Kranichheer vorüberziehn.

«Des Ibykus!» - Der teure Name
 Rührt jede Brust mit neuem Grame,
 Und, wie im Meere Well auf Well,
 So läuft's von Mund zu Munde schnell:
 «Des Ibykus, den wir beweinen,
 Den eine Mörderhand erschlug!
 Was ist's mit dem? Was kann er meinen?
 Was ist's mit diesem Kranichzug?» -

Und lauter immer wird die Frage,
 Und ahnend fliegt's mit Blitzesschlage
 Durch alle Herzen. «Gebet acht!
 Das ist der Eumeniden Macht!
 Der fromme Dichter wird gerochen,
 Der Mörder bietet selbst sich dar!
 Ergreift ihn, der das Wort gesprochen,
 Und ihn, an den's gerichtet war».

Doch dem war kaum das Wort entfahren,
 Möcht er's im Busen gern bewahren;
 Umsonst, der schreckenbleiche Mund
 Macht schnell die Schuldbewußten kund.
 Man reißt und schleppt sie vor den Richter,
 Die Szene wird zum Tribunal,
 Und es gestehn die Bösewichter,
 Getroffen von der Rache Strahl.

И песнь ужасных замолчала;
 И над внимавшими лежала,
 Богинь присутствием полна,
 Как над могилой, тишина.
 И тихой, мерною стопою
 Они обратно потекли,
 Склонив главы, рука с рукою,
 И скрылись медленно вдали.

И зритель – зыблемый сомнением
 Меж истиной и заблуждением –
 Со страхом мнит о Силе той,
 Которая, во мгле густой
 Скрываясь, неизбежима,
 Вьет нити роковых сетей,
 Во глубине лишь сердца зрима,
 Но скрыта от дневных лучей.

И всё, и всё еще в молчанье...
 Вдруг на ступенях восклицанье:
 «Парфений, слышишь?.. Крик вдали –
 То Ивиковы журавли!..»
 И небо вдруг покрылось тьмою;
 И воздух весь от крыл шумит;
 И видят... черной полосой
 Станица журавлей летит.

«Что? Ивик!..» Всё поколебалось –
 И имя Ивика помчалось
 Из уст в уста... шумит народ,
 Как бурная пучина вод.
 «Наш добрый Ивик! наш, сраженный
 Врагом неизвестным, поэт!..
 Что, что в сем слове сокровенно?
 И что сих журавлей полет?»

И всем сердцам в одно мгновенье,
 Как будто свыше откровенье,
 Блеснула мысль: «Убийца тут;
 То Эвменид ужасных суд;
 Отмщенье за певца готово;
 Себе преступник изменил.
 К суду и тот, кто молвил слово,
 И тот, кем он внимаем был!»

И, бледен, трепетен, смятенный,
 Внезапной речью обличенный,
 Исторгнут из толпы злодей;
 Перед седалище судей
 Он привлечен с своим клеветом;
 Смущенный вид, склоненный взор
 И тщетный плач был их ответом;
 И смерть была им приговор.

Перевод Василия Жуковского

ДОСТОЕВСКИЙ – В МЕРУ

1

Что-то должно было перемениться к осени 1971 года, если в руководящих инстанциях решили отпраздновать 150-летие Фёдора Михайловича Достоевского по высшему разряду. На торжественном заседании в Большом театре тогдашний официальный литературовед Борис Сучков возвестил о реабилитации автора «Бесов». Ещё недавно роман считался клеветническим, порочащим революционное движение. Автор был заклеимён Лениным: «архискверный». Теперь оказалось, что писатель развенчал не настоящих, а ложных революционеров – анархистов и заговорщиков, то есть в конечном счёте совершил благое дело.

Много лет прошло с тех пор. Снова, теперь уже в третий раз, переставлены знаки. Но манера читать и толковать Достоевского в послесоветской России в принципе осталась прежней.

Роман «Бесы» – урок и предостережение: Достоевский предсказал русскую революцию. Предвидел, провидел судьбу России в двадцатом веке, предвосхитил то, что не снилось никому из русских писателей, а заодно и европейских. Как в воду смотрел.

Дальше – больше, и сегодня мы слышим уже нечто вполне апокалиптическое: мрачная весть Достоевского выглядит чуть ли не как Откровение Иоанна.

«...Вся русская история есть тому подтверждение. “Бесы” – и большевики, меньшевики, эсеры. “Бесы” – и февральская революция, и октябрьский переворот. “Бесы” – и Гражданская война; коллективизация; организованный на Украине голодомор. “Бесы” – и террор 37-го и так называемая “борьба с космополитами”. “Бесы” – и “дело врачей”. Каждый раз на историческом повороте, вплоть до наших дней, Россия могла найти аналог случившемуся в “Бесах”. И до сих пор, увы, находит». (Н.Б. Иванова. «Знамя», 2004, 11).

2

Скучновато (по правде говоря) всё это читать. Высказывания в этом роде, хоть и не в такой утрированной форме, не новость. Отождествление персонажей романа с теми, кто готовил революцию и октябрьский переворот Семнадцатого года, давно стало общим местом. В дневнике известного кадетского деятеля А.И. Шингарёва, убитого вместе с Ф.Ф. Кокошкиным «революционными матросами» в Мариинской больнице в январе 1918 года, Ленин уподоблен Петеньке Верховенскому. На значительном историческом расстоянии нам легче оценить меру правдоподобия подобных сближений или, лучше сказать, их неправдоподобия. И народovolьцы, и русские социал-демократы, и большевики были, конечно же, людьми другого склада и другого образа мыслей, чем компания, собравшаяся в доме Виргинского. Собрание «у наших» нельзя даже назвать пародией, ведь условие хорошей пародии – узнаваемость, черты сходства с пародируемым образцом. Верховенский-младший – конечно, не Ленин (скорее уж Пётр Ткачёв, узнавший себя в романе). Как бы ни скомпрометировала себя в наше время революционная идея, с каким бы отвращением мы ни взирали сегодня на иных из её адептов, – с персонажами Достоевского у них мало общего. Вся концепция революционного брожения и движения, какую

хотели вычитать из романа, – и прежде всего уверенность в том, что революция – результат заговора, не будь «бесов», не было бы и катастрофы, – всё это похоже на историческую действительность не больше, чем суд в романе Кафки «Процесс» похож на австрийскую юстицию начала двадцатого века. Короче говоря, если мы хотим понять причины революции, оценить суть и облик порождённого ею советского режима, – Достоевский нам едва ли поможет.

Но дело даже не в этом, а в том, – и это всего печальней, – что при таком вычитывании «идеологического вывода» у Достоевского (выражение М.М. Бахтина) теряется то, что бесконечно важнее всевозможных мнимых или действительных пророчеств. В том-то и дело, что Достоевский-романист – не писатель «монологических форм», если воспользоваться ещё одним термином Бахтина. «Сознание критиков и исследователей до сих пор поработает идеология, – писал он ещё в 1927 году. – Художественная воля не достигает отчётливого теоретического осознания».

3

Человек предполагает, а Бог располагает; человек – автор с публицистическим даром и пламенным темпераментом – проектирует одно, а бог, именуемый Искусством, распоряжается наличным материалом по-другому. Мы давно потеряли бы интерес к роману, если бы это было не так.

История создания «Бесов» реконструирована с достаточной полнотой. Рукописи и переписка писателя позволили проследить, каким образом первоначальный проект романа-памфлета («...хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность... То, что пишу, – вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее». Письма 1870 г. Ап. Майкову и Н.Страхову) был потеснён более сложным и многосмысленным замыслом. История превращения газетного романа-фельетона в одну из великих книг XIX столетия чрезвычайно поучительна.

«Ежедневно прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала» (Майкову, март 1870). В Дрездене Достоевский узнал из газет, русских и немецких, об убийстве слушателя Петровско-Разумовской земледельческой академии Иванова и аресте Нечаева. Сюжет злободневного романа определился. Но затем актуальность приобрела другое качество. (Решающий прорыв к новой концепции произошёл после обострения эпилепсии в июне 1872 г.). Схема «либеральный папаша – сын-нигилист», соотносимая с тургеневским романом, истолкованная как метафора преемственной связи мечтательного либерализма сороковых годов и атеистической бесовщины семидесятых, оказалась лишь отправным пунктом. Женские фигуры, любовные линии обесценили «философию». Занимательность, о которой не в последнюю очередь заботился романист («ставлю [её] выше художественности»), другими словами, сложность интриги, которая отвечала бы сложности, неоднозначности и непредсказуемости самой жизни, – дезавуировала публицистику. Компания заговорщиков перекочевала с авансцены на задний план. Выдвинулся герой, который не влезал ни в какие схемы.

О Ставрогине написано немало. Гораздо меньше внимания обратили на то, что в ходе работы над «Бесами» писатель не просто перекроил замысел, отказавшись от первоначального намерения написать памфлет, но создал новую поэтику романа.

4

«Главное – особый тон рассказа» (запись в набросках к роману, 1870). Повествование ведётся от первого лица, тем не менее, очень скоро можно заметить, что это не классическая Ich-Erzählung. Повествование идёт от имени человека, у которого по существу нет имени. То, что формально какое-никакое имя всё-таки есть, – рассказчика, называющего себя «хроникёром», зовут Антон Лаврентьевич, – быстро забывается, и не только оттого, что имя это лишь дважды упомянуто на восьмистах страницах романа. Но главным образом потому, что это вынужденное упоминание. Имя-отчество г-на Г-ва

носит чисто функциональный характер. В первой части романа, в начале IV главы («Хромоножка») хроникёр вместе с Шатовым наносит первый визит Лизавете Николаевне, возникает необходимость представить гостя, после чего по русскому обычаю полагается обращаться к нему по имени и отчеству. И больше это имя и отчество нигде не всплывает. Фамилия сокращена, она и вовсе не имеет значения. Гаврилов, Горохов – какая разница?

Предпринимались попытки выяснить, с кого он «списан». Один из разделов книги Ю.Карякина «Достоевский и канун XXI века» (1989) называется: «И.Г. Сниткин – прототип». (Разумеется, и для автора книги роман Достоевского – «самое набатное предупреждение о реально апокалипсисе»). Младший брат Анны Григорьевны Достоевской был одноклассником убитого Иванова. Сниткин приехал погостить к Достоевским в октябре 1869 г. и, как сообщает Анна Григорьевна, много и увлечённо рассказывал о жизни и настроениях студентов. Убийство Иванова, однако, произошло после приезда Сниткина в Дрезден. Замысел «Бесов» возник в начале 1870 г. Академия, студенческий быт – всё это никак не отразилось в романе. В обширных подготовительных заметках к «Бесам», где прототипы названы своими именами (Верховенский-младший – Нечаев, Верховенский-старший – Грановский, Кармазинов – Тургенев), упоминаний о Сниткине как о возможном «хроникёре» нет.

Автор книги «Достоевский и канун XXI века» особенно упирает на это слово: хроника. Можно было бы осторожно напомнить, что в девятнадцатом столетии оно имело несколько иной смысл, чем сегодня. Карякин подчёркивает, как много значило для Достоевского чтение газет. Но хроника в словоупотреблении эпохи ассоциировалась с повествовательным жанром, отнюдь не с газетным репортажем, сам этот хроникёр «Бесов» несколько не похож на газетчика, стилистика романа совершенно иная. Не был журналистом и Сниткин.

Но как бы то ни было, как ни велик соблазн подставить под Г-ва какое-нибудь реальное лицо (подобно великому множеству кандидатур, предложенных комментаторами для других действующих лиц романа), поиски кандидата в этом случае напрасны. Самая идея реального прототипа кажется мне ложной. Потому что Хроникёр – не действующее лицо. Он вообще *не лицо*.

5

Он чрезвычайно скромен, ничего не рассказывает о себе. Мы не знаем, как и на что он живёт, есть ли у него семья. У него нет биографии. Неизвестно, как он выглядит. Единственное, что можно о нём сказать, это то, что он постоянно живёт в городе и всех знает. Едва взявшись за перо, он предупреждает о своём неумении рассказывать о событиях. Поэтому-де он вынужден начать издалека. На самом деле он совсем неплохо справляется со своей ролью. Вопрос лишь в том, что это за роль.

Чем он, собственно, занимается? Да ничем, – кроме того, что беседует с многотимым Степаном Трофимовичем, точнее, выслушивает его болтовню, бегаёт целыми днями по городу, слушает разговоры, собирает сплетни – и всем этим делится с читателем, рассказывает о своих впечатлениях, строит догадки.

Спросим себя, зачем он нужен в романе. Ответ отчасти готов: хотя бы для того, чтобы было перед кем разливать соловьём Степану Трофимовичу. Этот Г-в необходим ему, как Горацио – принцу Гамлету. Другие занятия: денежными делами, любовью, политиканством, наконец, проектами разрушить общество и столкнуть мир в тартарары. У Г-ва много свободного времени.

Композиционная функция Хроникёра состоит в том, что он связывает всех действующих лиц и соединяет все нити; он – центр повествования. Но, как уже сказано, это безличный центр, нулевая точка отсчёта. Или, скажем так, некая точка зрения. Он нужен, потому что только он может сообщить нам необходимую информацию. Условием для этого, однако, является неучастие: в отличие от традиционной *Ich-Erzählung* (речь живого участника), хроникёр – не персонаж среди других персонажей.

Спрашивается, насколько «адекватна» его информация, можно ли вполне доверять его рассказу. Опыт «Бесов» пригодился Достоевскому для «Братьев Карамазовых». Немало пассажей, целые страницы «Карамазовых», незаметнодвигающие сюжет, знакомящие читателя с персонажами, представляют собой пересказ чего-то услышанного, кем-то сказанного. Дескать, за что купил, за то и продал. В «Бесах» это *главный принцип* повествования. Автор передал свои функции кому-то. Это значит, что автор умывает руки. Он снимает с себя ответственность за речи героев, за их поступки, за достоверность рассказа в целом.

6

Но рассказчик этот – некто, лишённый индивидуальности. Какой-то Г-в, о котором не только неизвестно (как уже говорилось) ничего или почти ничего, но и не хочется ничего узнавать: сам по себе он совершенно неинтересен.

Речь идёт о своеобразной объективации, но именно своеобразной, весьма сомнительной, которую до сих пор принимают без оговорок, в наивной уверенности, что хроникёр – уполномоченный всезнающего автора. Оттого, между прочим, и возникает желание отыскать для него прототип.

Кто же он всё-таки, этот Г-в? Я полагаю, что ответ может быть только один: персонафицированная молва. То, что называется глас народа. Общепринятая версия событий, точнее, клубок версий. Совокупность фактов, не делимых от толков и сплетен, – фактов, какими они отражены в усреднённом представлении городского обывателя, перетолкованы общественным мнением; реальность, воспринятая обыденным сознанием.

Этот господин Г-в – не я и не он, а скорее «оно», и у него есть свои литературные предки и свои потомки. Хроникёр «Бесов» – это выродившийся хор античной трагедии, комментирующий события на арене афинского театра, пристрастный, сострадающий, восхищённый, возмущённый. Что касается потомков, то вот, например, один: Серенус Цейтблом в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Все помнят начало книги (в переводе С.Апта): «Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Левверкюна [...] я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу». В том-то и дело, что особа эта – человек благородный, но совершенно бесцветный.

7

Мы имеем дело с *романом версий*. Любопытно сравнить «Бесы» с господствующей парадигмой художественной прозы XIX века, с практикой и поэтикой двух величайших романистов этого века – Толстого и Флобера.

Анна Каренина не знает о Толстом, но Толстой всё знает об Анне Карениной. Он знает всё о своих героях, и нет оснований усомниться в том, что его знание – подлинное и окончательное. Романист всеведущ, он читает во всех сердцах. Он подобен полководцу, сидящему на холме, откуда открывается вид на всё поле битвы. Мир романа есть мир, видимый метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вынесенной за пределы этого мира.

Но его можно сравнить и с игроком в шахматы. При этом он способен воплотиться в любую из фигур. Он одновременно и склонился над доской, и стоит на доске; небожитель, который сошёл на созданную им землю. Оттого ему внятен душевный мир деревянных сограждан, он увидит в них своих братьев или недругов, будет делить с ними их надежды, амбиции, тайные страхи, тесный мир доски представится ему единственным реальным миром. И когда он спросит себя, кто же сотворил этот мир, он создаст гипотезу Игрока. Такова ситуация романиста и его творения в классическом (реалистическом) романе.

Гюстав Флобер произносит знаменитую фразу: «Художник в своём творении должен, как Бог в природе, оставаться незримым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть» (письмо к м-ль Леруайе де Шантпи, 1857). Вот она, парадигма объективной

прозы, если угодно – теология литературы. Отсюда следует, что существует некая единообразная версия действительности, альтернативных версий не может быть. Флобер говорит, что для каждого предмета существует только одно адекватное определение – нужно его найти. Нужно уметь прочесть единственную истинно верную версию, которая, собственно, и не версия, а сама действительность; нужно верить в *действительность действительности*.

И вот появляется прозаик, в чьём романе бог истины аннулирован. Парадокс: писатель с устойчивой репутацией монархиста и реакционера неожиданно оказывается – в своей поэтике – революционером, плюралистом и атеистом. Революционное новаторство Достоевского обнаруживается в том, что его проза («Бесы» – ближайший пример) создаёт неслыханную для современников концепцию действительности – зыбкой, ненадёжной, неоднозначной, скорее вероятностной, чем детерминистской, в такой же мере субъективной, как и «объективной».

Никто не может ручаться за абсолютную достоверность сведений, которые вам сообщают. Весь роман проникнут духом подозрительности (столь свойственной характеру человека, который его написал). И не то чтобы вас сознательно водят за нос, – отнюдь. Хроникёр – воплощённая честность. Просто жизнь такова, что её, как в квантовой физике, невозможно отделить от измерительного прибора, от оценок. Ибо она представляет собой конгломерат версий и лишь в таком качестве может быть освоена литературой.

Жуткий смысл фигур и событий брезжит из тёмных и гиблых низин этого мира, онтология его удручающе ненадёжна. Познание проблематично. Последней инстанции, владеющей полной истиной, попросту нет, и этим объясняется чувство тягостного беспокойства, которое не отпускает читателя.

8

Тут, конечно, сразу последует возражение: сказанное не может быть безусловно отнесено ко всему роману. Писатель непоследователен, нет-нет да и сбивается на традиционную манеру повествования. Например, в двух первых главах 2-й части, «Ночь» и «Продолжение». Расставшись с Петром Степановичем, Ставрогин допоздна сидит в забытии на диване в своём кабинете, очнувшись, выходит под дождём в сад, «тёмный, как погреб». Никем не замеченный, никому не сказавшись, кроме лакея, человека вполне надёжного, исчезает в залитом грязью переулке, шагает по безлюдной Богоявленской и, наконец, останавливается перед домом, где в мезонине квартирует Шатов. Во флигеле живёт инженер Кирилов. Обе встречи чрезвычайно важны для сюжета. Однако ни о свидании с Кириловым, ни о разговоре с Шатовым никто, кроме участников, не знает.

Предстоит ещё один визит – в Заречье, к капитану Лебядкину. «[Ставрогин] прошёл всю Богоявленскую улицу; наконец, пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство – река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков...»

Тот, кто бывал в Твери (в романе неназванной), мог бы и сегодня увидеть эти домишки, заборы, тусклые закоулки, едва различимую во тьме реку. Блеск лампы, скрип половиц, переломленные тени спорящих. И бесконечный дождь за окошком.

И лихорадочные речи Шатова, и безумный проект Кирилова, и ночное, загадочное, в глухом одиночестве, странствие Николая Всеволодовича по призрачному городу – всё начинается, не правда ли, походить на сон. На мосту (в бытность Достоевского в Твери, в 1860 г., это был плавучий понтонный мост) к Ставрогину выходит ещё один призрак, Федька Каторжный. И опять Хроникёр никак не может знать, ни от кого не мог услышать, о чём они толковали.

То же можно сказать о главе «У Тихона», зарубленной редактором «Русского вестника». (Может быть, стоило бы прислушаться к мнению тех, кто считал, что, независимо от мнимой скабрёзности эпизода с Матрёшей, роман без него выигрывает: гениальная глава слишком разоблачает таинственно-демонического Ставрогина и

выпадает из сюжета). Спрашивается, откуда было знать Хроникёру о беседе с Тихоном, не говоря уже о «трёх отпечатанных и сброшюрованных листочках» – исповеди Николая Ставрогина.

9

У меня есть только одно объяснение, почему писатель в этих главах попросту забывает о Хроникёре и повествование принимает характер традиционного изложения «от автора» либо исповеди героя. Хроникёр, говорили мы, не есть романский персонаж в обычном смысле. Хроникёр – это, так сказать, субперсонаж. Николай Ставрогин – сверхперсонаж. В сложной композиции романа, в сцеплении действующих лиц ему отведена особая роль. Как «глаз урагана», эпицентр бури, он мертвенно-спокоен. Будучи центральной фигурой, он вместе с тем стоит над всем, что происходит, – над романом. В этом смысле ему закон не писан.

Его активная роль – в прошлом, до поднятия занавеса. Факел сгорел, остался запах дыма. В романе появляется бывший вождь, которому революция наскутила совершенно так же, как сегодняшнему читателю наскутили славословия Достоевскому-пророку.

«Был учитель, вещавший огромные слова, – говорит Шатов, – и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель». Неподвижная чёрная звезда, вокруг которой вращаются, на ближних и дальних орбитах, «бесы» во главе с Петей Верховенским, вот кто такой этот Ставрогин. «Ледяной сластолюбец варварства» (как выразился Томас Манн по другому поводу и о другом человеке), маменькин сынок, богач и красавец, которого обступили женщины, – он никого не любит, ни в ком не нуждается. В сфере усреднённого сознания, какую репрезентирует условный рассказчик, этот демон просто не помещается.

Напрашивается другая аналогия, и, быть может, здесь приоткрывает себя тайна принципиальной амбивалентности замысла, амбивалентной психологии самого писателя. Ставрогин, чья фамилия образована от греческого слова, означающего крест, Ставрогин с бесами – зловещая трансвестития Христа с учениками, роман – негатив Евангелия.

10

Можно сколько угодно «актуализировать» этот роман, отыскивать параллели и дивиться прозорливости автора, якобы угадавшего все беды двадцатого, а теперь уже и двадцать первого века, – бессмертие Достоевского и бессмертие «Бесов» – не в долговечности его прогнозов, а в долговечности искусства.

С тем же правом, с каким мы говорим о торжестве художника, можно говорить о поражении национального мечтателя, православно-христианского идеолога, почвенного мыслителя и своеобразного консервативного революционера (вспомним публицистов так называемой Консервативной революции в Германии 20-х годов – как много у них общего с Достоевским).

Это поражение, этот крах – сам по себе есть пророчество, негативное пророчество, над которым можно было бы крепко задуматься, если не терять головы. Можно было бы поразмыслить и о той доле идейной *вины*, которую несёт Достоевский, чьё исступлённое народопоклонничество, проповедь всемирно-очистительной миссии России, величия мужика Марья и т.п. опьянила русскую интеллигенцию, способствовала, вопреки ожиданиям писателя, сочувственному приятию радикально-освободительной идеи, приуготовила интеллигенцию к революционному самопожертвованию и самоубийству.

11

«Нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжного – выше европейской бесконечно. На преступника смотрят христиански...»

Письмо Аполлону Майкову от 18 февраля 1868 г. написано по частному поводу: речь идёт о недавно учреждённом в России на западный манер суде присяжных. Этот повод «Зарубежные записки» №3/2005

становится исходным пунктом для широковещательных обобщений. «Но одна вещь, – продолжает Достоевский, – как будто ещё и не установилась. Мне кажется, в этой гуманности ещё много книжного, либерального, несамостоятельного... Наша сущность в этом отношении бесконечно выше европейской. И вообще все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие – вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно, чтоб *политическое право* и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно».

Какой горькой насмешкой звучит это сегодня – вся эта провалившаяся футурология, догмы крайне сомнительного вероисповедания, выстраданные и вымечтанные пророчества. Утрированная народность (все беды – результат отрыва от почвы), национализм с его логическим следствием – ненавистью к инородцам, этим врагам России, – ненавистью, которая так трогательно уживается с проповедью христианской любви и смирения, с верой в добро и всеобщее братство. Великая спасительная миссия нашей страны, перст, указующий всему миру путь очищения от скверны...

Пафос иных страниц «Дневника» и журнальных статей, обезоруживающая откровенность некоторых – впрочем, не предназначенных для обнародования – писем к жене из Бад-Эмса, писем к Пуцыковичу, к Победоносцеву, к корреспонденту из Черниговской губернии Грищенко, омерзительное (иначе не скажешь) письмо к певице Юлии Абаза. Читать их стыдно. Приводить выдержки не поднимается рука. Да, мы слышим в них голос самого Фёдора Михайловича Достоевского. В конце концов это голос человека «как все», человека своего времени, выходца из мещанской среды. Голос человека, прожившего страдальческую жизнь в мире, где за сто с небольшим лет после его смерти всё перевернулось, изменилось самым непредсказуемым образом, в стране, которую после всего, что произошло, он бы не узнал, перед которой, быть может, ужаснулся бы. И, между прочим, человека, жившего в эпоху до Освенцима. Вместе с ней навсегда угас и этот голос. Но не голоса сотворённых его фантазией литературных героев.

12

Что значит – «в меру»? Название написанной в 1946 году в Калифорнии статьи Т. Манна «Dostojewsky mit Maßen» в русском собрании избранных произведений Манна (1961) переведено так: «Достоевский – но в меру». Боюсь, что это «но», отсутствующее у автора, может ввести в заблуждение. Заголовок оригинала двусмыслен. Он может означать: с чувством меры, не впадая в крайности. Но можно понимать его иначе. С той мерой, какой надлежит мерять Достоевского, по тем критериям и масштабам, какие достойны его гения.

ДВА ЭССЕ

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Это если постоять на Малой Морской у дома Чайковского, посчитать окна Пиковой дамы. 66 ровно.

«...И взошел в ярко освещенные сени». Не знаю, не знаю – старуха была скупа – ну канделябр – ну два канделябра. Как бы то ни было, факт, что попадаешь в пространство именно тусклое, даром что электричество – штука безусловно посильней свечного сала. Обступающие поверхности – сверху, снизу, со всех сторон – столь убоги, что не выдерживают человеческого взгляда, и раскрашены так, чтобы не оставалось ни малейшей надежды. А впрочем, надо еще преодолеть турникет. «Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его».

Поликлиника, поликлиника. На двух этажах – два коридора насквозь. Дюжины три дверей. Без сменной обуви категорически. Между прочим, забора крови сегодня не будет. Не больно-то и хотелось. Перепишем со стены полезные советы – «Как жить, чтобы не болеть»: «Во-первых, избегайте стрессовых ситуаций, насколько это возможно...»

Это вывешено возле кабинета кишечных инфекций. А Германн, на свою беду, свернул в другое крыло – где принимают терапевты и ревматолог.

Непонятный человек. Или, скажем так, неудобопонятный.

К тому же страшно нетипичный. Потому что чертовски богат. То-то и водится с конногвардейцами, с Нарумовыми да Томскими.

Почти что Монте-Кристо: носит при себе сорок семь тысяч целковых одной бумажкой. Офицеров с такими деньгами в вооруженных силах Николая I было, думаю, очень немного. Полковые командиры, в чинах генеральских, получали от силы тысяч пять в год. А Германн, небось, – инженер-подпоручик. Как Достоевский.

Как Достоевский, который молил опекуна присылать ему хотя бы десять рублей в месяц.

Про штатских вообще не говорю. Сделаться когда-нибудь столоначальником и зашибать тысячу в год было для канцеляриста Гоголя сияющей мечтой.

А тут – полста тысяч! Пушкин сам-то такого нала не держал в руках отродясь.

За границей Герцен, владея почти такой же точно суммой (выгодно вложив ее в разные акции), спокойно содержал семью и революцию. Потому что курс рубля начал падать только в конце 60-х (когда Салтыков и предсказал, что скоро за рубль будут давать не пять франков и не три, а прямо в морду).

Спрашивается, кто мешал г-ну Германну репатриироваться на историческую родину, приобрести недвижимость и надежные ценные бумаги? А не то, наоборот, в России немножко еще послужить (например, на строительстве магистрали Петербург-Москва), выйти в обер-офицеры, дворяне и баре, купить именье и спокойно повышать производительность крепостного труда?

Ведь он же не честолюбец и не утопический филантроп. Деньги для него – воплощают всего лишь личный покой.

«Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

(Уже бродят в мыслях: и тройка, и семерка; покой, конечно, – туз.)

Желает монетизировать свою будущность. Обустроить единоличный пенсионный фонд. Ради чего расхаживает зимой в одном сюртуке и отказывает себе в бытовых удобствах. Как вульгарный жадина. Торопливый. Неразборчивый. Готовый на подлость. Или на две – например, не только сыграть в карты без риска, но и сделаться ради этого любовником восьмидесятисемилетней старухи. Даже на три: скажем, завести романчик с девицей, чтобы проникнуть в чужой дом, – а в случае чего, ее же и подставить – типа я не вор, а мне назначено свиданье.

То есть знакомую нам всем нормальную хроническую тревогу человека без денег Пушкин передал человеку при деньгах.

И этот-то человек – не в проигрыше, не в несчастье, вообще отнюдь не на краю – валяется в ногах у чужой тетки, произнося такие слова: умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, – всем, что ни есть святого в жизни... не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Тут подлость, как это с ней бывает, впадает в пошлость. До правнуков, кажется, и Чичиков не доходил. Не говоря уже о том, что его афера несравненно смелей и остроумней. Зато и бизнес-план в абсолютных цифрах скромней.

Хотя и Германн, в сущности, плавает мелко. Подумаешь, 700 процентов. Прибыль, спору нет, знатная. Но как-то не впечатляет. Эффект – это когда не было ни гроша, да вдруг миллион. А сделать из 47 тысяч – 376, – при капитализме (даже слаборазвитом) не такой уж фокус, чтобы из-за этого обнажать ствол, падать в обмороки, смотреть кошмары.

Но фараон или, допустим, штосс – это вам не рулетка. Сорвать банк, поставив какой-нибудь пустяк, – не получится. В трех талиях максимальный для понтёра результат – эти самые 700 процентов, или «сетельва» (sept-et-le-va). Чтобы игра стоила свеч (чтобы, значит, все столпились вокруг стола и затаили дыхание), Пушкин должен был сунуть в карман герою банковский билет на первый куш.

И преплоский оказался бы анекдот, не сойди герой с ума.

Да только он не сходит. Он болен уже на первой странице. В «Пиковой даме», назло модным ужасикам, над которыми повесть смеется, – безумие не подслащено, не подсвечено мелодрамой (почему Петру Чайковскому и пригодился Модест).

Самое важное случается не в игорной зале. И не в спальне графини (где ревматолог). А в темном кабинете (где терапевт): помните, Германн там стоит, прислонясь к холодной печке?

На витой лестнице (ведущей в стоматологию) и в комнате Лизаветы Ивановны (гинекологический кабинет).

Внезапная фраза – переворачивающая сюжет и сердце! – «Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал»!

Их разговор при догорающей свече.

И как он поцеловал ее наклоненную голову.

Спустился по витой лестнице, отпер боковую дверь, вышел на поперечную улицу.

Эта дверь теперь укреплена раздвижной стальной решеткой.

А улица – Гороховая. В ста шагах разместилась ЧК. С ненормированным рабочим днем. Городской транспорт практически не действовал. Сотрудники питались и освежались сном прямо в учреждении. Понадобилось, предполагаю, что-то вроде ведомственной гостиницы. Отчего бы и не к покойной Даме пик? Только обои ободрать да мебель изрубить. (Участь ковров гадательна.) Когда благосостояние конторы возросло, передала здание на милицейский баланс. И стала из спецобшежития – спецполиклиника.

В конце одного коридора – старинный столик, на нем зеркало. И на площадке парадной лестницы – тоже зеркало, громадное, в раме со следами позолоты. Такие же следы – на перилах. И на двух-трех красного дерева филенчатых дверях – резьба: длинные стебли, круглые цветы.

Остальная обстановка – без качеств, поэтому не поддается эпитетам. Только страшно не хочется, чтобы вечность выглядела именно так.

Пространством называется то, что окружает тела. Временем – то, как они исчезают.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ

Вот и с Башмачкиным известное несчастье случилось тоже на Сенной. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечную площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». Другой такой петербургской картинке на бегу от центра к окраине больше нигде было увидеть в том столетии: точно – Сенная! Так что будьте осторожны, водители автомашин, миновав эту площадь: в переулках, разбегающихся от Садовой улицы к Фонтанке и Мойке, а также и на набережных каналов – Екатерининского и Крюкова – не вздумайте тормозить, если в зеркале заднего вида вдруг покажется, страшно приблизившись, бледное, как снег, несчастное лицо. Не тормозите и ни в коем случае не приоткрывайте дверцу. Жмите, наоборот, на акселератор, или как он там у вас называется. Потому что в этих местах обитает городское привидение – Маленький Человек. Он попытается, пахнувши на вас могилою, завести такую речь: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» В этом случае улепетьвайте, не отвечая, не оглядываясь. И сразу же, сразу же позабудьте то ужасное, что он прокричит вам вслед, эти роковые четыре слога...

Дело в шляпе

На самом-то деле не надобна ему наша верхняя одежда. «Шинель» – это так, для завязки разговора, вроде как пароль. Так уж получилось, что Маленький Человек при первом своем появлении в нашем городе (вернее – в нашем уме) выпал, с позволения сказать, из шинели:

Итак, домой пришед, Евгений

Стряхнул шинель...

Дело было 6 ноября (1824) – то есть в такое время года, что и по новому стилю холодно. А вообще-то главный аксессуар Маленького Человека – отнюдь не шинель. Есть в его обиходе предмет гораздо необходимей, отсутствие которого – сигнал бедствия, социального либо стихийного:

...Он не слышал,
 Как подымался жадный вал,
 Ему подошвы подмывая,
 Как дождь ему в лицо хлестал,
 Как ветер, буйно завывая,
 С него и шляпу вдруг сорвал...

Прибавив незабываемое деепричастие «пришед», получаем словесный портрет Маленького Человека, позволяющий опознать его на любой старинной литографии: это пешеход в шляпе. Тот, кто, подобно абсолютному большинству, передвигается по стогнам столицы в любую погоду не иначе как на своих двоих, – но выделяется из толпы головным убором: это не фуражка, тем паче не картуз, и Боже упаси – не шапка.

В шапках щеголял в XIX веке так называемый народ, на первых порах отличаясь от Маленького Человека также и тем, что не возбуждал в литературе сострадания. Когда Александр Башуцкий, первый русский социолог (между прочим, камергер и действительный статский советник) напечатал (1842) очерк, в котором намекнул, что разносить воду по петербургским квартирам – ничуть не легче и не прибыльней, чем, например, переписывать канцелярские документы, и, если вдуматься, оброчный крестьянин, занятый подобным бизнесом, влачит еще более печальную жизнь, чем какой-нибудь

Акакий Акакиевич, – социолога распек не только Бенкендорф, но и сам Белинский! Нечего, мол, выдавать правду факта за правду жизни. И вообще – с чего вы взяли, будто человеку в шапке бывает больно существовать?

«Может быть, в Петербурге и найдется один такой водовоз-горемыка, какого описал автор; но в каком же звании не бывает *горемык*? – А между тем никто не скажет, что каждое сословие состоит из одних горемык. Автор описывает водовозов хилыми, хворыми, бледными, больными, искалеченными. Мы, тоже имевшие и имеющие с ними дело, подобно всем петербургским жителям, привыкли видеть в водовозе мужика рослого, плечистого, крепкого, для которого лошадиная тяжесть – нипочем... Не бойтесь за него, видя, что он всегда на воздухе, на холоду, на сырости: оттого-то именно он в 80 лет и будет здоровее, чем вы в восемнадцать... Не приходите в ужас, видя, что он живет в такой конуре, где у вас закружится голова и жестоко оскорбится обоняние: это его вкус, его привычки; дайте ему пожить в ваших великолепных комнатах только три дня – он сделает из них свой подвал... Водовоз много и тяжело трудится: да кто ж мало и легко трудится? Уж, конечно, не я, бедный рецензент...»

Тут не без лукавства: в действительности русская литература давно уже открыла именно сословие горемык – и олицетворила его в Маленьком Человеке. И облила его первыми слезами гуманности: бедный, бедный мой Евгений! низенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»...

Переписывающее существо

Место жительства и род занятий?

– Живет в Коломне, где-то служит...

В смысле – переписывает бумаги. Копирует. Размножает.

То есть тоже трудится, и много – часов шесть в день, а то и восемь.

Государство требует от него чистописания и прилежания, ничего больше, – а взамен наделяет правом носить шляпу, каковой головной убор обозначает обладание личной честью, то есть как бы девиз – не тронь! не смей сказать мне: ты! а тем более – ударить! ни-ни!

В России такая привилегия, пожалуй, дороже самой жизни. Поэтому зарплата к ней прилагается почти символическая – сущие гроши. Конкретные цифры, впрочем, варьируют: Башмачкину платят в год четыреста рублей или около того, Девушкину в «Бедных людях» – что-то такое шестьсот, Мечтателю в «Белых ночах» – тысячу двести, – в общем, на уровне прожиточного минимума.

Конечно, это как посмотреть. Для водоноса это деньги огромные. Но водонос-то ходит зимой в трехрублевом зипуне, а чиновничью шинель меньше чем на восемьдесят не построишь. Положим, зипун или там тулуп гораздо теплей, но в зипуне – какая вам честь? натягивайте тогда уж и шапку и падайте, падайте, куда жутко и взглянуть – обратно в бессмысленную массу; будете, как тот, в изношенном картузе, бедолага, у которого утонула в наводнение невеста:

... ни зверь, ни человек,
Ни то, ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Нет уж! Лучше смерть. Поэтому Маленький Человек – невольник формы.

Собственно, за эти-то муки литература и полюбила его (а он ее – за состраданье к ним): беден, как народ, а притом наделен сознанием – хотя бы сознанием собственной бедности. Выводит, несчастный, следствия из причин: типа того, что и невеста не просто так утонула – Бог дал, Бог взял, – а в результате внешней политики Петра I.

И некуда ему, прозябая в нищете, девать свою грамотность, и пресловутое чувство чести, да и просто – свободное время.

После службы валяется в коммунальной своей конуре – на пятом каком-нибудь этаже – на турецком так называемом диване – клеенчатом, красноватом, в зелененьких цветочках, – и мечтает, представьте себе... о крестовых походах или о дружбе с Гофманом; «об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного» и прочий вздор. Собственно говоря, не мечтает, а фантазирует. Сочиняет в уме. Сам себе телевизор.

В хорошую погоду бродит по городу, разговаривает с домами. «Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!..»

Всегда одинок, и всегда один; а если как-нибудь случайно и познакомится, предположим, с девушкой, то непременно с падшей, либо, так сказать, падающей, – и ринется спасать и жертвовать собой, – и, разумеется, выйдет конфуз, и много горя от благородства, и в эпилоге – пронзительный аккорд: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

А жениться нельзя, никак невозможно: во-первых, не позволяет честь, во-вторых – бюджет, в-третьих – начальство.

И не только при зловещем Николае Палкине, но даже и в эпоху великих реформ, при Александре Освободителе:

«– Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» – «Двенадцать рублей в месяц». – «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» – «Нет, ваше превосходительство». – «Так это вы нищих плодить собрались? – закричал директор. – Ни за что не дам свидетельства на женитьбу... Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять!..»

Постскриптум

Такое странное существо, как Маленький Человек, могло возникнуть не иначе, как из петербургских туманов...

Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев – пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника – говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила – спи покойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.

После изобретения пишущей машинки Маленький Человек не то что сошел на нет, а как бы растворился в городской толпе, стал жить, как все. Последний раз он явился в литературу даже под женским именем: Софья Петровна: в истории про то, как у машинистки издательства был сын, единственный и любимый, восемнадцатилетний, – а в 1937 его посадили в тюрьму (естественно, за терроризм – за намерение убить Великого Вождя). И как она, в точности наподобие Акакия Акакиевича, обивала пороги значительных лиц...

Есть, говорят, где-то под Токсовом огромный полигон для корабельной артиллерии. Необозримый такой пустырь, по которому десятки лет подряд чуть не ежедневно бьют из всех калибров. На пустыре зарыты многие тысячи расстрелянных. И при каждом разрыве снаряда взлетают в воздух человеческие кости.

И там якобы тоже является иногда Маленький Человек: мечется под огнем, выкликает свою невнятную нелепицу. Все те же четыре слога: *у-жо-те-бе!*

ТЕРРОР – ОРУЖИЕ ПРОИГРАВШИХ

Брижит Бардо оштрафовали за то, что она публично призвала иммигрантов не мочиться на стены архитектурных памятников... В парижском метро подростки из мусульманских семей безнаказанно хамят парижанам... Из рождающихся в сегодняшней Франции младенцев лишь каждый третий француз... Первой красавицей Финляндии избрана чернокожая девушка... Финская полиция немедленно выезжает разбирать детскую ссору, если в ней участвует «цыганенок»... Литературное жури присуждает премию гею за роман о страданиях геев... Целование рук американки считают публичным оскорблением... Стоит сказать о себе «я – русский», как либеральная публика интересуется – «Вы антисемит? Или, может, татар не уважаете?»... Считается «недемократичным» снимать сложное кино...

И главным результатом всего (еще не всего!) этого коктейля, полностью опубликованного в «Литературной газете», кандидат философских наук, культуролог Анна Яковлева объявляет «террористическую альтернативу» – «толерантность без берегов спровоцировала террористическую войну»: «Безграничная терпимость к грубому вторжению в нашу жизнь иного ее образа, иных моральных установок (ловко закамуфлированных под религиозный фанатизм) лишь провоцирует нарастание агрессий».

От разнородных фактов настолько рябит в глазах, что прямо не знаешь, с какого начать. Чернокожая «мисс Финляндия»? Но мулатки и в самом деле бывают невероятно очаровательны. А если люди с темной кожей попутно почувствуют, что в доминирующей культуре уважаются (с изрядной долей коррекции) их стандарты красоты, у них станет одной причиной меньше ненавидеть эту культуру (а стало быть, и поддерживать террористов). Зато на тему «финны и цыгане» мне довелось приобрести менее безоблачный маленький опыт.

Сияющий вокзальный буфет с благопристойной очередью в четыре-пять приличных господ. Вдруг через чистенький зальчик решительной походкой шагают два молодых разухабистых брюнета и, не обращая внимания на очередь, что-то требуют у накрахмаленной буфетчицы, а затем вступают с нею в затяжные препирательства. Наконец какой-то мужчина не выдерживает и делает им (выдержанное) замечание. Они, словно того и ждали, разом обращаются к нему в явно угрожающем тоне, сунув правую руку в карман, как это делалось в североказахстанском шахтерском поселке моего детства. Мужчина сначала мнетя, а затем, опустив глаза, и вовсе оставляет поле боя; за ним торжествующе удаляются и нарушители спокойствия.

«Цыгане, – мрачно объяснил мне мой молодой приятель-финн, открыто называющий себя националистом. – Они всегда руку в кармане держат, никто не хочет с ними связываться...» – «Хозяева жизни?» – подначил я, но он не пожелал говорить о святом в легкомысленном тоне.

– Какие они хозяева – они не представлены ни во власти, ни в бизнесе, ни в культуре. Бытовое хамство – все, что им остается. Вот кто представлен – непропорционально представлен! – так это шведы. В быту они милейшие люди – ни алкоголиков, ни хулиганов. – А в политике, в бизнесе они доминируют. По крайней мере, их там намного больше, чем в населении. Даже знание второго государственного языка, шведского, им помогает». – «А в культуре?» – «В культуре они тоже заметно представлены, но о культурном доминировании речь не идет. А остальное мало кого волнует. Ведь самое

мучительное – это культурное унижение, а этого они всячески избегают, всегда подчеркивают: мы один народ...»

В его голосе прозвучало явное недовольство, что такой простой прием оказывается настолько эффективным. А мне снова вспомнилось детство: «хлебный», неизменная давка у прилавка – и сквозь как по волшебству расступающуюся толпу к прилавку проходят два ссыльных молодых ингуша. Народ безмолвствует.

В ту пору я ничуть не сомневался, что они и есть хозяева жизни. Лишь через много лет до меня дошло, что как индивиды они доминировали в бытовых столкновениях, но как народ не могли соперничать с русскими ни в административной, ни в культурной, ни в военной сфере: их только что насильно привезли к нам в товарных вагонах, и, пожелай власть, могли бы снова вывезти куда вздумается.

В городке у нас жили и казахи, и те во власти были представлены – в райкоме, – но более нигде: ни среди инженеров, ни среди учителей их почти не было. Тройка-четверка евреев целиком входила в инженерско-учительскую элиту, но заметного лобби там составить не могла, во-первых, из-за своей малочисленности, а во-вторых, из-за отсутствия каких бы то ни было отдельных интересов. Высокопарно выражаясь – из-за отсутствия собственной культуры, то есть системы коллективных грез о каком-то особом месте в мире, о какой-то особой миссии... Если тамошние евреи о чем-то и грезили, то разве лишь о том, что они такие же советские люди, как все прочие. И вообще нации отмирают. Только что-то уж очень медленно. А то в компании у какого-то нечаянно сорвется слово «казах», и все невольно покосятся на какого-нибудь Айдарбека, и тот, залившись краской, опустит глаза... Слово «еврей» случайно сорваться не могло – слишком уж грубым оскорблением оно служило.

А потому и невинное слово «русский» вызывало некоторое напряжение среди тех, кто был лишен возможности с таким же спокойствием и достоинством указывать на свою национальность. И те народы, чьи имена десятилетиями, если не веками, могли служить оскорбительными кличками, боюсь, еще очень долго будут с подозрением выискивать тайные мысли, с которыми народы-гегемоны произносят свое формально нейтральное имя. Ведь никто не воспринимает слова «я – швед», «я – немец», «я – русский» как бесцельную информацию типа «я – Иванов»: слова всегда интерпретируются в контексте каких-то социальных ожиданий. И пока эти ожидания негативны, болезненны, наверно, лучше и впрямь, если нет особой нужды, избегать подобных констатаций. Разумеется, это не предполагает отказ от любви к своему народу и гордости за его свершения, как того требуют либеральные господа Лебезятниковы, но ведь, и гордясь своими близкими, мы избегаем объявлять во всеуслышание «Моя жена красавица» или «Мой сын гений», мы щадим чужие иллюзии – в надежде на то, что в ответ будут щадить наши. А национальные иллюзии – это и есть то главное, во имя чего гремят взрывы и льется кровь.

По этой же причине не стоит обращаться к целой национальной группе с призывом не свинячить. У либерализма при всех его идиотизмах есть одно хорошее качество: он не допускает коллективной вины. И если бы в какой-то национальной группе даже 99 % мочились на чужие святыни, обвинять их все равно можно было бы только по отдельности, на основании точно установленных фактов. Это, кстати, каждому может пригодиться: несколько лет назад один израильский министр позволил себе вслух упомянуть о повышенном проценте проституток и воров в «русской алии» – и получил из газет страшную головомойку. И поделом.

Так что если подростки из мусульманских семей хамят парижанам в метро, привлекать к ответственности их возможно тоже только по отдельности, да и то лишь тогда, когда хамство перешагнет уголовно наказуемые границы, увы. До тех же пор парижанам остается утешаться тем, что папы и мамы этих юных хамов обслуживают тех же самых парижан на каких-то непрестижных, низкооплачиваемых, опасных работах. А завтра этим займутся и сами хамы. Ибо всем осведомленным людям хорошо известно, что без притока иммигрантов с их повышенной рождаемостью Европа существовать не может. По крайней мере, не снизив, и весьма существенно, жизненные стандарты, а об этом никто из политиков не смеет и заикнуться.

А между тем продолжительность жизни растет, рождаемость падает, – число пенсионеров, приходящееся на одного работающего, опережает рост производительности труда, но рост appetites опережает и то, и другое. Так что те два младенца-«инородца», приходящиеся на одного младенца-«француза», оказываются едва ли не последней надеждой либеральной Европы. Вот только почему первые двое не французы? (Кстати, точны ли эти цифры?) Каждый народ ассимилировал в себе огромное количество племен и народностей, и процессу этому не видно конца. И эти двое сделаются французами по культуре (обновленной, вобравшей в себя новые элементы, как уже не раз бывало), если только им будут пореже намекать, что они не французы. Ассимиляция лучше всего проходит не через открытый нажим, а через соблазн. Ассимилируемым нужно раскрыть все мыслимые пути для интеграции в европейское общество, и если даже на протяжении одного-двух поколений придется кривить душой, все равно необходимо всеми доступными средствами чаровать их коллективной иллюзией «Мы один народ». Ибо только этой иллюзией создаются и сохраняются народы. И слияние народов есть прежде всего слияние их грез.

А.Яковлева глубоко заблуждается, полагая, что терроризм порождается попустительством, – нет, терроризм порождается отчаянием, страхом за распад той картины мира, всегда иллюзорной, в которой каждая вера, каждый народ представляется себе красивым, уважаемым и бессмертным. А.Яковлевой кажется, что терроризм – это экспансия, месья другим за то, что они живут по-другому. Но на самом деле терроризм – это не наступательные, а арьергардные схватки разгромленной армии. Исламский мир, а в особенности арабский, имеющий за плечами действительно великое прошлое – великие территории, великую науку, великое искусство, – проиграл международные состязания во всех видах и жанрах. В последние века экспансией занимался и занимается именно Запад; но если раньше это были прямые колониальные завоевания, то сегодня это главным образом экономическое, культурное воздействие. Коммерциализация, индивидуализация жизни неуклонно размывают все традиционные коллективы и святыни, и было бы странно, если бы те в ответ не выстраивали оборонительных тоталитарных утопий, кажется, первая из которых была с гениальной силой разработана Платоном в ответ на либерализацию афинского общества.

Мы должны понимать – террор отвечает не на слабости, не на поражения, а на силу, на победы либерализма, террор свидетельствует о кризисе не либерализма, а традиционализма. Террор – реакция проигравших на превосходящий авторитет Запада в военной, экономической, культурной, мифотворческой, досуговой – да, пожалуй, и во всех прочих сферах, исключая разве что парижское метро: не надо думать, что тот, кто хамит, и есть победитель. Что, наша шпана главнее президента? И толерантность по отношению к проигравшим, быть может, если и провоцирует бытовое хамство, то во всяком случае разряжает политический экстремизм, а вестернизированный хам все-таки гораздо лучше, чем благородный убийца. На чем-то же и проигравшим надо оттянуться! А, покуражившись, подавляющее их большинство (хотя, увы, и не все, но ищем-то мы не совершенства, а наименьшего зла!) впрягается в семейную лямку и через одно-два поколения превратится в тех же французов, только личиком приятно смуглявым, как и мечталось Макару Нагульнову. И если даже французская культура что-то потеряет в манерах – не беда, если этим будут спасены тысячи жизней.

Перевербовывать побежденных – вот главная сегодняшняя задача либерального Запада. А усиление жестокости по отношению к ним – драгоценнейший подарок их собственным экстремистам: уж те-то первыми ринутся на помощь униженным и оскорбленным агонизирующим иллюзиям. А им навстречу ринутся наши экстремисты – и пошла потеха: на исламский фашизм ответим французским, немецким, русским фашизмом!

Не будем забывать, что и фашизм – оружие проигрывающих, утративших возможность защищать себя иными средствами, кроме как физически уничтожить или хотя бы дискредитировать источник соблазна, а у нас, слава богу, нет никаких серьезных оснований считать себя побежденными. Или нас тоже соблазняет намаз и обрезание, а наших

женщин чадра? Сегодня на Западе, а стало быть и в России, есть множество людей, испытывающих ужас перед «поднимающимися», «пассионарными» народами, а именно ужас и является главной причиной всех безумств и зверств. Поэтому перепугавшихся нужно всемерно успокаивать подробными разъяснениями, что речь идет, напротив, об «опускающихся» народах. Что же до их «пассионарности», то есть поглощенности какой-то великой грезой, то ее лучше всего характеризует русская пословица: бодливой корове бог рогов не дает. Чтобы составить Западу серьезную военную конкуренцию, «пассионариям» пришлось бы отказаться именно от того, что они защищают – от грезы, – и сдаться именно тому, что они ненавидят, – рациональности. После чего исчезнет и главная причина ненависти.

Террор – это попытка побежденных спровоцировать победителей на масштабный ответ, чтобы этот ответ удесятирил, утысячерил число обиженных, а стало быть, и удесятирил, утысячерил ту армию, на которую и рассчитывают экстремисты. Поэтому всякая эскалация ответного насилия – долгожданная вода именно на их мельницу. А потому сегодня как никогда актуален завет Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят как за большие; но если все-таки хочешь обидеть, обижай так, чтобы тебе уже не могли ответить. Те, кто хочет всего только «усилить жестокость» по отношению к неприятным чужакам, должны понимать, что полумерами они не отделаются, – очень скоро от них потребуются какое-то «окончательное решение»: сначала гетто, затем концлагеря, затем... Но если бы даже безвестный безумец решился на нечто подобное, «устраняемые» и их союзники все равно бы ему этого не позволили.

Путем взаимной стимуляции экстремисты обоих станов довести до мировой войны сегодня могут очень легко – до войны, в которой будут только проигравшие. И все истерики ведут именно туда.

* * *

Уж с каким наслаждением и сколько критических стрел я выпустил по непробиваемому либеральному ханжеству и непрошибаемому либеральному идиотизм..., догматизму, и с каким удовольствием и сейчас поддержал бы А.Яковлеву в ее протесте и против либерального выравнивания всего и вся, и против либерального заискивания нормы перед аномалией, сложности перед простотой, но в коктейле Яковлевой, как это постоянно бывает, дельное настолько перемешано со смертоносным, что до дела руки снова не дошли.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ПЛАТОН ЕЛЕНИН, ИЛИ О КАПРЕАЛИЗМЕ

**ЮлийДУБОВ. «Меньшее зло». Роман.
Москва, изд-во Колибри, 2005.**

Просматривая «Меньшее зло» Дубова, не мог отделаться от стойкого ощущения «дежа вю». Что-то эта книга мне напоминала, читанное-перечитанное. Потом понял: да это же «Повесть о настоящем капиталисте!». Кто денно и ночью печется о благе России и, в отличие от зловредных чекистов, готов положить на алтарь отечества душу и сердце? – Олигарх Платон! Кто умеет нежно и возвышенно любить и ради любимой может пойти на все? – Он же! А у чекистов жены пачками вешаются, а им хоть бы хны! Кто к товарищам милует людскою лаской, а к врагам встает железа тверже? – Олигарх Ларри! На смену кавалерам “Золотой Звезды” и секретарям парткомов пришли новые герои-олигархи, иногда просто сменив таблички на дверях служебных кабинетов. И тут становится понятно: «Меньшее зло» – удачная пародия на советские производственные романы. Хотя, конечно, вся эта повесть не стоит финала «Большой пайки»: толпа трудящихся встречается на вокзале вернувшегося из эмиграции олигарха, тот залазит на «мерседес», «И такую я тут, батенька, архи... понес!».

Читайте «Меньшее зло» – очень смешная книга!

Игорь Андрианов

«СВОБОДА СОВЕСТИ В БЕССОВЕСТНОЙ СТРАНЕ»

Нужен ли *Крещатик*? Чем он отличается от других бесчисленных литературных журналов русской ойкумены?.. В советское время их было не больше ста по обе стороны Атлантики. Блаженные годы! Всё-то тогда было ясно...

Крещатик – журнал всемирный, а не украинский, то есть именно ко всей русской ойкумене обращен. Это уже неплохо. В духе времени. С прицелом на единое информационное пространство... К тому же – толстый журнал. К тому же составляется в Германии, где по-русски читают сегодня, худо-бедно, пять миллион человек (впрочем, печатается в Питере, а распространяется в России, на Украине – повсюду). *Крещатик* не платит гонорары, то есть его авторы *служат* литературе (или чему-то еще) совершенно бескорыстно. Сплошные плюсы! А сверх того – журнал не является кружковым, эстетически всеобъемлющий, открыт для всех, – с единственной оговоркой: нацелен на то, чтобы дать небольшую фору литературному захолустью. Опять замечательно! При сегодняшнем

рассеянии иначе нельзя. И раньше нельзя было. Провинцию слишком долго держали под башмаком. Тут, между прочим, и ключ к названию. Журнал затеян выходцами с Украины, где и в советское-то время непросто было прослыть русским писателем. Всё талантливое и пробивное стягивалось в Москву и на берега Невы. А непробивное? Сколько дарований похоронила центростремительная система, душившая провинциальную жизнь? При беглом взгляде – одного Чичибабина видишь да прозаиков-деревенщиков, по большей части совсем не бесспорных...

Но наши недостатки суть продолжение наших достоинств.

Отсутствие вознаграждения отталкивает профессионалов. Рафаэль, Микеланджело и Бенвенуто Челлини не за прекрасные глаза свои шедевры создавали. Не будь у итальянцев жажды прекрасного и готовности платить за него – не было бы Ренессанса.

Провинция родит таланты (вспомним Одессу начала двадцатого века), провинциальность *бывает* плодотворна, – но провинциальная жизнь не способствует становлению таланта. Алмаз сперва гранят, мытарят, а затем выставляют на суд знатоков, оценивают, ценят. Без этого он себе не равен. В сегодняшней русской глубинке таланту немногим легче, чем при Брежневле. Одно утешение: самиздат стал всемирным благодаря Интернету. Но лучшие авторы *в массе своей* – всё равно не в Тамбове, а либо в благополучных странах, либо в российских столицах, бывшей и теперешней.

Эстетическая широта мила разуму, но не сердцу. Авангардист и консерватор за один стол садятся неохотно. Попытка отразить все течения делает журнал аморфным, никаким. Да и что такое «все течения»? Их львиная доля высосана из пальца. Человек-то меняется медленно, его подлинный эстетический запрос, голодом и иными нуждами не подкрепленный, не ждет, не жаждет нового -изма или новой формы каждые пятьдесят лет. Новые течения приходят с Запада, который для россиян то прогнивший, а то и передовой. Что Запад по части эстетики – в чудовищном, небывалом тупике, открывающие его россияне не видят. Все художественно подлинное на Западе задвинуто в дальний угол, в арьергард. На поверхности – мыльные пузыри в духе художницы Трэйси Эмин, выставившей в галерее Тэйт свою разобранную кровать после ночи любви. Молодой человек, у которого шевельнулось под сердцем слово, сознает это. Если его цель – слава и благополучие, а не искусство, он отыскивает себе доцента в престижном университете, уже пасущего свое небольшое стадо поэтов или прозаиков, и начинает писать под его, доцента, -изм, – а тот знай себе монографии выпускает. Все довольны и сыты. Россияне уже переняли этот опыт.

Именно об этом думаешь, перелистывая *Крещатик*. Вот готовое произведение под названием *Двойной свет*:

Бледнеет мир С незримых гор
 Меня Пронизывает Светом
 Который Свет И тот Сапгир
 Со мной Беседует Об этом

А вот другое:

Белый пепел поет на своем бэльканто
 Петел белый звенит
 И не жалко слушателей но музыканта
 жаль за то что закатанные в зенит

пусты глаза его той пустотою
 какая воспроизводит себя каждый вечер после семи
 исключая субботы и среды, время простоя
 зону отдыха Бога семьи

В первом *стихотворении* вы автора угадали, потому, что он, в лукавой предусмотрительности, ввел свое имя в текст. Во втором – и не пытайтесь, хотя это тоже известный “Зарубежные записки” №3/2005

покойник. Не пытайтесь потому, что на самом деле у таких *текстов* авторов нет, а в текстах – нет ничего авторского, творческого. Они неотличимы, какое бы имя под ними ни стояло. В первом *произведении* нам предлагают восхищаться *пробелами* между словами, прописными, поставленными некстати, отсутствием знаков препинания; во втором – *запятой*, сиротливой, как сапог на пашне, и прописной в обозначении не Бога, а языческого божка. Чем еще? Больше тут нет ничего. Перед нами подделки, к искусству отношения не имеющие.

А вот *текст*, выполненный в традиционной эстетике:

... Мой поезд стучал кирзачами колёс
по железнодорожному кругу,
и нёс меня, выл, матерился, но нёс.
Губой прилипал я к окурку.
И сплевывалось с выкриком в пустоту:
«Куда? Нет пути там! У края!»
Простукали Котлас, Инту, Воркуту
и тундру. И туча Урала...

Можно не продолжать. Это фрагмент длинной баллады, но она вся тут, как на ладони. Запятые на месте, а беда – совершенно та же, что у *новаторов*: словоблудие, клоунада. Имя таким текстам – легион. Сочинители забыли, что художественное произведение требует душевной работа, аскезы.

При этом вот что досадно. Добротные стихи и проза преобладают в *Крещатике*, но совершенно теряются на фоне парада бездарностей. Спрашивается: зачем всё это редактору журнала Борису Марковскому, который сам – одаренный поэт? Для представительности? Тогда игра не стоила свеч.

Вот парадокс! Журнал, созданный с самыми благими намерениями, с самыми благородными предпосылками, без тени коррупции, наоборот, выстрадавший самоотверженной работой редактора, воздвигнувшего этот монумент буквально на голом месте, журнал, в котором *много* настоящего, – производит самое неблагоприятное впечатление. Его демократичность чрезмерна, его неразборчивость простирается до промискуитета. Перед нами самиздат в худшем своем проявлении. Говоря словами Ходасевича, храм русской словесности превращают в дом терпимости.

Так нужен ли *Крещатик*?

Прежде, чем ответить, приведем стихотворение москвича Игоря Ботьчева:

Эпоха кончилась, эпоха умерла.
Ты проводил ее под ручку до угла,
Небрежно бросил на прощание *пока*.
Кто ж мог подумать, что вот это – на века.

Ты не любил ее. За пошлую тоску,
За прядку потную, прилипшую к виску,
За туфли сбитые, за мучениц-княжон.
Ты был эстет, ты был пижон, ты был смешон.

Она ушла, и не осталось ничего.
Ни от тебя, ни от нее, ни от кого.
Пустые рамочки на выцветшей стене.
Свобода совести в бессовестной стране.

Перед нами не шедевр, а просто честная поэтическая работа, но как это много! Живой звук, сопряженный с мыслью и движением нравственного чувства, – всегда подарок, всегда рукопожатие. Могли эти стихи попасть в другой литературный журнал?

Могли. В Москве дверей много; к какому-нибудь кружку Бобычев да примыкает, где-то да свой. Но попали они в *Крещатик*, и благодарны мы *Крещатику*. Если они нигде прежде напечатаны не были, они могли не сохраниться (вообразим такое), – при этом не то чтобы мир рухнул бы, а всё же мы с вами были бы беднее.

Самиздат вообще дал гораздо меньше, чем принято думать. Его значение не в шедеврах, которых он принес с гулькин нос, а в *живом демократическом осуществлении свободы слова*. И – «свободы совести в бессовестной стране». Времена сейчас на дворе в известном смысле не менее бессовестные, чем советские, и свободой стоит дорожить.

Что до шедевров, то с ними та трудность, что они видны не сразу и не каждому. Что если мы по небрежности, по неподготовленности – проглядели их в двадцати толстых книжках, выпущенных Марковским? Такое возможно. Тем самым и ответ получен. *Крещатик* – нужен.

Юрий Колкер

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера ночью, когда я пытался заснуть после тяжелого рабочего дня и половины таблетки снотворного, моя кровать превратилась в неопознанный летающий объект, комната сократилась до психологических размеров номера в безмянном мотеле, но без обязательной гидеоновой Библии для души и шапочки для душа. Мой дом превратился в карточный домик.

После моего исчезновения кожа осталась на полу спальни, светящаяся, как серебряный халат, растекшийся в лунном свете. Я молча последовал за своим котом, серым крупным зверем с мудрым непредсказуемым взглядом. Он знал и понимал абсолютно все, но величественно выказывал свое отношение лишь к ограниченному числу событий и явлений, будучи, впрочем, весьма склонен к тому, чтобы напускать на себя обличье послушного домашнего котика или пухлой старинной копилки. Так вот, вместе с котом мы нырнули в кусты.

Теперь подумаем: что все это значит?! Вот я стою перед вами, пытаюсь объяснить: мне некуда деться, мой дом превратился в карточный домик, мотель заколочен за неуплату налога, кровать моя летит в космосе на пути к некоей женщине, которая давно все это задумала, а кот научил меня таким вещам, о которых я раньше и не подозревал.

Тогда-то я и познакомился поближе с соседским котом, дымчатым гладким и упитанным субъектом с диковатым вертикальным проблеском в желтых зрачках. Давно, когда он был еще теплым урчащим комочком, соседка нашла его в коробке из-под обуви у задней, служебной двери пиццерии. Примерно в ту пору, когда я сошелся с котами и запропал, хозяйка дымчатого типа начала покашливать, быстро уставать, и от нее начал исходить необычный тревожный запах – с кислотным отголоском. Все соседские коты сразу уловили перемену. Такие вещи у них просто на кончиках усов. Мне этого пока не было дано.

Хозяйка стала плаксивой, легко впадала в истерику, по ночам она кричала на мужа, который все больше молчал. Лицо ее становилось бескровным, кончики пальцев – синеватыми. От котов я многое узнавал про людей, и теперь, взглянув на человека, могу ощутить дальний, зародышевый пульс его души. Я научился отличать запах селезенки и костного мозга. Много узнал я и о мышинных делах. У них нет правых и виноватых. Если мышей загнать в клетку на несколько дней без воды, сильные убивают слабых, выгрызают теменную кость и выедают серую кашицу мозга, чтобы добраться до влаги. Я знал, что самая большая концентрация жидкости в живом организме содержится в головном мозге. Мыши не в состоянии понять, почему они должны умирать от жажды.

Однажды ранним синим бездонным утром поздней осени хозяйка дымчатого кота исчезла. Муж увез ее в старом шевроле, сумка на заднем сиденье, набитая скорлупками из рецептурного отдела, соседствовавшими с лысоватой зубной щеткой и безразлично прохладным пластиковым прямоугольником с ее именем.

После исчезновения хозяйки дымчатый одичал, не находил себе места, рыскал по чужой территории, воровал остатки пахучего паштета из плошки нашего дородного кота, спал на нижней полке с мылом и антифризом, пробираясь через дыры и щели в подвале, о которых только мы с котами и знали. Подобные пакости он творил и у

соседей. Молчаливый сосед, вернувшийся без жены, тоже изменился, как-то затих, стал еще длиннее и сутулее, совсем превратившись в вопросительный знак. После вежливых, но настойчивых жалоб от соседей на своего кота, он увез его куда-то в том же синем шевроле с помятой задней дверью, и больше мы дымчатого никогда не видели. Соседский дом еще долго хранил теневые запахи пропавших обитателей, и их сын, наезжавший из музыкального училища, подолгу упражнялся на гобое. Звуки его стояли в затвердевшем ноябрьском воздухе, как ранний каминный дым.

После всех этих событий у меня больше не было сил существовать в сумеречной зоне кустов и подвалов, населенных мышами, котами, и ускользящими силуэтами, и по молчаливому неохотному соглашению с моим котом я решил вернуться. Он потом нередко подходил ко мне, когда мы оставались совсем одни, в гостиной или на кухне, клал лапы мне на колени, заглядывал мне в лицо, как старый товарищ по оружию, словно говоря: «А помнишь?».

Так вот, я бесшумно вошел в свою комнату, как будто ничего и не произошло. Серебряная кожа по-прежнему дремала на ковре, кровать вернулась из странствий как ни в чем не бывало. Скомканное одеяло и подушка под пледом точь-в-точь походили на свернувшуюся во сне человеческую фигуру.

Я проскользнул обратно в постель, никем не замеченный, и сделал вид, что все это время мирно спал. Утром все шло как обычно, все умывались, спускали воду в унитазе, сушили волосы, обжигались кофе на кухне.

Мне удалось выбраться из постели, быстро одеться и благополучно добраться до работы. Там я немедленно сел за телефон и, прикрыв дверь, часами выслушивал тех, которые пережили подобные же истории. Причем мои собеседники были так же предельно откровенны со мной, как и я с ними, хотя ни один из нас друг друга никогда не видел.

ДВА КРИТИЧЕСКИХ ЭТЮДА

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ И СТАРЫЕ ЧИТАТЕЛИ

(Александр Мерлин, Лидия Смоленская, Аркадий Полонский, публикации в мюнхенских газетах и журналах)

Один писатель рассказал мне про себя такую историю. Роман его был благосклонно принят к публикации «толстым» столичным журналом.

На вопрос писателя: «А кто же будет редактировать?» заведомо прозы с интонацией несколько злорадной быстро ответил: «Никто». (Помнится, мы в детстве так говорили: «Кто, кто? Конь в пальто. Вот кто»). И тут мой друг писатель испытал настоящий страх, кинулся домой, схватил свою рукопись и много ночей напролет, вот именно что «как орлица над орленком», хлопотал над ней пристрастно и внимательно, пробуя каждую фразу и каждое слово на слух, на вкус, на цвет, т.е. на всё, что положено. И даже, вы не поверите, проверял правописание.

Вот ведь, господа, как страшно остаться без редактора.

Но ничего не боятся наши новые писатели. Не ведают страха эти люди. «Мы не совки, совки не мы». Это там, в Совке, нужны были редакторы, злобные охранители литературного пространства, душители свободного слова, яростные блюстители выдуманных ими законов художественного творчества, всяких там композиций, метафор и образов.

Рогатки и препоны цензуры теперь позади.

А как приятно видеть составленные собственными ручками слова на страницах эмигрантских газет, журнальчиков и прочих бюллетеней. И свое имя и фамилию в типографском исполнении. Это ничего, что слова расставлены самым причудливым и прихотливым образом. Это такой приём. И если вы споткнулись на стихотворной строчке: «Пусть трубы крыш зениток словно жерла» или оторопело перечитываете такую: «Пусть нежный свет льёт на твою могилу/ на острове святого Михаила/ большого неба глаз голубизна», то вы просто ничего не понимаете, вы вырвали строку из контекста и ищете смысл там, где его не должно быть. Поэтический смысл, чтоб вы знали, это нечто особое, ничего общего не имеющее с вашим приземленным опытом. А если вы вцепились в такую строку: «Но есть у храбрых важная работа:/ Идти вперед, торочить след...» и пытаетесь объяснить, что *торочить* – это обшивать, отсюда, кстати, *оторочка*, и надо было бы, наверное, *торить* (но тогда бы поэтесса не попала в размер), т.е. пролагать путь по целине, то вы вообще придира и больше никто.

И что уж, действительно, придирается к поэзии, которая, как известно, «должна быть глуповата» (Бродский за эти слова тут бы нас и пристрелил. И был бы прав.), когда новые писатели-литературоведы, просветители темной эмигрантской массы такое загибают... Ну хотя бы вот это: «Труд задуман как прижизненная *дань достижений мировой славистики* выдающемуся философу и филологу» — или вот так: «Главные акценты статьи сделаны на исследовании Франком в *аспекте истории литературы* философского *глубокомыслия* поэзии Тютчева». А вот как переводит автор бедного Дмитрия Чижевского с немецкого сна на русский: «Не мало конечно было попыток *преподнести* и усмотреть философское сознание в *полной глубине* Тютчевской мысли» (орфография переводчика

сохранена). Автору-просвещенцу не чужда ирония: «Фет снял хвою с Фихтенбаума, но сохранил мужское достоинство, обратив страдальца в дуба». Вспомнив, что мы в Германии, так и хочется закричать: «На какие вопросы отвечает в русском языке *Akkusativ?*» Правильно. Кого, что? Дуб все-таки предмет неодушевленный. Обратить страдальца можно было только в дуб, в камень, в столб. Вот если бы он обратил его в котА, тогда другое дело. Просто как-то неловко об этом говорить. Заглядывайте иногда в грамматику русского языка и в словари, они, между прочим, именно для этого написаны.

И помните, пожалуйста, дорогие новые писатели, что мы читатели старые, мы любим читать, мы много чего за нашу жизнь прочитали – есть с чем сравнивать. Не позорьте наш великий и могучий.

И перестаньте, наконец, кричать о каком-то немыслимом культурном потенциале, который вы привезли из славного города Мочегонска сюда, на задворки Европы, и заламывать руки в обиду на тупых немцев, не желающих принимать вас в свою элиту и переводить ваши безумные, скучные опусы, у них у самих писателей девать некуда. Скромнее будьте, скромнее, и люди, как говорится, к вам потянутся. Возможно.

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ

(Аркадий Полонский «О некоторых особенностях любовной лирики Тютчева», *Бюллетень Толстовской библиотеки № 118, сентябрь 2003*)

Иногда считаешь эмигрантские издания и призадумываешься: ну вот чтобы мы, убогие, делали, если бы не находились самоотверженные, просвещенные кандидаты технических наук, которые отваживаются простыми и доходчивыми словами разъяснить нам смысл и содержание некоторых лирических стихов. Ведь поэтические речи, что уж греха таить, часто, очень часто бывают непонятны, одно слово – «темны и ничтожны», сами стихотворцы и признаются. И внимать им без волнения решительно невозможно, потому как, ежели нормальный читатель чего не понимает, то волнуется, бегаёт по знакомым и спрашивает друзей. И все отмахиваются и говорят, мол, там всё сказано, ну в стихах этих. А что там сказано-то, там ведь сам чёрт ногу сломит – слова как слова, некоторые даже изысканные, а смысл абсолютно «темный», вроде про любовь, а может, наоборот. Тут как раз и приходит на помощь участливый человек, руку тебе протягивает и своими человеческими словами всё и объясняет.

«Некая дева во власти эроса. Она среди благоухающих роз, переживает нарастание волнения: грудь её спирает, ланиты горят, блеск очей мутится и тоскует, на ресницах проступили слёзы...Ощутимо присутствие автора. Он не равнодушен к проявлениям девичьей чувственности, он рядом, очень близко. Они желанны друг для друга...В картине присутствует еще один неожиданный персонаж: стрекоза! Звучание её голоса подчеркивает огромность пространства и единственности (не одиночества!) на плэжере двух персон: Девы и Поэта. Они в раю! Все трое! Их томит ожидание приближающейся эмоциональной грозы. Чувство млеет и горит в жилах. Оно сладостно, как божественный напиток, переполняется и изливается в окружающий простор, в знойный воздух».

Вот как, оказываются, можно всё просто описать, и даже ужасная, кощунственная мысль мелькнёт, ну зачем стихами, зачем так сложно-то, но мы её прогоним, прогоним, мы дальше будем внимательно и с благодарностью читать и постигать «некоторые особенности любовной лирики Тютчева», тем более, что попутно узнаёшь очень много нового, например, о вечно поэтическом персонаже. Ну, который третьим был в раю. С Поэтом и Девой. Да, нет – какой змей, вы невнимательно читали. Стрекоза это – насекомое

“Зарубежные записки“ №3/2005

такое. А в поэзии – метафора. *«Она старая дева не потому, что её в жены не берут: замуж она сама не хочет, изводит капризами своих жучков-любовников, побалуется и бросает их, несчастных...»* Все эти детали очень важны для понимания поэзии, а то, неровен час, можно опростоволоситься, как Надежда Яковлевна Мандельштам (жена поэта), которая *«увлечения Мандельштамом летающими насекомыми так и не заметила»*. Жена называется. А вот поэту Тютчеву с женой повезло, она понимала не только тексты любимого мужа, но и его подтексты, *«столь чутко супруги осязали друг друга на расстоянии»*, а что было делать – только так, только на расстоянии – коль скоро возлюбленная поэта *«постоянно требовала проявления его любви и разрыва с семьёй.....он становился пленником её страсти и начинал тяготиться своей участи.....жизненная стихия обратила к поэту свою угрюмую сторону»*.

А самое замечательное, что это не только литературоведческое исследование, а просто какой-то подробный, наглядный сценарий, в чем-то даже мистический, чуть ли не либретто:

« Дева погружается в мир, заполненный неким жизни преизбытком. Внешний мир в гармонии с внутренним, однако, доминирует над ним. Звучание голоса стрекозы усиливает эту доминанту. Сферы внешнего и внутреннего миров имеют центральную единую точку: это Дева. Поэт как бы на периферии сфер, его внимание направлено от себя, на центр!»

Согласитесь – удивительно чёткая картинка получилась. Так и видишь, кто где стоит, где Поэт, где Дева, кто куда смотрит, на кого обращает внимание, куда погружается и кто над кем, прошу прощения, *доминирует*.

Другое дело, что неясно, на каком языке это написано, вроде бы на каком-то славянском. Похоже на русский, но не очень – падежи какие-то странные и привычные слова расставлены невообразимым манером.

Коротко об авторах

Людмила Агеева Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

Арнольд Веник Прозаик, эссеист, критик. Родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский библиотечный институт. По профессии библиограф, музейный работник. Много лет проработал в отделе редких рукописей Литературного архива Ленинградского отделения Российской академии наук. Автор большого количества специальных публикаций по истории русской культуры. В 1996 году переехал в Германию. Живет в Эрдинге.

Андрей Грицман Поэт, эссеист. Родился в 1947 году в Москве. По первому образованию врач, окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, кандидат медицинских наук. Второе образование - литературный факультет Вермонтского университета, магистр искусств по литературе. В 1981 году эмигрировал в США. Пишет по-русски и по-английски, автор семи книг стихов и прозы. Широко публикуется, по-русски - в ведущих русских литературных журналах, по-английски - в периодике США и Великобритании. Организатор и ведущий Международного клуба поэзии в Нью-Йорке, издатель и редактор сетевого журнала «Interpoesia». Живёт в Нью-Йорке.

Галина Корнилова Прозаик, драматург. Ученица К. Г. Паустовского, тепло о ней отзывавшегося. Окончила МГПИ, кандидат филологических наук. Работала во Всесоюзном обществе культурных связей с зарубежными странами. Автор восьми книг и множества публикаций в российских литературных журналах. Главный редактор журнала «Мир Паустовского». Живёт в Москве.

Самуил Лурье Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

Алексей Макушинский Поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог, кандидат наук. Автор романа «Макс». Публикуется в русских литературных журналах и многочисленных научных немецких изданиях. Член редколлегии журнала «Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte» и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Эйхштетте.

Юрий Малецкий Прозаик. Родился в 1952 году в Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского госуниверситета и заочное отделение искусствоведческого факультета Ленинградской академии художеств. С 1977 года по 1996 год жил в Москве. С 1996 года в Аугсбурге (Бавария). В 1995 году заведовал отделом прозы журнала «Новый мир». Первая публикация в 1986 году в парижском «Континенте» под редакцией В. Максимова - повесть « На очереди» под псевдонимом Юрий Лапидус. С 1990 года публикации в «Знамени», «Новом мире», «Дружбе народов», «Континенте» и др. толстых журналах. Неоднократно номинирован на Букеровскую премию, в 1997 году вошел в шорт-лист. Автор двух книг, которые вышли в московских издательствах «Книжный сад» и «Вагриус».

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россось Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается «Зарубежные записки» №3/2005

в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Галина Погожева Поэт, переводчик. Родилась в Москве. Окончила Московский авиационный институт. В 1990 г. эмигрировала во Францию. На протяжении 15 лет печатается в газете «Русская мысль». Автор поэтического сборника и множества публикаций в российских и зарубежных изданиях. В её «творческом багаже» перевод дневников Нижинского для «Акт Сюд» и подготовка к печати русского текста дневников для издательства «Вагриус», литературная запись воспоминаний великого князя Владимира Кирилловича на основе многократных интервью «Россия в нашем сердце» (изд-во «Лики России», Спб.) и др. В 2003 г. получила третью премию на Международном пушкинском конкурсе поэзии в США, в 2004 г. - медаль Вацлава Нижинского от Министерства культуры Польши. Живёт в Париже.

Ирина Рашковская Поэт, драматург. Родилась в Калуге. Закончила факультет иностранных языков Калужского пединститута, училась в Литературном институте им. А.М.Горького. Работала зав. литературной частью Калужского драматического театра и корреспондентом Калужского радио, участвовала в создании и была редактором международного поэтического журнала «Woom!». В 1995 году переехала в Германию. Автор четырёх поэтических книг и множества публикаций в российских и зарубежных журналах. Живёт в Дортмунде.

Андрей Рево Поэт, прозаик. Родился в 1950 году в Москве. Учился в музыкальной школе-десятилетке им. Гнесиных и Московском авиационно-технологическом институте. Работал экскурсоводом в уголке Дурова, позже, получив диплом дирижёра-хоровика, был солистом Госконцерта, затем, в 90-х годах, работал с ансамблями старинной музыки (Государственной классической капеллой, ансамблем «Мадригал», Коллегией старинной музыки Московской консерватории). В 1998 году переехал в Германию. Автор публикаций в журнале «Знамя». Живёт в Мюнхене.

Наталья Толстая Прозаик, переводчик. Закончила Ленинградский университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры скандинавской филологии Санкт-Петербургского университета, автор первого в России учебника шведского языка. Как прозаик широко публикуется в России и за рубежом, рассказы переведены на итальянский, шведский и немецкий языки. Лауреат литературной премии им. Сергея Довлатова. В 2004 году награждена правительством Швеции Королевским орденом Северной Звезды в знак признания бесценного вклада в развитие контактов между Швецией и Россией. Живёт в Санкт-Петербурге.

Борис Хазанов Родился в 1928 г. В Ленинграде. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 18.10.2005

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 0231 / 952 973 0 (общий)
+49 / 0231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:
www.zapiski.de

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии.

Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

АНОНС

Читайте в четвёртом номере «Зарубежных записок»:

Прозу

Маргарет Юрсенар,
Дины Рубиной (Иерусалим),
Светланы Василенко (Москва),
Бориса Хазанова (Мюнхен),
Бориса Юдина (Нью-Йорк),
Владимира Шубина (Мюнхен).

Стихи

Натальи Аришиной (Москва),
Анатолия Кобенкова (Москва),
Аркадия Илина (Санкт-Петербург).

Публицистику и эссеистику

Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Игоря Сухих (Санкт-Петербург),
Ефима Гофмана (Киев)

и другие интересные материалы.

